

ЖУРНАЛ
ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ

Огни Кузбасса

ИЗДАЕТСЯ С 1949 ГОДА

№ 4 / 2014
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ

Литературный журнал
выходит
благодаря поддержке
администрации
Кемеровской области,
администрации
города Кемерово
и ОАО «Кемсоцинбанк»

Главный редактор
Сергей ДОНБАЙ

Редколлегия:

Виктор АРНАУТОВ,
Владимир ИВАНОВ,
Александр КАТКОВ,
Виктор КОВРИЖНЫХ,
Иосиф КУРАЛОВ,
Вера ЛАВРИНА,
Владимир МАЗАЕВ,
Олег МАКСИМОВ,
Дмитрий МУРЗИН
(ответственный
секретарь),
Валерий ПЛЮЩЕВ,
Марина ЧЕРТОГОВА

Николай РАХВАЛОВ
(ответственный
за распространение
журнала)

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются

Адрес редакции:
650000, г. Кемерово,
Советский проспект, 40
Телефон 36-85-14



Содержание

ПРОЗА

- Сергей Павлов.** Кузбасская сага. Хроника океанного времени. Роман. Книга третья. Чужое время, чужие люди... (окончание).....
- Сергей Криворотов.** Настырный квартирант (из жизни советского полунинтеллигента). Рассказ
- Александр Савченко.** С чистого листа. Рассказ
- Вадим Макшеев.** Два юмористических рассказа.....
- Василий Феданов.** Война начнется через три года (документальная повесть).....

ПОЭЗИЯ

- Владимир Соколов.** Мы не умрем. Мы будем живы!.....
- Андрей Фролов.** Висели дома на высоких дымах.....
- Валентина Ерофеева-Тверская.** Окуривай, черемуха, владей!
- Александр Дьячков.** Я выжил, чтоб Бог меня спас.....
- Геннадий Горюнов.** Житие мое

БИБЛИОТЕЧЕСТВО

- Анатолий Парпара.** «Он начал сразу как власть имеющий» (к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова).....
- Галина Ульянова.** «Есть в России умные люди!», или «Наша дружба случайной не была» (памяти русских писателей-патриотов В. И. Белова и В. М. Шукшина)

ПУБЛИЦИСТИКА

- Святослав Касавченко.** Детали истории.....
- Геннадий Кругляков.** Кузедеевский бор
- Валерий Власов.** Штрихи к портрету русского историка Н. И. Костомарова и русского либерализма.....

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ

- Юлия Сычева.** «Притомью» – 35 лет.....
- Члены литературной студии «Притомье»: **Юрий Дубатов, Николай Бацевич, Юлия Сычева, Елена Елистратова, Виктор Киселев, Ольга Яковлева, Ирма Горте, Борис Устинов, Александр Лопатин, Максим Веремейчик, Юрий Климанов, Анатолий Касаткин, Галина Корогод.** Стихи. **Сергей Чернопятов.** Голубой конвертик. Юмореска.....

ЛИКИ ЗЕМЛЯКОВ

- Елена Трухан.** Сердце шахтера.....
- Елена Чазова.** Такая неповторимая жизнь

ЗАПОВЕДНАЯ СИБИРЬ

- Сергей Филатов.** Сибирский ежедневник.....

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Руслана Ляшева.** Мощные корни, питающие душу
- Анатолий Сазыкин.** Глоток свежего воздуха

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

- Литературная хроника. Подготовил **Д. Мурзин**.....

**ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ ПОЭТУ
МИХАИЛУ ЮРЬЕВИЧУ ЛЕРМОНТОВУ – 200 ЛЕТ**



1

2

п

**Сергей
ПАВЛОВ**

**КУЗБАССКАЯ САГА
ХРОНИКА
ОКАЯННОГО ВРЕМЕНИ**

*Часть 3. Чужое время,
чужие люди...*

Роман. Книга третья¹



ГЛАВА 1

...Хоронили Гордея холодным апрельским днем. За деревянным гробом шли его родные: вдова, сын, невестка, внуки; а из селян были только Ермолай Лукин, Иван Кочергин с женой, Яшка Яковлев, Гриня и Еня Павловы с женами да еще два-три соседа. Большое сибирское село, многие годы жившее одной жизнью, одной семьей, радостно встречавшее появление всякого нового человека и всем миром провожавшее в последний путь каждого своего жителя, в этот раз осталось равнодушным к смерти земляка. События последних лет словно между провели между каждым домом, сделав их хозяев подозрительными, равнодушными, пугливыми. Многие из них, тайно наблюдая за печальной процессией из-за оконных занавесок, крестили лоб за упокой души Гордея Кузнецова и благодарили Всевышнего за то, что на этот раз беда обошла их дом...

В день похорон на кладбище неведомо по какой нужде появился на бывшей харламовской коляске Кутько в сопровождении Семена Скопцова и Ильи Гвоздева. Краем глаза наблюдая за тем, как мужики опускают в могилу гроб с телом покойного и потом закидывают его землей, он прошелся по кладбищу. Оно занимало

¹Журнальный вариант.

весь распадок на крутом левом берегу Ура. Еще в стародавние времена урские дали начало сельскому погосту с края берега, а со временем он подымался все выше и ближе к леску, и потому старые могилы теперь оказались на самом краю обрыва. Хмурился Кутько, поглядывая на покосившиеся кресты, затем обратился к своим спутникам, Скопцову и Гвоздеву:

– Крестов на кладбище слишком много! Не по-советски это! Все, что погнили – убрать, а могилы сравнять с землей! Они им теперь и на хер не нужны, а нам тут контру нечего разводить! Надо, чтоб звезд здесь было больше, а не этих гнилых крестов...

Он подошел к одному из них, где на выцветшей табличке с трудом читалось: «Лук... оловьева», чуть качнул его и легко вынул из земли.

– Ну, что это за безобразие!

– Теща Ваньки Кочергина тут покоится, – отозвался Скопцов.

– Вот именно, теща покоится, а этому Кочергину дела до этого нет, а потому надо всю эту ветхость убрать отсель!.. Понял ли меня, Семен Тимофеевич?

Скопцов, услышав такие слова, даже отпрянул от уполномоченного:

– Как же это, Богдан Иванович? Нельзя нарушать покой мертвых, великий грех это!

ПАВЛОВ Сергей Михайлович родился в 1952 году в городе Белове, в семье шахтера. Подполковник милиции в отставке, член Союза писателей России, член Союза журналистов России. Автор 13 книг. В 2003 и 2004 годах становился победителем конкурсов МВД России в номинации «Художественная литература и искусство». За серию книг о политических репрессиях в СССР Патриархом Московским и всея Руси Алексием II награжден орденом святого Даниила III степени. Публиковался в журналах «Всерусский собор», «Жеглов, Шарапов и К», «Огни Кузбасса», «Южная звезда». Живёт и работает в Кемерове.

– А вот за такие слова тебя, Семен, надо на партячейке разбирать за политическую малограмотность! Ты же член партии, атеист, и вдруг такие слова? Смотри, председатель, еще раз услышу – не миновать тебе наказания...

– Богдан Иванович, – вступился за земляка Илья Гвоздев, – негоже воевать с могилами предков! Тут не только мертвые возопят, но и живые за топоры возьмутся!..

– Ну, на их топоры у нас ружья найдутся, а, впрочем, я в райисполкоме посоветуюсь по этому вопросу...

...Поминки Гордею устроили в его доме. Появление там Ильи Гвоздева для немногочисленных гостей, пришедших помянуть Гордея, было неожиданным. Но поминки – не свадьба, приглашения особого не требуется: всяк может прийти, чтобы помянуть покойного. Но, похоже, Илья и не собирался садиться за стол, а лишь отозвал в сторонку посеревшую от горя Алену и прошептал ей на ухо:

– Беда у тебя, Алена Ивановна, понимаю, сам в человеках состою, но ты на поминках-то поосторожнее с посудой: не разбей чего, не поломай... Смотри, чтобы не утянули что-нибудь...

– Ты о чем это, Илья?..

– А о том, Алена Ивановна, что имущество это теперь уже не ваше, а реквили... нет, реквили... в общем, колхозное!

– Ах ты, гнида! Пришел ко мне в дом в такой час, да еще будешь мое добро делить! Сейчас сыну скажу – он тебе ребра переломает, охальник!

Ее густой грудной голос был слышен во всех углах просторной кузнецовской избы, а люди за столом стали беспокойно поглядывать на Алену и Гвоздева.

– Шуми, шуми, Алена Ивановна, – продолжал ядовито шептать женщине колхозный активист, – может, и поколотит меня твой Никита, а мы его в лагерь отправим, поскольку я человек ответственный, советской властью уполномоченный... И дом ваш, и все имущество отходит колхозу и беднякам...

– Колхозу?! Да вы же все поделите меж собой! Глотки порвете друг дружке! Уже приглядел для себя что-нибудь, ну, говори, стервятник!?

– Окстись, Алена Ивановна!.. – растерянно забормотал Гвоздев, направляясь к двери. – А все-таки упреждение я тебе сделал, и ты должна его выполнить...

– Вон отсюда, поганец! – она схватила стоявшее на полочке в бабьем куту нарядное круглое зеркальце и швырнула его в Илью. Тот увернулся, а зеркало блестящими каплями разлетелось по избе.

– Ты его хотел? Получи! Ты эту кринку хотел? Получи!.. – и кринка с квасом полетела вслед непрошенному гостю. Не дожидаясь, когда за него возьмутся мужики, Илья проворно выскочил в дверь.

Только тогда она рухнула на лавку, бледная, постаревшая. Глаза ее были закрыты, а губы выводили одну лишь фразу:

– Как жить? Как теперь жить?..

...Немногие осмелились прийти на похороны Гордея. Мало того, что люди в селе до конца озлобились от всех колхозных реформ, так еще кто-то услышал, как уполномоченный по вопросам коллективизации Кутько давал команду Гвоздеву переписать всех, кто будет хоронить и поминать кулака Гордея Кузнецова... Может, кто-то и хотел бы прийти на поминки, да испугался этого пущенного кем-то слуха. Помимо Гвоздева у Кузнецовых в этот скорбный день появился еще один неожиданный гость, а точнее, гостыя – вдовая Зинаида Скопцова. Когда были живы Гордей да Тимоха, дружили Кузнецовы и Скопцовы, редкий праздник не собирались за одним столом. Сами уже добрые хозяева были, а за ними, глядишь, и старики тянулись, Михаил с Матреной да Иван с Домной. Старики давно померли, а после гибели Тимофея какое-то время еще зналась Зинаида Скопцова с Кузнецовыми, а потом все реже стала заглядывать к бывлой подруге. Особенно, когда ее Семен попал в колхозные активисты. То ли он запрещал матери водить дружбу с единоличником Кузнецовым, то ли сама до этого дошла. Совсем забыла дорогу Зинаида к Алене.

Сильно изменилась Зинаида Скопцова, а еще пуще ее сын Семен. Обидела, крепко обидела его Маша Кузнецова тем, что предпочла ему какого-то приезжего «инжэнэра» с Украины. Когда жених приезжал сватать Машу, хотел Семен дружков своих собрать да хорошо поколотить его, но никто не согласился из урских подняться на Кузнецовых: кто уважал сильно, а кто боялся. Даже Илья Гвоздев в отказ пошел. Ну а самому биться на кулачках с городским ему было страшно, и потому он отступился от своей затеи.

...Много лет прошло с тех пор. Маша вышла замуж, сменила фамилию – Барбашова теперь

она и, как слышал он, живет в Сталинске, а муж ее работает каким-то начальником на большой стройке. И вроде успокоиться бы надо – ведь сам давно женат и двух детей прижил, так нет, такая порой досада накатывала на него – хоть вой: ведь почти совсем его была девка, а не досталась...

Но если мысли о Маше теперь нечасто его навещали, то Гордей Кузнецов был ему как кость в горле. С него, как с начальства, теперь спрашивали за все дела на селе. Волостное, а по нынешним временам, районное начальство, сначала коммуны рекомендовали образовать, потом товарищества советовали организовать да всех крестьян в эту трудовую общину вовлекать, а теперь вот колхозы придумали. Кузнецов, Яковлев, Катков, Бронские, Вершинины да еще десятка два семей ни в какую не хотели идти в колхоз и тем самым портили все сводки в райцентр «о всеобщем охвате крестьянского населения села колхозным движением». Мало того, что сами не вступали в колхоз, так они разговоры разные вели о недостатках колхозного дела. Впору в РО НКВД с жалобой идти, да совесть не позволяла делать этого – ведь Кузнецов Гордей все же был другом отца, и его, Семена Скопцова, крестным. Тяготился Семен таким родством. И хоть кулаком того еще не признавали, но и в единоличниках Гордей Кузнецов умел досадить незадачливым колхозникам. То шуткой какой, а то советом, идущим вразрез с их колхозной психологией и дисциплиной. Увидел как-то по весне Гордей, что колхозники везут картошку садить на поля и попытался отговорить: земля холодная, да и мороз на почву еще может упасть – пропадет картошка. Мужики-бабы руками разводят: председатель Колесов распорядился, да председатель сельсовета Семен Скопцов поддержал его – «Сполнять надо!». А тут Семен подвернулся. Не сдержался Гордей, подступился с вопросом:

– Дурья ты башка, Семка, кто же в стылую землю картошку содит? Старики бают, что еще мороз может вдарить, весна вишь какая поздняя да студеная!

– Лелька!.. – начал Семен, но тут же поспешил поправиться. – Дядя Гордей, ты не член колхоза и не лезь со своими советами в наши общественные дела! Нам видней!

– Кому вам? Свою-то, поди, не содишь еще, а колхозную торопишься похоронить?

– Ты слова-то подбирай помягче, дядя Гордей! «Похоронить...»? Придумал тоже! Из райо-

на пришла установка: начать сев, вот мы и начинаем...

– А что же свою не содишь, а?

– А свою-то я сам знаю, когда садить, тут мне указки из району не надобны...

– Ах, вон вы какие хозяева-то колхозные?! Ну, как знаешь, крестничек!

И больше всего тогда покорило Семена не сам совет Гордея Кузнецова, а то, как он его на людях назвал со снисходительной усмешкой – «крестничек». И действительно, вскоре упали на землю запоздалые майские морозы, и большая часть картошки пропала. Ничего: поворчали колхозники и вдругорядь стали разбрасывать семена по лункам, теперь уже отбирая их из запасов, оставленных на еду. Зато начальство не ругало! А вот слово «крестничек», оброненное Гордеем, так и застряло в памяти у Семена Тимофеевича. Но делать нечего. Даже муж с женой разойтись могут после полувека совместной жизни, а вот как крестнику от крестного откреститься – этого никто не знал. И стал он избегать встреч с Гордеем прилюдно. Знал его язык хлесткий да меткий, боялся его, ну а если одного встретит когда, то терпел все советы да шутки своего неугомонного крестного.

Впрочем, если не нашел Семен Скопцов возможности расторгнуть компрометирующее его родство с единоличником Гордеем Кузнецовым, то другую свою задумку он все же исполнил, и вскорости поменял свою фамилию со «Скопцова» на «Скобцова», а Илью Гвоздева заставил переписать метрику. Когда мать подступилась к нему с расспросами о причинах исправления документа, он ответил с раздражением:

– Уж не знаю, кто в нашей родне скопцом был, да только мне это не к лицу! Как-никак, а я – колхозная власть!.. – увидев, что мать что-то еще хочет спросить, ответил раздраженно. – Да-с, матушка! Или ты не знаешь, что скопец – это тот, у кого... – и вместо слов он резко взмахнул у себя ниже пояса. – Что же ты хочешь, чтобы все коммунисты и беспартийные насмеялись надо мной?

– А мы с отцом как-то жили столько лет и худого не слышали в свою сторону... И дед твой Иван, и бабка Домна...

– Времена другие, матушка! Вы в темноте жили, а сейчас светлая жизнь начинается: побыли Скопцовыми – хватит! Теперь Скобцовыми будем наперед!

А вскоре у всех домочадцев Семена, и даже у матери, тоже поменялась фамилия. Похоже,

эта замена в фамилии одной буквы на другую и обозначила ту грань, за которой закончилась дружба Зинаиды с Аленой. Больше года не было Зинаиды, теперь уже Скобцовой, в доме Кузнецовых, но на похороны все же пришла...

– Теть Зин, Семен-от не придет? – спросил осторожно Никита, помогая матери расставлять на столе чашки и тарелки с закуской. – Как-никак, а крестником был моего бати...

– Об чем ты говоришь, Никитушка, Сема-то у меня такой занятой, такой занятой...

– А что, интересно было бы: сначала своего крестного в гроб загнал, а потом, значить, поминать пришел бы! Ох, и огромный грех это был бы!.. Нет, хорошо, что Семка нонче не пришел к тебе, Алена...

Это свое мнение озвучил овдовевший недавно Ермолай Лукин. Вся жизнь свою он прожил словно в испуге: все чего-то боялся и старался отсидеться в сторонке, в спокойном уголке, не рискуя хоть как-то проявить себя. Выросли дети, разлетелись в разные стороны из худого родительского гнезда, оставив их с матерью жизнь доживать, а у Ермохи от этого какое-то равнодушие ко всему появилось: надо – не надо: все плевать! А после смерти Глафиры стал совсем бесшабашно относиться ко всему, будь то начальство какое или собственное здоровье, ко всему, что его окружало в повседневной жизни. Еще до смерти Гордея, ранним мартом, как-то вышел он из дому и по забывчивости не надел шапку. Студено было на улице, дул пронизывающий ветер, и еще вчерашние лужи сегодня хрустели крепким ледком. Вернуться бы ему домой за шапкой, но он, чертыхнувшись, так и ходил без шапки до обеда, пока нужда не привела домой. Дивились соседи: чего это Ермоха Лукин космачом ходит, подставляя неласковому мартовскому ветру свою голову. Несколько дней потом лежал в жару, изгоняя хворь то горячим чаем с медом, что ему принес по-дружески Иван Кочергин, то мутноватой самогонкой, которую он продолжал гнать по стародавней семейной традиции. В другой раз забыл надеть калоши на валенки – да так и ходил в них по раскисшей от солнца земле, пока пятки не стали тонуть в весенней грязи...

Уже после смерти Гордея шепнул ему на ухо с угрозой в голосе Илья Гвоздев, чтобы «держался он подале от кулацких хором Кузнецовых...», цыкнул Ермоха сквозь редкие зубы в

сторону Гвоздева и, к удивлению последнего, изрек без тени страха:

– От тебя надо быть подале, Илюха!

– Это почему же от меня-то? – удивился сельский активист.

– Смердишь больно! Потому и обходить тебя надо подале, как нужник захудалый смердишь!

Долго стоял в раздумье Гвоздев, удивленный крайней смелостью вечно пугливого Ермохи, а тот напрямик направился к Кузнецовым, чтобы проводить в последний путь Гордея. Друга – не друга, но того человека, с которым прожил бок о бок всю свою неказистую жизнь...

...Тихо и грустно было за столом у Кузнецовых. Из каждого угла их просторной избы выглядывало горе. И так уже много было его здесь, но та омертвелая тишина, повисшая над столом, стократ усиливала его и словно упреждала наперед всех собравшихся: тяжело вам сейчас, но будет еще тяжелее...

Пили и ели молча, сдабривая поминальную трапезу молитвой да обычными для такого события словами: «Земля ему будет пухом!», «Упокой, Господь, его душу!». Ни громких речей, ни воспоминаний, ни тем более песен. А ведь бывало иногда, когда «поминались» на селе до хороших песен. Соловьиных первого мужа, например, загрызенного волком, именно так поминали. Да только когда это было!..

И уже перед тем, как встать из-за стола, Гриня Павлов, на удивление всем изрек:

– ...Такие люди, как Гордей Михалыч, не гнутся и не ломаются, они просто умирают, когда жить становится неважно...

Отправку раскулаченных из села уполномоченный по вопросам коллективизации Кутько назначил на Первое мая, тем самым подчеркивая, что высылка всякой контры есть мероприятие нужное, законное, а значит, его можно и должно приурочить к такому празднику, как День солидарности всех трудящихся мира. И хотя решение о раскулачивании и высылке из села кулаков подписали члены сельсовета и секретарь партчейки Бобров (именно он возил его на утверждение в райсовет), все урские знали, что за всем этим стоит один человек – Кутько Богдан Иванович. И ранее часто наезжавший в их село, после бегства в тридцать втором Серафима Колесова, теперь он здесь дневал и ночевал, осуществляя

догляд за лядащим колхозом. А меж собой поговаривали урские, что намеревается он вскочить на опустевшее место председателя, да районные власти что-то тянут с командой... Ни в одном документе не было его подписи, но все дела решались только с его ведома и разрешения. Такую большую силу взял он, что жители села перестали сами себя узнавать: чисто агнцы безропотно брели они туда, куда указывал им этот страшный и безжалостный человек...

...Весной 1934 года были раскулачены только две семьи – Кузнецовы да Яковлевы. Накануне высылки их ознакомили с решением сельсовета, утвержденным райсоветом, уведомили о дате отправки из села. Тогда же сообщили, что с собой можно взять только то, что поместится на двух телегах. Ни коров, ни лошадей брать не разрешили, потому как на том же совместном заседании сельсовета и партячейки, когда решался вопрос о раскулачивании, объявили всю живность раскулаченных колхозным имуществом...

С раннего утра площадь перед бывшим сельсоветом стала наполняться народом. Некоторые ждали праздничного митинга по случаю Первомая и бесплатного угощения за счет сельсовета, но большая часть собравшихся, прознав, что именно в этот день отправляют в далекую и страшную ссылку раскулаченных земляков, пришли в черной одежде, словно на похороны, и стояли поодаль от нарядно одетых и уже подвыпивших односельчан-колхозников.

По распоряжению Кутько на высоком крыльце сельсовета на табурет поставили граммофон, а сам он поставил пластинку с «Интернационалом». Музыка играла громко, звуки долетали до самых окраин села и там, отталкиваясь от ельника, окружавшего по окоему все село, от высоких берегов Ура, возвращались на площадь, создавая эффект заблудившегося эха.

Народ в Урском был малоискушенным в политике и в проведении разных церемоний, и потому, когда играла музыка, люди продолжали переходить с места на место, переговариваться, кашлять, курить, лузгать семечки, сморкаться – ни какой тебе торжественности!.. Не стерпел Кутько, наблюдая за таким вольным поведением селян, побагровел весь, резко остановил пластинку, едва не сломав ее, и затем, сурово поглядывая на ряды селян, собравшихся перед сельсоветом, грозно заявил:

– Это – «Интернационал»! Это всемирный гимн всех коммунистов и большевиков. Что же вы, товарищи мужики и товарищи бабы, зубы скалите, суетитесь, как вошь на гребешке?! Вы должны замереть и не дышать, пока играет музыка... а лучше, если будете подпевать... Так-то...

– А мы слово не знаем, чтобы подтягивать за музыкой... – пьяненьким голосом из толпы откликнулся Ермоха Лукин. – Вот ежели бы...

– Молитвы знаете, псалмы разные, а гимн пролетарский не заучили? Семнадцатый год при советской власти живете, а «Интернационал» не знаете? Ничего... Научимся!..

Последние слова его прозвучали с явной угрозой, и, чтобы как-то скрасить неловкость, которую ощутили все, он добавил уже мягче:

– Музыку поставлю еще раз, но и вы себя блюдите... вот...

И снова грянула музыка на пяточке между мостом через Ур и сельсоветским крыльцом. Хождение прекратилось, музыку слушали, но народ безмолвствовал...

Еще звучали последние аккорды мирового революционного гимна, а через мост к площади уже в скорбном молчании приближались груженные телеги Яковлевых и Кузнецовых.

– Ч-ерт, почему так рано? – Кутько резко обернулся к Семену Скобцову. – Ведь еще митинг должен быть?..

– Какой уж митинг теперь, вон уже и милиционер приехал... – откликнулся Афоня Гвоздев, также притулившийся на крыльце в рядах сельского руководства.

– Богдан Иванович, – начал оправдываться Семен, – я упреждал Моку к десяти часам приехать на площадь... Наверное, Яшка опять забузил... он шалопай еще тот...

– Так уже без десяти десять... – проговорил Илья Гвоздев, протягивая часы-луковицу полномоченному. – Проканителиться немного, да с музыкой еще...

– Ай, ну вас! Все равно митинг проведем... Я что-нибудь скажу... – с досадой проговорил Кутько и остановил музыку. Во внезапно упавшей на землю тишине отчетливо слышался скрип плохо смазанных колхозных телег, на которых отправляли в Гурьевск кулаков. Толпа дрогнула, подавалась в сторону выселенцев, раздались горестные крики, плач, зато другая, меньшая часть селян, пришедшая на площадь с праздничным настроением и в изрядном подпитии, заметно

примолкла: ни смеха тебе, ни праздных разговоров. Общая печаль запоздало придавила площадь, хотя и без былого трагизма: патриархальная русская деревня отдавала последний поклон своим мученикам...

Кутько снял с головы кожаный картуз, поднял руку, готовясь произнести речь и поздравление с Первомаем, но Семен Скобцов упредил уполномоченного – сильно потянул его за рукав и с каким-то отрешенным видом горячо зашептал:

– Не надо, Богдан Иванович!.. Не надобно нонче, не то люди проклянут!..

И удивительно, всегда уверенный и нахрапистый, Кутько вдруг как-то растерялся и отступился от своей затеи.

– Ну ладно... Пусть прощаются... Ты проследи тут за всем, а я пойду... – на его лице выступила крупная испарина, он тяжело дышал, левый глаз зашелся тиком, а голова мелко подрагивала в такт шагам. Он резко повернулся и в сопровождении парторга Боброва скрылся за дверьми сельсовета, оставив молодых помощников и милиционера решать скорбные дела со своими земляками.

...Отшумело, отплакало село, прощаясь с горемычными земляками, и Кутько снова выключил музыку, теперь уже веселую, праздничную, и зычным голосом скомандовал:

– Всем врагам народа грузиться и ...давайте отсюда сей же час! Нечего жизнь портить своим землякам!..

Колыхнулась горестно толпа провожающих, снова взвыли бабы, как при прощании с покойником, а мужики, не таясь, поносили новую власть. Слышал все это Кутько и хотел бы запомнить тех, кто особенно старался ее хулить, да некогда было: сунул он милиционеру листок с решением сельсовета о врагах народа, напомнил, где искать в Гурьевске коменданта спецшелона и как передать ему спецпереселенцев.

И опять все продумал до тонкости Богдан Иванович: в самый зной отправил кулаков. Пока они доберутся до станции – семь потов сойдет да жажда замучит. Запомнится им этот последний путь из родного села, а там, глядишь, и охота пропадет вернуться назад!..

* * *

Не поддержали в волисполкоме инициативу Кутько борьбы с крестами, даже запретили ему это делать, дабы не возмущать покой жителей села, но своевольный уполномоченный решил-таки

дальше гнуть свою линию и повелел тайно ото всех такому же, как и он сам, неприкаянному и обозленному на весь свет Моке навещать кладбище потемну и все погнившие и упавшие кресты тайно сносить в подлесок и там их сжигать, а могилы заравнивать с землей, за что тот будет получать по бутылке самогона за каждый крест...

Как ни сторожились Богдан Кутько и Мока, а все же свои кощунственные замыслы от народа сохранить в тайне не удалось. Чуть больше месяца прошло после похорон Гордея Кузнецова и высылки его осиротевшей семьи в суровый Нарымский край, как преставилась безобидная старушка Горелова с Расейской стороны. Когда хоронили ее, немногочисленные провожалышки заметили, будто делась куда старая могилка Ивана Бронского. На селе было принято всю родню хоронить поблизости: на этом свете вместе были – на том тоже пусть друг друга держатся... Иван-то, дед трех братьев-богатырей Бронских, давно уже помер, а вся родня Бронских, что мужики, что бабы – люди крепкого закала и помирать не торопились. Зато другие мерли исправно, и потому могилу Ивана Бронского вскоре обступили чужие захоронения так плотно, что когда понадобилось схоронить младшую сестру Ивана, то рядом места не оказалось. Пришлось тогда Бронским за столбить для своей родни новое место, уже подалее от реки. А на могилу деда Ивана теперь заглядывали нечасто – на Родительский день да на Троицу. Обветшала могилка, а тут и нашлась черная душа, что подняла руку на покой Иванов. Донесли люди Бронским о случившемся, и уже на следующий день человек десять из их рода на трех подводах наведались на погост. Обкопали могилку своего пращура, поставили новый свежесделанный крест, помянули раба грешного Ивана и, уже изрядно выпив, разразились гневной бранью в адрес неизвестных осквернителей могилы. Особенно убедительно звучали угрозы из уст оставшихся в селе братьев Бронских – Александра и Василия. Рослые, крепкие, сорокалетние мужики, они почти не помнили своего деда Ивана, да разве в этом дело, если нарушены вековые устои крестьянского общежития. Поклялись они на могиле деда отыскать злодея и наказать примерно, чтобы такого повтора не было. Слух об этой клятве братьев Бронских мгновенно облетел все село, и уж думали, вряд ли кто посмеет снова куражиться над мертвыми, ан нет, вскоре еще пострадали несколько могил. А в начале июля ребяташки, пошедшие за ягодой в лесок, что отде-

лял Урское от Крестьянского тракта, обнаружили целое пепелище, где легко угадывались не выгоревшие дотла бывшие кресты. Снова забурило село, негодуя и проклиная богоотступников, но потом, словно по команде, все разговоры прекратились...

...А еще через две недели в том самом лесочке изловили-таки братья Бронские Моку, когда тот тащил на пепелище новый крест. На этот раз был крест с могилы Андрея Кузнецова. Едва съехали из села его потомки, как осиротели могилы кузнецовского рода. Зло и молча били братья Моку, и так крепко, что впору было ставить над ним самим тот порушенный кузнецовский крест. И, надо сказать, словно понимая за собой великую вину, Мока не кричал и не молил о пощаде, а только по-звериному рычал да охал. Так и оставили братья его в летней ночи, ни живого, ни мертвого, захочет – выживет, а нет – собаке собачья смерть. Отлежался за ночь Мока в лесочке, под утро добрался до своей скособоленной избушки, а вскоре и вовсе исчез из села, не поставив в известность о побеге даже своего хозяина – неистового уполномоченного по вопросам коллективизации.

И в этот раз, хоть и случилось это все ночью и без свидетелей, а прошел-таки по селу слухок о Моке-безбожнике, о расправе над ним братьев Бронских. Кинулся Кутько искать своего подручного, даже милиционера вызвал из Бачат, да только Моки и след простыл. Некому жаловаться, а братья Бронские, исподлобья поглядывая на допрашивающих, ни в чем своей вины не признавали. Так и осталась у односельчан о сбежавшем Моке худая память: неведомо откуда прибился к селу, неведомо куда исчез, а главное, непонятно зачем жил. Одно слово: Мока – морока! Однако тогда же по селу как-то исподволь, как утренний туман перед восходом солнца, прокатился слухок о том, что не по своей воле Мока разорял могилы, а по приказу чужака Кутько, успевшего для всех селян стать ненавистным. И лучшим тому доказательством было то неистовство, с которым он допрашивал братьев Бронских. Не будь у него личного интереса, да разве ж убивался бы так человек?!

Лето прошло, и этот случай уже стал забываться. Могил больше никто не зорил – и успокоился народ. А тут еще одно событие отодвинуло бегство Моки на задний план: в конце сентября из района приехал уполномоченный райкома

партии и стал готовить собрание колхозников колхоза имени 1 Мая для выборов председателя вместо сбежавшего Колесова, а единственным кандидатом на пост председателя был уполномоченный по вопросам коллективизации Кутько Богдан Иванович....

Собрание проходило в зале сельсовета. Мужики сидели поближе к президиуму и нещадно курили, бабы же держались поодаль, многие стояли – не хватило им лавок, а теснить мужиков не решились. Так и стояли в стороне да хихикали, наблюдая с какой серьезностью ведут себя их мужья. Степенно и уверенно выступил представитель райкома. Он рассказал о грандиозных планах второй пятилетки, о тех задачах, что стоят перед районом в ближайшие два-три года по развитию сельского хозяйства, затем плавно опустился на колхозные проблемы. С гневом он говорил о прежнем председателе колхоза Колесове, который, нарушив слово, данное партии, бросил колхоз в трудное время и, мало того, прихватил с собой и без того скудные средства колхозной кассы. Заверив крестьян, что преступник будет непременно найден и наказан, оратор сразу принялся расхваливать своего кандидата – Кутько Богдана Ивановича.

– В прошлом донбасский шахтер, он громил Врангеля, хлебал вонючие воды Сиваша, был крепко контужен, но выздоровел и вернулся в строй коммунистов-большевиков...

В зале, услышав про контузию уполномоченного, ехидно заулыбались мужики, негромко перешучиваясь, и лишь Ермолай Лукин не сдержался и громко выкрикнул:

– Так он контуженный на всю башку, оказывается!.. То-то мы думаем, что он на людей бросается...

Оратор, сбитый с толку этой репликой, запнулся, стал с трудом подыскивать нужные слова, но они словно нарочно попрятались от него в плохо освещенном и сильно задымленном зале. Видя это, народ еще больше оживился, гул нарастал, и собрание было на грани срыва. На помощь районному работнику бросился секретарь колхозной партячейки Фадей Бобров:

– Ты, Ермолай Лукич, не можешь судить заслуженного бойца и коммуниста товарища Кутько Богдана Ивановича, потому как не член партии и не смей говорить про него всякие обидные слова!..

– Ну ежели члена партии может обсуждать только член партии, то зачем нас-то здесь со-

брали? – с места выкрикнул Василий Бронский, усатый красавец с точеными чертами лица. – Вот бы собрались втроем в правлении и промеж себя избрали бы товарища Кутько председателем да сами и работали в этом колхозе, а нас бы в покое оставили...

Собрание гулом и смехом встретило эти слова.

– Тихо! Тихо, мужики!.. – попытался успокоить земляков Бобров и тут же с плохо скрытой угрозой в голосе бросил в сторону, где сидели братья Бронские:

– Контрреволюционные разговорчики заводись, Василий! Погоди уж, мы еще разберемся с вашей родней, дай срок!..

Зал взорвался от таких слов бурей негодования, а Семен Скобцов насильно усадил Боброва на стул и сам вышел к передним рядам.

– Земляки! Не надо шуметь, не надо оскорблений и обид. Мы сейчас должны избрать товарища Кутько Богдана Ивановича на пост председателя нашего колхоза. Ему доверяет райком партии, о чем сейчас вам уже говорил докладчик, так неужели мы не доверимся мнению райкома партии? Мы же с вами советские люди и должны понимать всю ответственность ситуации: почти полгода наш колхоз без председателя, и только благодаря недюжинным усилиям командированного к нам товарища Кутько и партийной ячейки, наш колхоз еще не развалился. Предлагаю избрать на должность председателя колхоза Кутько Богдана Ивановича!..

Недовольным гулом ответило собрание на это предложение председателя сельсовета.

– За что раскулачили середняков?

– Ганю Асаула спасали всем селом, а потом всех, у кого он жил – в кулаки записали?! – встал с лавки Филипп Гулькиков и, глядя прямо в лицо представителю райкома, бросал тяжелые слова обвинения: – Это справедливо? Блаженного выгнали из села, отправили в Красное, и он замерз по дороге никому не нужный... А с кого спросить за убиенного? С секретаря или председателя, а где он?

– Придет время – ГПУ во всем разберется и воздаст каждому!..

– Год, почитай, прошел, а все разбираются...

– За что Гордея Кузнецова угробили? Он твердый середняк был, белобандитов бил в гражданскую?!

– А кто Моку сподобил кладбище наше зорить?!

Заслышав последнее обвинение, Кутько исподлобья повел злыми глазами на собравшихся людей, словно решая для себя какой-то главный вопрос. А он действительно мучил его: узнали от кого-то крестьяне о его приказе на очистку кладбища или дошли до этого, что называется, своим умом. Нет, решил он для себя, никто не мог знать о его приказе, не тот Мока человек, чтобы делиться с кем-то из урских таким секретом. Чужой он был здесь человек, как и он сам, Кутько, и именно это позволило ему обратиться с таким кощунственным приказом к Моке. Но надо же было как-то рушить эту патриархальную деревню, разрушать изнутри, и он пошел на это...

– Я не давал вашему Моке никакого такого приказа! – уверенно отмел все обвинения от себя Кутько, вставая из-за стола, – и всякие разговоры на эту тему считаю провокацией, направленной против советской власти! А всякое покушение на власть есть преступление! Ну, кто еще хочет что-то заявить по этому поводу?!

Последние слова он произнес с такой угрозой в голосе, что самые бойкие говоруны примолкли, и в зале воцарилась тишина.

– Голосуем! – поспешил использовать невольную паузу Скобцов, – кто за кандидатуру...

– Да погоди ты, Семен, с кандидатурой... – подал голос сухопарый Григорий Павлов. Опираясь на батожок, а другой рукой держась за изувеченную грудь, он с трудом поднялся со скамьи.

– Колхоз наш, нам в нем работать, а потому надо, чтобы руководил им человек, которому мы доверяем, а не чужак, не сторонний человек...

Он тяжело перевел дыхание. Было видно, что речь давалась ему с трудом, но он все же ее продолжил.

– Конечно, мы не вправе обвинять товарища Кутько в том, что он приказал Моке пакостничать на нашем кладбище, потому как не знаем наверняка, что это он его на то сподобил, но ведь когда Кутько узнал о том, что кто-то рушит могилы, то не принял никаких мер, чтобы изловить подлца и прекратить святотатство, а должен был это сделать! Так – нет, мужики?..

Зал одобрителем гулом ответил на его вопрос.

– ...Зато потом, когда прошел слух о том, что Моку избили за это богопротивное дело и он сбежал, то товарищ Кутько немедленно вызвал милицию и сам изводил допросами братьев Бронских. Как бы то ни было, но у каждого из нас остался свой резон на уме по этому вопросу, и

потому мы можем сейчас либо доверить Кутько наш колхоз, либо отказать ему в своем доверии. И в том беда, я думаю, Семен Тимофеевич, и ты, Фадей Иванович, большой не будет. В нашем крестьянском деле он ни бельмеса не понимает! Не показался он нам за это время, а коли так, то и не нужен он нам тут! А на место председателя, я думаю, мы могли бы выбрать Филю Гулькиова... Все мы его давно знаем, человек он серьезный, пострадавший даже за правое дело: мы помним, как он исказнил убийцу и бандита Фильку Змазнева. Суд хоть и дал ему полтора года, а все же условно, и мы ему должны поверить...

– Годится! Этот никого не испугается! Ставь вопрос на голос, Семен! Даешь Филю Гулькиова! – и мужики, и бабы, словно спохватившись после некоторой растерянности, дружно подхватили предложение своего земляка.

– Ты не имеешь права выступать и предлагать кандидатуру председателя! – сорвался Бобров. – Это могут делать только члены колхоза!

– Гришка – калека, его в шурфе присыпало, мы все это знаем, и потому он не работает в колхозе, зато его жена, Евдокия, член колхоза и работает в нем очень даже добросовестно, а потому у Григория есть все права говорить наравне с другими, но голосовать будет его женка... – это с места выкрикнул Иван Кочергин. Он метал гневные взгляды на засевших в президиуме руководителей и, видимо для убедительности, махал над головой своим огромным, но, увы, единственным кулаком...

– Однако не пройдет кандидатура Филиппа Гулькиова в председатели колхоза, мужики... – раздумчиво и веско проговорил Фадей Бобров.

– Это еще почему?! – откликнулось из зала сразу несколько голосов.

– ...а потому, что родня у него несознательная и бросает на него пятно, которое мы не можем ему простить...

– Это где ж ты такое пятно в его родне усмотрел? – крикнул с места Алексей Легков. – Работают люди, живут и неплохо живут – дай бог каждому?..

– Вот и я о том же... Живет его родной брат Иван справно, а не член колхоза, не член партии!.. Да и сам Филипп только-только вступил в партию и ничем себя пока не проявил...

– А Ивана-то жена не пускает ни в партию, ни в колхоз, – откликнулся деревенский хохмач и пересмешник Осип Чумаченко. – Катерина его как считает: ежели Ванька пойдет в колхоз, то он

всю силу на него будет тратить, а на нее совсем не останется, а какая баба с этим согласится?..

– Дурак ты, Оська! – гневно отозвалась Катя Гулькиова, а Иван, что сидел рядом с женой, медленно повернулся всем телом к своему бывшему другу:

– Пока такие балабоны, как ты, Оська, да наш бывший председатель Колесов в колхозе мазу держат, нормальным хозяевам там делать нечего!.. Это, значит, первое, а второе – за то, что ты похабные намеки делаешь на мою жену, я тебе за это накостыляю после собрания... по старой дружбе!.. Не забыл еще, должно быть?!..

– Ох ты-гнох ты!.. И пошутить уж нельзя... – обиженно проговорил Осип и стал пробираться к выходу, потому как память у него была хорошая...

– Ну, мужики, вы тут сейчас договоритесь до кулачек! Детство, что ли, вспомнили?! – загасил назревающий конфликт Семен Скобцов. – Ставлю на голосование две кандидатуры: Богдана Иванович Кутько и Филиппа... Гулькиова – прошу голосовать!

С десяток рук поднялось в пользу выдвигенца райкома Богдана Кутько, а за Филиппа Гулькиова проголосовала вся остальная часть собравшихся колхозников.

– ...Ничего, Богдан Иванович, – успокаивал по дороге в Гурьевск несостоявшегося председателя представитель райкома. – Без работы все равно не останешься. Вон в районном ОГПУ... тьфу ты!.. В райНКВД нужны люди – тебе туда прямая дорога: ты умеешь врага прищучить – тебе и карты в руки!..

– Да уж, с такими картами и поиграть можно, – недобро усмехнулся Кутько, – а уж товарищи колхозники еще попомнят это собрание!..

ГЛАВА 2

Литерный поезд со ссыльными переселенцами сделал последнюю остановку на небольшом безымянном разъезде в километрах тридцати от Томска: надлежало проверить состояние вагонов и личный состав спецпереселенцев, снять с поезда умерших и заактировать их смерть согласно инструкции, избавиться от скопившихся нечистот. Местные власти ревниво следили за порядком на железной дороге и неохотно пропускали подобного рода поезда даже в обход города. И хотя к середине 30-х поток эшелонов со спецпереселенцами значительно поиссяк (вид-

но, основную массу «контры» уже переправили на Север), а все же, нет-нет да и скапливалось до десятка таких поездов за неделю на северной окраине Томска, где выгружались из недр «телячьих» вагонов сотни, а то и тысячи ссыльных, которые загонялись конвоем в бараки и уже там дожидались, когда их отправят в «жаркий Нарымский край» либо водным путем, либо по «зимнику» – дороге, прокладываемой каждый год по снегу с наступлением холодов через тайгу и болота для санного движения. Лишь в конце 1939 года дотянется ветка железной дороги от Томска до Асино...

Если начальник поезда Сергей Сенин отправился на поиски коменданта, дабы через того уведомить свое руководство на севере Томска о скором прибытии своего эшелона и удостовериться, что проблем с размещением в бараках не будет, то начальник конвойной команды Александр Сизов дал приказ своим подчиненным проверить вагоны. А проверка эта включала несколько неравнозначных, но одинаково важных как для ссыльных, так и для их охранников моментов. Во-первых, нужно было проверить целостность вагонов на предмет выявления в них дыр и щелей, через которые ссыльные могли бы их покинуть и тем самым избежать справедливого наказания. Вторым делом нужно было выгрузить из вагонов всех умерших в пути. И, кроме того, младшим командирам конвойной команды и солдатам надлежало пересчитать всех оставшихся пассажиров, чтобы знать, на какое количество ртов надо подавать в вагоны хлеба и похлебки, которую сами ссыльные называли не иначе как «баланда». Задача была не из легких, поскольку за время пути из Сталинска на попутных станциях составу приходилось добирать новых ссыльных, а также делать короткие остановки прямо в чистом поле, выгружая из вагонов трупы умерших прямо у железнодорожной насыпи с надеждой, что кто-нибудь когда-нибудь предаст их земле. Самим это им делать не удавалось, поскольку длительная стоянка поезда на однопутном участке дороги строго запрещалась из-за встречных поездов.

...Убедившись, что конвоиры и сенинские снабженцы пошли с обходом поезда, Сизов заглянул к начальнику станции, где, по его расчету, должен находиться телеграфный аппарат. Худенький, небольшого росточка мужчина с седы-

ми усами и бородой, в круглых очках и старом, еще царского покроя, мундире железнодорожника, сильно потертом в локтях и коленях, нервно вертел в руках ручку, рискуя уколоться острым пером и быть замаранным чернилами.

– Угля-с на складе нет-с, гос... товарищ командир, но дровами обеспечим. Вот только грузить некому-с...

– Ничего, пассажиры нам помогут... По этому вопросу к вам зайдет товарищ Сенин, начальник поезда, – это его заботы, мне нужен телеграф. Он работает у вас?

– Так точно-с, но телеграфить можно только с разрешения командира военной команды...

– Какой еще команды? – удивился Сизов. – Откуда она у вас?

– Не могу знать, да только уже третьи сутки у нас стоит теплушка на резервном пути, где господа военные обосновались из... простите, гэпэу... Она стоит тут неподалеку...

– Эх, старый человек, а такие глупости говорите – «господа из гэпэу»? Да вас за одну эту оговорку надо в мой поезд посадить!

– Простите, товарищ!.. – голос старика дрогнул, ручка выпала из рук, и он был готов упасть на колени перед офицером. – Старость проклятая!.. Не буду больше!..

– То-то же!.. – Сизов крутанулся на месте, обдав железнодорожника волной воздуха, поднятой длинными полами шинели, и вышел из комнаты.

Действительно, сразу за станционными постройками на запасном пути он увидел теплушку военного образца. Из железной трубы вился легкий дымок, на скамейке у входа в вагон сидел мужчина лет сорока, в укороченной военной шинели, перехваченной портупеей и револьвером на боку. Когда Сизов ухватился за поручни, мужчина негромко, но твердо спросил:

– Кто вы и к кому?

– Я начальник конвоя литерного поезда... Мне нужно разрешение на телеграф...

– Это к товарищу Федору, – и он разрешающе кивнул на вагон.

...Несмотря на то что весенний день был теплый и солнечный, в вагоне жарко топилась буржуйка. В дальнем углу на деревянных нарах спали несколько человек. Около них в пирамиде стояли винтовки, тут же на полу замер пулемет «Максим», около которого зловеще змеилась пулеметная лента. Под нарами стоял деревянный

ящик с гранатами. «А здесь еще война не кончилась!» – усмехнулся про себя Сизов и козырнул пожилому человеку в галифе и белой рубашке, сидевшему у стола. Седые волосы на голове и такая же щетина на лице не могли скрыть болезненного состояния этого военного. Его ноги были в белых шерстяных носках, а рядом со столом стояли офицерские хромовые сапоги, покрытые слоем пыли. На столе перед мужчиной стояла алюминиевая кружка с чаем, тут же высилась горка документов, а поверх их спиралью вилась телеграфная лента, конец которой доставал до самого пола. Взгляд пожилого военного был усталый и настороженный одновременно. Сизов подтянулся, предъявил удостоверение и, четко козырнув, доложил:

– Товарищ командир, начальник конвоя литерного поезда с раскулаченными врагами народа Сизов. Следуем из Сталинска в Нарымский край. Остановка вызвана необходимостью проведения профилактики состава и дозаправки паровоза углем и водой...

– Здравствуйте, товарищ Сизов! Воду ты здесь найдешь, а вот уголек-то надо было брать в Сталинске...

– Брали, да весь сожгли в дороге... Пути забиты, по двое суток приходилось стоять на опасных путях...

– Угля нет, но дров дадим... Да ты не шуми, командир, видишь, мои орлы отдыхают – всю ночь по лесам рыскали за бандитами – пусть отдохнут...

– Виноват, товарищ командир, – смутился Сивцов, переходя на шепот.

– Ну вот, теперь шептать будешь... Их сейчас и пушкой не разбудишь – говори нормально... Ну да ладно, присаживайся... – уже потеплевшим голосом сказал гэпэушник, – чайку поьем, да расскажешь, как добирались сюда. Я ведь из тех мест буду, откуда ты едешь... Не было ли каких-то эксцессов в пути?..

Литерный поезд состоял из двенадцати вагонов, которые в простонародье называли «телячьими», и в самой их середине пристроился штабной вагон-теплушка, где располагались охрана Сизова и хозкоманда Сенина. Время было полуденное, и около станции собралось десятка полтора жителей станционной деревеньки. Наличие охраны уже говорило за то, что опять везут на Север «врагов народа», и людей тянуло сюда: кого из праздного любопытства, а все больше из

вечного нутряного русского сострадания. В руках многих женщин были узелки с провизией, а мужики нервно мяли в руках кисеты.

– Кого везешь, служивый? – окликнула пожилого, с нескладной фигурой, конвоира пожилая женщина, повязанная платком-шалашиком.

– Да кого вам еще можно вести в Нарым-от? Кулаков, конечно, их, сердешных!..

– Ой, и сколько же их еще будет-то? – всхлипнула молодая розовощекая крестьянка. – Ужо пятый год как колхозы придумали, а кулаков все везут и везут, будто тараканы они плодятся, что ли?

Конвоир уже выдвинул засов двери, но саму дверь открывать не торопился.

– Плодятся-то они так же, как и мы с вами, да только спрос с них другой, чем с остальных. Спросят с тебя построже – и ты загремишь в свой Нарым!

– Тыфу на тебя, окаянный! – взвилась черноволосая молодайка.

– Не боись, Манька! – откликнулся пожилой мужик без передних зубов. – Тебя далеко не пошлют – пешком отседа будешь ходить в ентот Нарым, тут недалече...

– А и то, служивый, чем их больше сюда привезете, тем нам веселее да полегче тутока с делами управляться, – это вставил пьяненький мужичок без руки.

Вдоль состава торопкой иноходью передвигался небольшого роста мужчина лет сорока – младший командир конвойного полувзвода Архип Салов. Ругливый, злой, он наводил страх как на арестантов, так и на своих охранников.

– Князьков, что рот раззявил да толпу собрал вокруг себя?! – с издевкой в голосе спросил Салов. – Партийное собрание проводишь?

– Никак нет, ваше благ... ой, товарищ командир...

– Что-о-о?! – взревел младший командир. – Я тебе дам «ваше благородие»!

Он ударил охранника кулаком в лицо. Толпа громко охнула, наблюдая за этой сценой. Солдатик упал на землю и выронил винтовку, но тут же проворно подхватился, вскочил на ноги и потянул винтовку за ремень. Под жиденькими усами его кровоточила разбитая губа.

– Виноват, ваше...

– Ты что осатанел, Князьков?! – еще больше распаяясь, взревел Салов и теперь у него в руке был револьвер. – Все не можешь Колчака забыть?!

Солдатик испуганно вытянулся во весь свой незамысловатый рост, испуганно следя за тем, как командир размахивает оружием перед его носом. Толпа испуганно отшатнулась назад, раздались испуганные приглушенные возгласы.

– Господи, что деется на белом свете!.. – бормотала пожилая женщина, осеняя себя узелком с провизией.

– Вот жизнь пошла, – изрек беззубый мужик, – и врагов гнобят, и друг дружку гнобят... Что к чему – не понять! Не-ет, при царе-то больше порядку было...

– У нас, когда мы с япошками воевали, был один такой урядник шустрый, все норовил солдату в морду залезти, – говорил однорукий беззубому, пытаясь скрутить сигарку, искоса бросая взгляды на младшего командира.

– И что было, Никодим?

– А ничего хорошего... Когда в атаку пошли, ему кто-то лишнюю дырку в голове сделал...

– Никак японец?

– Как бы не так! Дырка-то в затылке была...

– Ты что тут контру разводишь?! – накинулся на однорукого охранник с наганом. – За такие слова я тебе двадцать дырок сейчас сделаю!.. Набежали тут жалельщики!

– А ты что стоишь – сопли распустил?! – Салов снова набросился на Князькова. – Да тебя за одну только фамилию надо в Нарым отправить! А ну, открывай вагон!..

– И чегой-то ты к его соплям пристаешь? – поддел младшего командира мужик лет пятидесяти, в ватнике и в кирзовых сапогах. – Они же у него, как и полагается, красные, пролетарские... Разбил мужику сопатку да еще кобенится!

Толпа глухо роптала в осуждение разошедшего младшего командира. В это время у дверь вагона снова застучали, и раздался надрывный женский крик:

– Отворите дверь-от, ироды! Покойников заберите!

Толпа ожила и подалась к вагону, невольно оттесняя охранников.

– Откройте вагоны, люди же там!

– Дяденька командир, отвори дверь-от...

– Люди... Какие там люди? Вражье одно – нахлебаемся еще с ними, – огрызнулся сторону толпы Салов.

– Открывай, ваше благородь, а то сами откроем... – с плохо скрытой угрозой в голосе сказал верзила с красной физиономией. По всему было видно, что он пьян, а потому его тянуло на

скандал. Тут же стоял пожилой мужчина, похоже, из деповских рабочих, в кепке и перешитом из шинели пальто. Поезд стоял под парами, обдавая людей клубами дыма, заглушая их речь. Уже испуганно оглядев растущую толпу, Салов снова набросился на солдатика:

– Что стоишь, Князьков, а ну открывай дверь, пока эта свора его не разнесла!

– Ну вот, я же говорил, что он сам «их благородие», – снова откликнулся красномордый мужик. – Он же нас за людей не считает – «свора»! И еще на солдатика кричит...

Несмотря на все старания Князькова, дверь не поддавалась, и тогда командир бросился ему на помощь.

...Из вагона резко пахло потом, грязью, человеческими миазмами. Салов, прикрыв нос рукой с револьвером, попятился от вагона, а в дверном проеме выстроились его обитатели: мужчины, женщины, старики. Изможденные, грязные, они жадно ловили ртами теплый весенний воздух. На полу вагона, прямо против двери, лежала закутанная в грязное тряпье старушка. Заострившиеся черты серого лица и застывшая, словно в судороге, сухонькая ручка говорили о том, что душа ее уже давно в лучшем мире, да вот только по какой-то досадной ошибке тело до сих пор остается на безымянном сибирском разъезде.

В первом ряду, прямо над мертвой старушкой, с ребенком на руках стояла красивая, но сильно изможденная женщина лет пятидесяти. Лицо ее покрывала маска какой-то вселенской скорби, темные волосы были сильно побиты сединой, а черные глаза отрешенно смотрели на все происходившее у вагона.

– Услышали, ироды, наше горе! Открыли домовину нашего гроба! – женщина с ребенком говорила густым грудным голосом, перекрывая шум толпы и шипение паровоза. – Двое суток едем без света и свежего воздуха... Старушка умерла... и внучечка моя, Липочка...

Женщины в толпе громко заохали и принялись мелко креститься, мужики стали крутить сигарки.

– Ведь и вы чьи-то дети, и у вас где-то есть матери, есть внуки, так что же вы измываетесь над людьми? Или оттого это, что вы уже не люди? Бога продали и потому ничего не боитесь?!

– Эй ты, сука старая, а ну прекрати мне контру разводить! – младший командир подскочил к дверному проему, размахивая оружием.

– А ты убей меня, аспид этакий, чтобы не терпеть всех ваших издевательств! И будем мы вместе с внучечкой своей... – женщина каким-то отрешенным взглядом смотрела с высоты на притихшую у вагона толпу, на охранников, на неизвестный ей станционный поселок, а по лицу струились слезы.

– Князьков, эй ты, кажись, Бобков, – позвал командир на помощь охранника от соседнего вагона, где двери вагона уже заперли, – тягайте трупы, не стойте!..

Бобков резко дернул тело старушки, и оно глухо ударилось о землю.

– Ой, боженька! – взвыли в толпе женщины, – бабушку зашибли, окаянные!

– Ничего вашей бабке уже не доспеется, – ухмыльнулся в сторону толпы Бобков, показывая гнилые зубы. – Все равно ей теперь у вас тут в земле лежать...

Князьков откуда-то приволок доску, на которую они с Бобковым положили старушечье тельце и потащили в сторону станционных строений.

– Дозвольте внучку похоронить, люди добрые? – женщина обернулась к молодому мужчине, густо поросшему рыжим волосом. – Помоги мне спуститься, Никитушка...

– Да, мама, сейчас... – он хотел было прыгнуть на землю, но младший командир встал ему на пути:

– Куда?! Не положено вагон покидать! Стрелять буду!

Арестанты все отпрянули вглубь вагона, увлекая за собой женщину с мертвой девочкой на руках.

– Алена Ивановна, отдай им девочку – они ее похоронят...

– Отдать ее им, этим извергам?! Они в Бога не веруют, а мне ее надо похоронить похристиански. Не могу я ее отдать своим мучителям!..

– Ну и хер с тобой, пусть твоя внучка и дальше едет, денек-другой потерпишь... вот и нянчи ее! – с остервенением заорал Салов. – Князьков, где тебя черти носят? Запирай двери!..

– Ой, ой! Что вы, не надо! Отдай ее... Возьмите ее... Похоронят они, похоронят... – так стонали в унисон женщины, как те, что были в вагоне, так и те, что стояли на земле.

К раскрытой двери вагона неспешно подошла пожилая женщина, повязанная платком-шалашиком. Она заговорила негромко, и толпа вдруг стихла, слушая ее.

– Родненькая, отдай мне свою внучечку. Я свою зиму схоронила, вот и твою рядышком положу, все им веселее будет вдвоем-от... Мою тоже Липой звали... Ты не бойсь, родная, я в Бога верю, я душу бесам не продала. Похороню, свечку в церкви поставлю за упокой, а ты молись по ее светлую душу... Послушай меня, родненькая...

И седая женщина молча склонилась и передала в руки другой, совсем незнакомой ей женщине, крохотное тельце ребенка. Великое горе в одно мгновение повязало в тугой узел судьбы этих двух русских женщин. Ничто в жизни так не сближает людей, как общее горе, ничто не роднит, как общая боль. Уже взяв на руки мертвое тельце ребенка, женщина неловко перекрестила седую женщину, стоявшую в дверном проеме вагона:

– Храни тебя Господи, и ты спасешь еще многих!

Женщина торопко пошла вдоль поезда, окликнув на ходу кого-то:

– Филя, айда домой! Деточку малую упокоить надо!..

И мужчина в кирзачах покорно отправился вслед за женой. Алена скорбно застыла в дверях, глядя, как навсегда уносят от нее любимую внучку, ее кровинку, неповторимую частичку их кузнецовского рода. Рядом с матерью, потерянный, с потухшими глазами, стоял ее сын Никита...

Из забвения Алену вывел крик младшего командира и лязг запираемой двери.

– Стой, ирод! – снова закричали женщины из вагона. Их там было гораздо больше, чем мужчин, и потому тон во всем задавали именно они. – А говно из бочки кто уберет? Что, нам его хлебать вместо баланды, что ли? – крепко сбитая сорокалетняя женщина, вдова расстрелянного брюхановского купца, накинулась на Салова с руганью.

– А вот жрать не буду приносить в дороге, так и говно схлабаешь! Ишь, царица выискалась! – Салов с трудом зачихал свой наган кобуру и собирался идти в теплушку – поезд уже дал два положенных гудка перед отправлением. – Князьков, что медлишь? Закрывай их на хер!

Но едва он это произнес, как купчиха, изловчившись, из-за спины Алены толкнула бочку ногой, и все ее содержимое вылилось на голову и плечи Салова. Задохнувшись от возмущения и резкого запаха человеческих испражнений, он от-

шатнулся от вагона, вытянул руку вперед и пошел на людей, как слепой, а те испуганно пятились и пятились от него, страшного, мокрого и вонючего, пока наконец не бросились врассыпную. Какое-то время он ошарашено смотрел им вслед, потом поднял глаза на вагон, но там в проеме стояла только одна седая женщина и продолжала смотреть в ту сторону, куда унесли ее внучку.

– Ах ты, ведьма! – Салов кричал уже фальцетом и непослушными, скользкими руками пытался открыть кобуру. Наконец ему это удалось. Он снял с головы мокрую и потерявшую форму фуражку, брезгливо отбросил ее в сторону и повернулся лицом к своей обидчице. – Я сейчас искажню тебя лютой смертью! Я тебя вслед за твоей сдохшей внучкой отправлю!..

– Это не она, командир! Зря ты на нее... – беззубый мужчина, один из немногих, насмелился вернуться к вагону и попытался успокоить охранника.

– Цыц, ты! – рявкнул Салов и выстрелил по верх его головы. – Я и тебя потом положу... Ну, ты, готова сдохнуть здесь и сейчас? – эти слова его уже относились к Алене. Она непонимающе смотрела на мокрого и озверевшего охранника, но последние слова дошли до нее.

– Не страшно умереть – я пожила свое, детей воспитала, внуков видела. Жалко, что после моей смерти такие каты, как ты, жить будут. А это неправильно, не по-божески!

Салов вскинул наган и выстрелил раз, другой, третий. Чуть больше десяти шагов отделяло стрелка и его жертву, но пули, как заговоренные, обходили ее. Салов недоуменно оглядел свое оружие, поднял его перед собой и стал приближаться к вагону.

– Баба! Прячься! – кричал беззубый мужик. Такие же крики неслись из вагона, но Алена, бледная и окаменевшая от горя и страха, не мигая, смотрела на своего палача...

...Уже полчаса длилась беседа командира летучего оперативного отряда ОГПУ по Западно-Сибирскому краю и начальника охраны литерного поезда, было выпито по две кружки чая, как вдруг со стороны стоявшего на главном пути поезда раздался выстрел. Сизов через мгновение уже был на ногах. Вскинулся и чекист, но, охнув, снова опустился на табуретку.

– Радикулит чертов! Тюрьма выходит... – словно пожаловался своему молодому собесед-

нику. – Давай, Сан Саныч, к поезду! Если что-то серьезное – шли гонца! Я подойду, а может, сам разберешься. В любом случае вернись и доложи.

– Есть! – козырнул Сизов и бегом бросился к тому месту, где прозвучал выстрел. Он был уже рядом с тем вагоном, как снова прозвучали один за другим несколько выстрелов. Потом он увидел Салова. Со зверским выражением лица он шел к вагону, держа в вытянутой руке свой револьвер, а в дверном проеме в каком-то страшном оцепенении застыла пожилая женщина. Ни худоба, ни ветхая одежда, ни седина, опалившая ее голову, не смогли скрыть ее красоты.

– Только бы успеть! – сверлила голову Сизова одна мысль, и он успел. Перехватив руку с пистолетом, он выбил его из рук своего подчиненного, а самого бросил наземь.

– Пять суток ареста! Оружия до пункта назначения больше не получать! А сейчас марш в вагон!

Ухмыльнувшись и потирая ушибленную руку, Салов пошел вдоль состава. Сизов выслушал доклад Князькова о случившемся, и даже беззубый мужик успел вставить в его рассказ пару своих замечаний, после чего картина для Сизова прояснилась полностью. Когда Князьков стал закрывать дверь вагона, его обитатели взяли под руки седую женщину и увели в глубь узилища, что-то ей приговаривая. Из всех слов Сизов только расслышал слово «Алена».

...Время стоянки заканчивалось, тендер поезда с верхом был загружен дровами, заправлен водой и уже был готов к отправлению. Памятуя о приказе чекиста, Сизов заскочил в теплушку гзпэушников.

– Что там случилось? – командир строго смотрел на вошедшего.

– Ничего страшного... У одного охранника нервы сдали – начал стрелять в воздух. Я его обезоружил и отправил под арест. Чуть женщину не застрелил, ссыльную... Но обошлось...

– Точно обошлось?

– Так точно, будьте покойны... Жалко было бы, если бы он убил ее – такая красота! Разрешите идти, поезд только меня ждет... Встречный должен идти...

– Идите, Сан Саныч! Телеграмму по пути следования вашего поезда я уже дал, проблем не будет...

Он встал из-за стола, как есть в белых шерстяных носках, подошел к Сизову.

– Ну, будь здоров, командир, не лютуй больно-то. Помни, что люди не только около вагона, но и в вагоне...

– Понял вас, товарищ командир...

– Иди.

Уже дверях чекист еще раз окликнул Сизова.

– А что ты там про какую-то красивую женщину говорил? Кто она, откуда?

– Ссылная она, из кулаков, но такой красоты невиданной! Лет пятьдесят ей уже, в лохмотьях, а красивше любой молодайки...

Мужчина, стоя у открытого окна, взглядом провожал бежавшего к своему вагону Сизова, а когда тот обернулся, он махнул ему вслед, словно честь отдал, и крикнул:

– Ее Алена зовут!..

Начальник охраны нагнал свой вагон, и с десятком рук потянулись на помощь офицеру.

Чекист задумчиво потер щетину: второй месяц двумя десятками бойцов он выслеживает банду, что орудовала на стыке Томской и Новосибирской областей, ловко уходя от милицейских кордонов и вооруженных дружин добровольцев. Он несколько раз махнул сапогом, распалая огонь в самоваре. Потом снова уселся за стол, ожидая, когда самовар закипит. Передвинул документы подальше на угол: сводки, справки, докладные агентов, а банды как не было, так и нет. Рука сама собой потянула змейку телеграфной ленты: «...предлагается п/п Запсиб ОГПУ командиру оперативной группы Кузнецову Федору Михайловичу в срок до 1 июня 1934 года прибыть в распоряжение штаба армии ДВР тов. Блюхера для прохождения дальнейшей службы...» Федор долго сидел в задумчивости. Честно говоря, он не ожидал такого предложения. Ему перевалило за шестьдесят. Здоровье стало сдавать – сказывались старые раны, контузии, годы тюрьмы. Он уже намеревался подать рапорт о выходе на пенсию, а тут такое предложение! Кто-то вспомнил о нем из старых боевых товарищей? Может, Николай Шубин? От кого-то слышал, что он на Восток рвался, к морю-океану...

Федор налил закипевший чай в алюминиевую кружку, кинул туда крупный кусок колотого сахара и, продолжая раскручивать свои думки, принялся помешивать его ложкой. Ложка звенела алюминиевым звоном, но Федор не слышал его, зато возмущился один из бойцов, спавших на нарах.

– Ой, ну, мать вашу, кто там ложкой гремит?

– Не «мать», Артем, а твой командир, и делаю я это потому, что вам все равно уже пора ставить.

– Федор Михалыч, еще бы чуток...

– Давай, давай! И остальных поднимай! Вот уеду от вас на Дальний Восток, тогда спите, сколько хотите.

– А что, уже решили, Федор Михалыч? – в следующее мгновение боец уже был на ногах. В черных сатиновых трусах и тельняшке, он одевался. Вслед за ним стали подниматься другие бойцы. – А как же банда?

– Ловить надо банду, а не спать! Поймаем – тогда и поеду. У нас еще есть время...

– А меня возьмете с собой? – Артем Дымба напряженно смотрел на Федора. – Уж столько лет вместе, Федор Михайлович...

– Нет, Артем, не возьму! Ты спать шибко любишь...

– Ну, Федор Михайлович...

– Ладно, ладно, но сначала мы должны банду изловить...

Гремя сапогами по железным ступенькам, в вагон вошел дневальный и принес записку, где были указаны три фамилии: Шелковникова Аграфена Ивановна, 73 года, Кузнецова Липа, 4 года, Студеникин Ерофей – 59 лет.

– Что это, Нагибин? – Федор пытливо смотрел на бойца.

– Это начмил просил передать вам: фамилии умерших, что сняли с поезда, ему нужно ваше разрешение на их похороны...

– Вот и пусть разрешает – он здесь власть.

Уже одетые, бойцы, громко стуча сапогами, побежали умываться, а Федор снова взял записку: «Кузнецова... Кто ты есть...то есть была, Кузнецова Липа, Олимпиада, значит... Я Кузнецов, и ты Кузнецова. Мне седьмой десяток, а живу. Тебе только четыре года, но тебя уже нет. Вот она – странность жизни, и никакой тебе логики. И получается порой, что лучше быть старым, чем молодым. Старик-то он пожил свое, жизнь покуражил, а молодой живет, надеется на сто лет, а тут раз – и нет его...» Прихлебывая чай, Федор даже усмехнулся неожиданному выводу: лучше быть стариком, чем молодым?! Странно! «Ладно, – решил он для себя, – выйду в отставку – займусь философией, а пока некогда – бандиты и прочая контра покоя не дают».

Слушая, как его бойцы весело ржут за окном, умываясь холодной водой, он отодвинул пустую кружку и принялся обуваться.

...«Ее зовут Алена» – почему-то всплыли в памяти последние слова командира взвода охраны. «Алена». При одном только воспоминании

этого имени у него защемило сердце. Сколько же – семь, восемь, десять лет он не видел ни ее, ни брата, ни своего сына Никиту. «Своего» – так он мог его называть только сам для себя. Один раз он сказал это Алене, и она ответила, как отрубилась: «Никогда не смей называть Никиту своим сыном, если хочешь видеть иногда меня, Никиту, Гордея... Его отец – Гордей!» И сказано это было таким тоном, что второй раз он никогда не посмел бы назвать его своим сыном. Да и когда называть, если они после этого и не виделись больше. Туркестан, Москва, Дальний Восток... Вот сейчас он, казалось бы, совсем рядом от них, а все некогда! Вот жизнь собачья! Перед тем, как поеду на Восток – непременно съезжу к Гордею, к Алене, к сыну...

Он стал надевать португепю, и вдруг снова в памяти всплыли слова Сизова: «Невиданной красоты женщина!». Именно так он всегда восхищался красотой Алены, поди ж ты, и этот мальчишка тоже заметил такую красоту! Пятьдесят лет ей... А сколько же Алене? Он на секунду задумался – пятьдесят шесть! Она же ровесница Гордея... Липа Кузнецова – четыре года. Федька, сын Гордея, ушел с белыми еще в девятнадцатом... Тут Федор невольно поехал: в последнее время он чувствовал, что в его ведомстве все строже и строже вчитываются в анкеты всех без исключения граждан, а уж своих сотрудников изучают с особым тщанием. И тот факт, что о беглом племяннике, Федоре Гордеевиче Кузнецове, до сих пор ничего неизвестно в ОГПУ – счастье для него, Федора. Тут могут вменить в вину то, что он не поставил в известность свое руководство о племяннике-белогвардейце, а это, в лучшем случае, увольнение без пенсии и выходного пособия, а в худшем... Тут не поможет ни боевой орден, ни именное оружие: утаил – значит, враг! Оттого и хотел он выйти в отставку, что анкетой пенсионера никто особо интересоваться не будет. А тут перед каждым новым назначением идет «очередной чес». Казалось бы, все проверено на шесть рядов, ан нет! В том-то и дело: чем выше ты занимаешь пост, чем выше твой ранг и звание, тем с большим тщанием изучают каждый день твоей жизни...

Ну ладно. Сейчас уже ничего изменить нельзя. И хотя в телеграмме ему только «предлагается» выехать на Дальний Восток, а по сути это приказ, не выполнить который он не мог. Только смерть или тяжелая болезнь стала бы веским поводом для «неотбытия на Дальний Восток». Вот так-то, товарищ Кузнецов!

Он надел фуражку, поправил ее перед зеркалом и уже сделал последний для себя вывод: Липа Кузнецова, «красивая женщина» по имени Алена – случайное совпадение. У сестры Машки не может быть детей – она больна да и живет где-то в монастыре на севере Томской области, а может быть, уже и не живет. Век блаженных короток. Вон Митя-дурачок был в Урском, тридцати не было – помер. Никита? У него был сын Егорка, значит, его, Федора внук... Ему сейчас шесть или семь лет, а Липа?..

– Товарищ командир! Федор Михайлович, малец прискакал, говорит к ним в деревню бандиты наехали, убивают сельсоветчиков... Три версты до них... Милиция уже знает...

– Тревога! Всем в ружье!

Уже через полчаса летучий оперативный отряд ОГПУ Западно-Сибирского края под командой Кузнецова Федора Михайловича на рысях спешил на поимку бандитов.

Так в мае 1934 года на безымянном разъезде под Томском навсегда разошлись пути Федора Кузнецова с его сыном Никитой и той единственной женщиной, которую он любил всю свою жизнь. Но об этом он узнает много позже...

ГЛАВА 3

Сто тысяч человек должен был принять Нарымский округ из числа кулаков, отправленных в этот северный край из Алтая, Красноярского края, Новосибирской области. Уже позднее к ним присоединятся выселенцы с Урала, Молдавии, Украины, Прибалтики. В Москве были уверены: велика Сибирь – всех примет!

Первые партии спецпереселенцев оседали в непосредственной близости от Томска по месту дислокации Галкинской, Парбигской, Тоинской, Шегарской комендатур. Профильным направлением их развития было сельскохозяйственное производство. По мере «укомплектования» спецконтингентом данных комендатур следующие партии поселенцев продвигались все далее на Север по Оби или в глухие, практически незаселенные места в верховьях Васюгана. Именно туда направлялись колесные буксиры, в пору своей молодости славно послужившие купцам-миллионщикам, доставляя их товары на Север для аборигенов, а назад же, на Большую землю, они тянули за собой баржи с пушниной, рыбой, оленьими шкурами. Только сейчас они шли в упряжке с баржами, в тесных и холодных трюмах которых навстречу своим мукам, а нередко и

смерти ехали те, кого в родных селах и деревнях поспешно, а зачастую ошибочно признали кулаками, подкулачниками, социально-опасными элементами (СОЭ), социально-вредными элементами (СВЭ). И чем дальше продвигались на Север эти плавучие тюрьмы, тем призрачнее становились надежды узников на спасение и возвращение в цивилизацию...

А между тем Совет народных комиссаров СССР поставил перед западносибирскими организациями практически невыполнимую задачу: за два года (1932–1934) освободить Нарымский округ от поставок извне хлеба, овощей, фуража и перевести спецпереселенцев, обживающих этот суровый и скупой на радости край, на полное самообеспечение, для чего последним предстояло освоить 855 тысяч гектаров земельных фондов края, раскорчевать 75 690 гектаров тайги, пробить и обустроить 970 колодцев и проложить 285 километров проселочных дорог, освоить под полевые и огородные культуры не менее 34 700 гектаров и много еще чего...

Поселок Большая Ямка Каргасокского района Нарымского округа, некогда бывший стойбищем остяков, повел свою новую историю с осени тридцать второго года, в самый разгар борьбы с кулачеством. Первый комендант его, Аpekсим Шишкин, прибывший к новому месту своей службы вместе с немногочисленным конвоем и партией спецпоселенцев, поставил перед ними задачу: соорудить для жилья с десятков больших шалашей и засыпать огромную яму, которая непонятно для каких целей располагалась в самом центре будущего поселка. А когда эти задачи были выполнены, он торжественно объявил, что поселок Большая Ямка, ввиду того, что сама ямка уже уничтожена, отныне переименовывается в поселок Шишкино в честь первого его коменданта, коим здесь является он – Аpekсим Емельянович Шишкин. Пояснил также, что их поселок в первое время планируется использовать как перевалочный пункт для переброски последующих партий спецпереселенцев в верховья Васюгана и что теперь им до осенних холодов предстоит построить комендатуру с хозпостройками и землянки, в коих и придется зимовать...

Весной тридцать третьего жителей Шишкино, количество которых за зиму уменьшилось на треть, погрузили в баржу и отправили даль-

ше, вверх по Васюгану, на обжитие новых мест, а их шалаши и бараки оставались в наследство для следующей партии горемык с Большой земли. Это была своего рода Нарымская ротация: считалось, что им, пережившим практически на голом месте одну суровую сибирскую зиму, уже легче будет перенести вторую зимовку на необжитом месте в таежных дебрях, а там, глядишь, и третья будет ждать. По сути своей это были выморочные партии, а конвоиры в шутку называли их «пионерами»: мол, впереди всех идете, пенки снимаете... Да только на деле из этих «пионеров» до третьего зимовья доходили единицы. Так чиновники ГУЛАГа из далекой и заласканной Москвы отправляли на верную и скорую смерть сотни и тысячи «пионеров».

Весной тридцать пятого прошла очередная такая «ротация» в Шишкино, но только все лето, до конца августа тридцать шестого года, поселок практически пустовал. Заволновался Аpekсим Шишкин, словно недоброе почуял, а получилось как раз наоборот: со свежей партией спецпоселенцев числом в двести с лишним человек прибыл новый комендант, а самого Шишкина отозвали в Колпашево, в окружную комендатуру. Согласно предписанию НКВД, в Шишкино создавался филиал леспромхоза, а его жители вместе с арестантами исправительно-трудового лагеря, что располагался в трех верстах от поселка, теперь должны будут поставлять родине лес из глубинки Нарымской тайги... Там же, в лагерной зоне, находилась контора леспромхоза имени товарища Кирова с немногочисленным штатом администрации и конвойной ротой.

Новый комендант поселка Семен Семенович Попков оказался человеком немолодым, но даже в свои пятьдесят, из которых двадцать лет было отдано военной службе, он оставался бодрым, жизнерадостным, к месту и не к месту шутил, любил розыгрыши, отчего и сам нередко попадал впросак, зато контингент комендатуры заставлял ежиться от страха и недоумения. При передаче дел, узнав от Шишкина, как поселок получил свое название, на первом же построении партии поселенцев в присутствии отъезжающего коменданта объявил:

– ...Итак, граждане кулаки, когда-то местные туземцы называли это стойбище Большая Ямка. Аpekсим Емельянович Шишкин в честь себя любимого назвал его Шишкино. У меня фамилия не кругленькая – Попков, но, чтобы не нарушать

традиции, объявляю, что теперь поселок будет называться Попкино. Как звучит, граждане контрики?

Видя на лицах людей недоумение и заслышав сдержанный смех, он резко сбросил улыбку с лица и добавил уже суровым голосом:

– Не потому поселок будет называться Попкино, что у меня фамилия такая, а потому, чтобы вы запомнили раз и навсегда: пока я здесь комендант, ваши попки... да какие к черту «попки», ваши ж...пы будут в мыле, но планы по заготовке леса и сбору лесных продуктов будут выполняться, а нет... – я найду на ваши... хм-м... попки управу!.. Саботажа не потерплю!..

– А ты, Семен Семенович, зазря объявил о новом названии поселка... – выговаривал ему потом Шишкин, – тут такая канитель начнется: документы переиначить, печать, карты... Нет, не пойдет начальство на это!

– Эх ты, Апексим Шишкин, ни хрена ты не понял меня! Мне ведь по хрену, как он будет называться – Шишкино или Попкино! Главное, я сказал, как буду спрашивать с них за лесоповал, и они это запомнят, а то, что я сказал про Попкино – шутка, товарищ Шишкин!

Как потом оказалось, любимым словом Семена Попкова было «хрен», которое он вставлял в свою речь, где ни попадя, и потому вскоре поселенцы за глаза стали звать его «Хрен Попкин». Как видно, шутить могли и спецпереселенцы...

Жилфонд в распоряжении нового коменданта оказался более чем скромным: одиннадцать больших шалашей да десять легких засыпных землянок. Прежний комендант считал, что перезимовать-то зиму кулачье может и в таких строениях, но наверх регулярно уходили отчеты о строительстве барачков и жилых домов. Не раз на совещаниях в окружной комендатуре Шишкина ставили в пример: людей успел расселить по барачкам, дома строит... Потому-то и отозвали его в Колпашево летом тридцать пятого как передовика-стахановца для налаживания работы в округе. То-то удивился Семен Попков, когда обнаружил, что на вверенном ему участке нет ни одного барачка и ни одного дома, хотя на совещаниях не раз звучали разные цифры: то «десять», то «двенадцать»... Предъявил он было претензии своему предшественнику, да тот со смехом оборвал его:

– Не дрейфь, Семен! Сюда, в глухомань, никто с инспекторской проверкой не поедет, а к Но-

вому году ты и двадцать барачков построишь... Зато какие хоромы я тебе оставляю: комендатура о двух комнатах, банька, сараюшка и ясли на двух лошадей... Учти, у меня ведь, кроме лопат да топоров, ничего не было, а как без пил лес распускать? Шалаши-то можно из веток собрать, а на барачки нужны тес, плаха...

– Но комендатуру-то ты построил без пил и топоров?

– Для себя-то можно расстараться... А у тебя сейчас в трех верстах целый лагерь стоит, а там тебе и пилы, и станки разные, и лошади. Говорят, трактора даже пригонят скоро – вот жизнь будет! Но только ты про мою туфту – никому и нигде! А я тебя завсегда наверху прикрою... Лады?

И пришлось Семену Попкову идти на такой сговор с жуликоватым коллегой...

Проводив своего предшественника в Колпашево, Попков сделал последнее внушение команде поселенцев:

– Сутки вам на обустройство, а завтра в двенадцать часов сбор здесь со своим инструментом. Получите наряды на работу... От нее освобождаются больные и старики после шестидесяти лет, а также дети до восьми лет. Питайтесь своими запасами и тем, что найдете в лесу – шаповка придет только послезавтра... Бежать не советую: кругом болота, а там (он махнул рукой в сторону леса, стеной окружавшего их поселок) – лагерь, там охрана, собаки... К реке без разрешения не выходить! Сейчас разберитесь, кто с кем будет жить, к вечеру дать мне фамилии старших по шалашам и землянкам. Разойдись!

Уже тогда, вглядываясь в изможденные и безрадостные лица своей команды, Семен Семенович где-то в глубине души жалел их и наперед знал судьбу если не каждого, то многих. Старики и старухи до весны не доживут: стужа лютая, плохая еда, а главное, переживания за своих детей и внуков, приберут их в первую очередь. Затухнут, как свечки, груднички и дети до пяти-семи лет: та же плохая еда, холода да болезни загасят их. Молодые парни и девки уйдут в бега, да вряд ли кто из них доберется до Большой земли: в болотах утопнут или вернутся назад... А этот мордатый, что на голову возвышался над толпой, видать, балагур по жизни. Тут останется навсегда. Сам ли руки на себя наложит или кто поможет из уголовничков: не любят

они тех, кто сильнее их, а потому мстят им в первую голову. Уже заканчивая свою речь перед контингентом, увидел он на левом фланге шеренги женщину, и словно кипятком обожгло его... Пятьдесят лет ей, а то и больше, одета в какое-то старье, изрядно потрепанное за дальнюю и многотрудную дорогу, но стать-то какова, красота, а главное, отрешенность от всего окружающего: словно не кулачка она, а какая-то принцесса, случайно оказавшаяся здесь в окружении босяков. Ни отчаяния, ни страха, ни боли не заметил он на ее красивом лице, а самообладанием она, похоже, давала силу и надежду тем, кто был рядом с ней, кто был слабее ее. И дрогнуло сердце старого холостяка. Много лет своей служилой жизни он оставил в Соловецком лагере особого назначения (СЛОНе) и на Беломорканале, одолел полувековой рубеж, а так и не встретил ту одну, о которой томилась и маялась под солдатской шинелью его одинокая душа, и вдруг она здесь...

– Гражданин начальник, меня до вас направил начальник лагеря Морозов Степан Егорович. Охрана, говорит, коменданту не положена, а помощник нужен, потому и направил меня к вам для скорейшего обустройства арестантов.

– Не арестантов, а спецпоселенцев, болван! В крайнем случае – трудпоселенцев... И чтобы я этого слова больше не слышал от тебя! «Арестанты!»! Тогда мы что – тюремщики?! Уж, хренушки! Пойдем лучше в комендатуру – обскажу, чем будешь заниматься...

– Да я знаю, гражданин начальник, я не впервой тут... Пойду потороплю этих... спецпереселенцев или поселенцев с размещением да списки соберу старших по баракам...

– «По баракам»!.. – передразнил его Попков, – где ты видишь здесь бараки? Их еще строить надо, и строить будешь ты вместе с ними вот...

Этот худой скуластый человек средних лет с непрерывно бегающими длинными пальцами и юркими холодными глазами, невесть откуда появившийся в его поселке, вызвал у Попкова неприязнь, но более всего он был сердит на него за то, что тот помешал ему пристальнее взглянуть на женщину, которая, он теперь был уверен, не раз приходила к нему во сне. Как бороться с такими снами, Семен Семенович знал, но, как вести себя рядом с этой женщиной, ему еще только предстояло решить. Его смятение, похоже, заметил этот прощельга-

помощник, а там, глядишь, и другие прознают. А этого допустить нельзя! И потому, нахмутив брови, сурово прикрикнул на своего неожиданного помощника:

– А как тебя кличут?

– Зубастик...

– Я не кличку спрашиваю, а имя.

– Матушка Филькой кликала...

– Филька?! А дальше?.. Порядка не знаешь? Имя, отчество, статья?

– Филимон Иванович Кочкин... по закону «семь-восемь» от тридцать второго года... Пять лет ИТЛ...

– Та-ак, вор, значит?..

Попков знал, что с некоторых пор в лагерях и местах спецпоселения в качестве охранников и надзирателей все чаще стали использовать уголовников, которых администрация лагерей и колоний считала более «социально близкими» себе, чем политических, и потому доверяла больше. Попкову Зубастик не понравился, но что делать? Не вступать же в пререкания с начальником лагеря в первый день службы...

– А почему Зубастик? Зубы, что ли, жмут?

– Шутите, гражданин начальник, – и он ощерился, явив коменданту рот, наполовину лишенный зубов.

– С тобой все ясно... А теперь геть отсель! Вечером доложишь о работе... Жить будешь в конюшне... Там нары от предшественника остались... Найдешь, поди-ка?

– Как не найти, Семен Семеныч, коли я сам их и мастырил... А там, в подполе, на кухонке, у вас картошечка есть да самогонка, ежели ее, конечно, Шишкин не забрал...

– Ладно, иди уж, сам разберись, – и Семен Семенович продолжил знакомиться с убранством своей комендатуры в одиночестве.

Еще до выезда из Урского Кузнецовы и Яковлевы уговорились везде держаться вместе – полвека прожили бок о бок, всю сознательную жизнь, а кому довериться в лихую годину, как не тем людям, с кем пришлось делить и радость, и горе, и утраты...

Облюбовав один из пустовавших шалашей, что находился неподалеку от комендатуры, Кузнецовы и Яковлевы принялись его обустроить: поставили дополнительные стойки внутри шалаша для поддержки крыши, обкопали его канавка-

ми для отвода воды, принесли большие охапки свежего сена, покрыли крышу новыми ветками, после чего, разобрав свой скромный скарб, сели ужинать, накрыв стол из грубо отесанных досок, что достался им от предшествующей партии поселенцев, а кипяток для чая Никита и Яшка-младший вскипятили на костре, разведенном у самого входа в шалаш. Едва перекусив, дети уснули в углу шалаша, предоставив взрослым заканчивать скромную вечернюю трапезу за пустым и унылым столом. Таким же унылым складывался их разговор, а от того, что Яков и Валентина раз за разом норовили назвать Алену по имени-отчеству, беседа и вовсе казалась холодной, казенной, будто чужие люди собрались случайно, не зная, чем заняться друг друга. Раз поправила их Алена, другой, а потом заявила сердито:

– А что это, Яша и Валя, все на «вы» меня навеличиваете, да все по отчеству, как старуху какую? – в черных глазах Алены, в самой их глубине, уже давно засела вечная боль и тоска, но, видя, что друзья ее, а вслед за ними и молодежь, упали духом, готовые сломаться в любой момент и разрыдаться от отчаяния, нашла в себе силы пошутить. – Или забыла, Валька, как мы парней проучили тогда в Девичьем Куту? А ты, Яшка, забыл разве, как ты с дружками сполз с насыпи прямо в реку?

Встрепенувшись, Яков подхватил тему:

– Как же, забудешь! Знала бы ты, Алена Ив...

– Яша, опять ты? – одернула его Алена.

– Понял – не буду! Знала бы ты, Алена, что сказал тогда Тимоха Скопцов, когда мы подглядывали за вами, за голыми...

– И что же он такого сказал?..

– Облизнулся он так и говорит: «Вот бы моей Зинке такую ж...у, как у Алены!..»

Явно не ожидавшие таких слов, Валентина, Алена, а вслед за ними все молодые прыснули от смеха. Поняв это как знак недоверия, Яков принялся убеждать своих собеседников с новой силой:

– Что, не верите? Верно говорю! Гордей тогда его чуть не побил, а нам запрещал смотреть на тебя...

– Да неужто?! – искренне рассмеялась Алена, еще больше заражая своей веселостью других.

– Точно говорю! – Яков даже перекрестился, чем еще больше развеселил компанию.

– А потом, Валь, когда мы украли у них одежду, они совсем голые полезли на запруду... Помнишь?.. Чумазые, ругаются, но лезут наверх...

Яков-младший и Никита смеялись сдержанно, солидным баском, их жены, Марта и Рая, и Алена давились смехом и утирали руками катившиеся слезы, а Яшка, не выдержав, упал на пол и заржал по-жеребьячи... И только Валентина, улыбнувшись, с благодарностью посмотрела на подругу, а потом, приложив палец к губам, пыталась утихомирить развеселившуюся компанию, приговаривая:

– Детей разбудите, тише, тише!..

– Намайлись они, бедолаги, их теперь и пушкой не разбудишь, – сказала Алена. – Да-а, ребята, веселое было время, молодые были, озорные, а теперь-то и смотреть не на что! Постарели, раздобрили! Вот, молодежь, не берите с нас пример!

Валентина принялась стыдить подругу:

– Ну, мать, тебе-то грех жаловаться на старость! И фигура, как у молоденькой, и лицо гладкое, не то что у меня... – грустно закончила она.

– Да уж, Алена, – поддержал жену Яков, – тебя и сейчас любой мужик с удовольствием завалит где-нибудь в кустах... Если бы не Гордей тогда, я бы непременно за тобой приударил!..

– Да ты же еще маленький был тогда, Яш, ты же тогда только в окно бани мог подглядывать, где девки моются...

22

Эти слова вызвали у старших новую волну смеха, а молодые только недоуменно смотрели на веселящихся родителей.

– Да не подглядывать я полез тогда, а попугать хотел вас... Больно долго вы там гадали... Мы уже замерзать стали, вот я и зарычал по-медвежьи...

– ...Да, Яш, напугал ты нас здорово, Парашку-то мы удержать не смогли – убежала домой, а там дед Прошка с ружьем...

– Потом же Гордей и дед стрельбу устроили... – поддержала воспоминания мужа и подруги Валентина, – и Прошка тогда в штаны навалил с перепугу...

Теперь уже смеялись все: и старшие, и молодежь. Веселые и добрые воспоминания словно отодвинули день сегодняшней, и, казалось, от них в шалаше стало как-то теплее и уютнее. Когда все чуть успокоились, Алена уже с грустью в голосе проговорила:

– Гордей-Гордеюшка, где ты есть теперь? Сколько времени прошло уже...

– На небе он, Аленушка, – с сочувствием проговорила Валентина. – Старики не зря говорят, что душа к небу отлетает...

– Аленушка – так и звал меня Гордей... – тут вспомнилось ей, что и Федор звал ее так же, но об этом она не могла сказать ни своим друзьям, ни своим детям даже сейчас, спустя много лет, и потому резко повернула разговор в другую сторону.

– Да, ребята, там душа на небо улетает, а нас загнали сюда в дикий край! Отсюда, наверное, даже душа дорогу не найдет на небо. Но надо держаться вместе, друженьки мои. Всегда люди русские в лихую годину друг к дружке тянулись – говорят, так легче выжить. Вот и нам надо держаться друг дружки, меж собой никакую свару не заводить, не давать волю болтунам разным да стукачам. Душегубство всегда по их вине случилось. Ну а теперь надо поправить дощечку с номером шалаша и сказать коменданту, кто у нас старшой в шалаше. Ты, Яша, взрослый мужик у нас, могучный, тебе и быть за атамана!

– Не-е, Алена Ивановна, могучный-то я могучный, да верховодить я совсем не умею. Моя Валентина вон вертит мной, как собака хвостиком – куды мне в командиры! Вот из Гордея или из Федора вашего славные командиры получились бы... Так что быть тебе старшой по шалашу! Тебя твои хорошо слушаются, ну а ежели мои неслухами будут, я их по-семейному поучу! Быть тебе командиром, Алена Ивановна, таков наш сказ!..

Уже в вечерних сумерках, когда они стали готовиться ко сну, к ним заглянул помощник коменданта, чтобы узнать фамилию старшего по шалашу, и Яшка, что стоял ближе всех к выходу, рывкнул ему через плечо:

– Старшой по шалашу номер три – Кузнецова Алена Ивановна! Понял?

– Понять-то понял, да только что орешь, мордатый?! Не ученый, что ли?

– Это ты поучить меня хочешь, сопля зеленая!? – недобро глянул ему в глаза Яшка и сделал шаг вперед.

– Яков!!! – одновременно крикнули Алена и Валентина, а Зубастик испуганно отскочил от шалаша.

– Вы простите нас, гражданин-товарищ... это он с устатку, с дороги мы... – запричитала Яшкина жена.

– Ваш товарищ в лесу бегаёт! – как отрезал Зубастик, а потом добавил уже непосредственно Якову. – А тебе, мордатый, я еще припомню этот разговор!..

Уже перед самым сном, когда Алена с Вален-

тиной отошли в кусты, чтобы справиться свои женские дела, последняя сказала:

– Ой, Алена, какая же ты молодец! Так всех растормошила своими рассказами. А ведь Яшато в первый раз нонче рассмеялся после смерти внучечки. Помирать было совсем собирался, говорит, пора и мне в отступ идти, как коты и собаки больные уходят умирать из дома...

– Ничего, Валя, поживем еще, попытаем нашу жизнь-то...

Но совсем недолго пришлось пытаться свою жизнь Валентине Яковлевой, в девичестве Мочалкиной. Недели через две после этого разговора разболелся у нее зуб. Застудила его или какая другая напасть пришла, но еще день, другой терпела она, а потом рассказала о своей беде Алене и мужу. Стали вспоминать разные травы, настои делать и заставляли ее рот полоскать – не помогло, а когда щека распухла и глаз затек, отправились Алена с Валентиной к коменданту. Тот осмотрел больную внимательно и разрешил пару дней не ходить на работу – отлежись малость, а там видно будет...

– Гражданин комендант, нельзя больше ждать – к врачу надо! – сердито заговорила Алена. – Не нога болит, не хвост, а голова, понимаете?! Дозвольте нам к доктору сходить в лагерь?

Скуластое лицо коменданта выказывало серьезную внутреннюю борьбу. Обратись к нему с такой просьбой мужик или любая другая женщина, Попков, наверное, отправил бы их восвояси лечиться самостоятельно и дал бы два-три дня отгула. На инструктаже перед отправкой в комендатуру какой-то чин из НКВД прямо сказал: с врагами народа и прочим кулачьём не миндальничать, никаких поблажек, а ежели умирать начнут, главное – вовремя и правильно активировать все факты смерти... И в заключение изрек фразу, которую Попков потом не раз повторял для себя: «Смерть еще никто не отменял!..».

И сейчас он был готов произнести эту фразу для больной поселенки, но присутствие рядом женщины, думы о которой не давали ему покоя все последнее время, остановило его. Опять же, как среагирует Морозов на эту больную: месяца не проработали, а уже врача подавай!..

– Ладно, я подумаю, что тут можно сделать... – нерешительно проговорил он.

– Да что же тут думать, Семен Семенович? Третий день женщина мается, температура у нее, а по ночам так стонет, что соседи жалуются...

– Да, и мне уже жаловались из второго шалаша... Ну что же мне с вами делать?..

– Да со мной-то ничего не надо делать, Семен Семенович, а вот Валентине надо помочь! Посадили бы ее на лошадку позади себя да и отвезли... Конечно, мы и пешком бы дошли, да больно уж ослабела она, боюсь, пешком не дойдет – три версты все же...

– Ох, Кузнецова Алена... Как вас там?..

– Для вас просто, Алена, Семен Семенович, только не оставьте в беде подругу...

Нахмутив густые серые брови, Попков утробно прорычал, словно сетуя на кого-то, дернул пару раз свой ус, скобкой, по-гуцульски, опущенный вниз, и скомандовал:

– Пятнадцать минут на сборы и ко мне сюда, а я пока лошадь запрягу...

– Гражданин комендант, мы уже собрались... – и Алена показала небольшой узелок, где, как понял Попков, и находились все личные вещи больной Яковлевой.

– Ну-у, Кузнецова... можешь ты брать за кадык!.. – с плохо скрытым одобрением сказал комендант и отправился запрягать лошадь.

На следующий день фельдшер в лагере без всякого наркоза удалил воспалившийся зуб Валентины, но улучшения не наступило. Еще через день закрылся ее левый глаз, а опухоль потемнела и приняла устрашающие размеры.

На пятый день после отправки Валентины Яковлевой в лагерный лазарет на лечение Семен Попков вернулся в поселок не верхом, как уезжал накануне, а на телеге, на которой лежал большой продолговатый предмет, накрытый брезентом, груды лопат, пил, топоров да несколько ящиков гвоздей, отзывавшихся легким металлическим перезвоном на любой кочке. Завидев на крыльце комендатуры Филимона Кочкина, он приказал привести к нему Алену Кузнецову из третьего шалаша. Алена Ивановна по распоряжению коменданта уже неделю вместе с больными и стариками присматривала за детьми тех поселенцев, что уходили в тайгу на лесоповал, кормила их в определенный час, следила, чтобы они не спускались к реке.

Завидев издали угрюмое лицо коменданта, Алена не на шутку встревожилась, но первый вопрос ее был о другом:

– Семен Семенович, а откуда же у вас телега?

– Наша теперь будет... В лагере их много... да-

же трактор пригнали, ну и у нас будет свой транспорт...

– А-а, вот почему ее дали – инструмент привезли...

– Да, инструмент... Бараки строить будем, дом большой... Школу не школу, а что-то вроде детприюта, где тебя заведующей сделаем. Вон их сколько бегают вокруг!

– Двадцать семь, а если еще тех считать, кто постарше и сучки рубит, то тридцать девять...

– Вот и хорошо, Алена Ивановна, а пока прими-ка вот груз печальный, – и он указал на продолговатый тюк, укрытый брезентом, – подруга твоя приехала, Валентина... Померла она вчерась... Такие вот дела, Алена Ивановна. Упреди мужа, сына, похоронить ее надо, а я пошлю мужиков могилку копать...

Защемило сердце Алены, застучало в висках, защипало глаза, но слез не было. Видно, поистратились они за время ссылки, не хватило спасительной влаги, чтобы оплакать очередную утрату в своей жизни. И как все предыдущие, она больно оцарапала душу Алены, оставляя в ней свой печальный след. Всю ночь гроб с телом Валентины стоял около третьего шалаша. Рядом горел костер, около которого сидели Яков с сыном и невесткой, с внуками, и каждый житель подневольного поселка мог подойти и попрощаться с отмучившейся женщиной, сказать скупые слова утешения ее родным. Похоронили Валентину на поселковом кладбище, что спряталось за небольшим бугром в полуверсте. И снова Яков ушел в себя, ни с кем не здоровался, не разговаривал. Бывало, иногда перед сном погладит по головке своего внука, улыбнется ему жалкой улыбкой, а в глазах снова слезы блещут. Похоже, он каждый день прощался с белым светом, да все никак не мог выбрать для себя тот самый, который станет для него последним. И вроде жизнь как жизнь, а на поверку одна маета получается...

* * *

Кабинет поселкового коменданта Семена Семеновича Попкова едва смог вместить в себя всех «десятников», как называл их Попков (и в самом деле, в каждой землянке и каждом шалаше проживало в среднем по десять человек). Заняв свое законное место в деревянном кресле, оставленном ему предшественником, Семен Семенович предложил единственный стул, стоявший впритирку к его просторному письменному

столу из сосны, Алене Кузнецовой, которая одна представляла женщин поселка в этой чисто мужской компании. На широкой лавке, что стояла справа от двери и упиралась своим торцом в единственное окно комнаты, расположились трое стариков. Старшему из них, седовласому Антону Степановичу Хвостову, было уже за семьдесят, но держался он бодро, спину не горбил, а говорил негромко, но уверенно, и это невольно вызывало у его собеседника уважение. Двое соседей его по лавке были чуть младше, но статью не вышли, и потому смотрелись старше его. В комнате было тепло. Похоже, малая печурка, занимавшая угол за спиной коменданта, успешно выполняла свою работу и спасала хозяина от ноябрьских холодов.

– Ну-с, граждане трудпоселенцы, хоть не совсем ваш этот праздник, ну, да райком партии разрешил дать вам передышку в работе, но, поскольку зима на носу, я предлагаю использовать этот день для пользы дела и для себя. Согласны ли?

В ответ ни звука. Попков недоуменно осмотрел всех, затем снял форменную шапку со звездой на лбу, аккуратно положил перед собой, а потом, сурово нахмутив брови, снова спросил:

– Ну-с, что молчим?

– Неясно, гражданин комендант, для какой такой «пользы ради для...», потому и молчат мужики. Верно я говорю? – Алена первой подала голос и, ища поддержки, обернулась к своим товарищам по несчастью.

– Точно так, Алена Ивановна, тут ведь десять раз подумать надобно, прежде чем слово изречь, – отозвался один из стариков, сидевших на лавке, лысоватый Артемий Федотович Селезнев. – «Для пользы...» – это как?..

– Эх, Селезнев, был бы ты такой осторожный дома, глядишь, не мыкал бы здесь горя... – усмехнулся Попков. – Зима на носу, а лес, что мы готовили для себя, отняли у нас... В смысле, изъяли в доход государства, – и комендант опасно покосился в угол, где, прижавшись к ее боковой теплой стенке сидел Зубастик. – Много леса мы теперь уже не успеем напилить, но для детприюта или для школы еще успеем... Вы-то все равно в лесу будете греться с топором да пилой, а даст бог – у костра, а детки ваши день деньской в избе будут да тепле. Глядишь, учителя найдем для них, а то и фельдшера ...

– У меня сын медтехникум закончил... Практику на людях проходил, мог бы и нас полечить... – неуверенно произнес Лукьян Ковальков,

мужчина лет пятидесяти, чье лицо, испещренное множеством морщин, то и дело подергивал нервный тик.

– А как же он-то в кулаки попал?

– А так вот бывает: приехал в гости после учебы да попал под горячую руку. Как ни объясняли нашим гэпэушникам – бесполезно! План, говорят, у них...

– Ладно, там разберутся... – как-то неуверенно проговорил комендант. – Я о другом сейчас... Поднимайте людей лес валить... Для себя, значит, здесь место поближе есть... меньше километра вверх по реке... Упремся рогом, заготовим, что-то сегодня притащим, а там по мере нужды... Плотники у нас есть, топоры, пилы я привез – до холодов поставим дом под крышу. В сараюшке буржуйка лишняя есть... Как думаете?

– Дело нужное, Семен Семенович, – отозвался старейший из «десятников» Антон Хвостов. – Я думаю, мужики, надо соглашаться...

Мужики одобрительно загудели в ответ. А Попков между тем продолжил свою речь:

– Весной тридцать шестого собираются организовать здесь артель по заготовке леса, пиломатериала поставят, сельсовет откроют – тоже дом строить надо под сельсовет. Как-никак, а все власть...

– А вот тут-то, Семен Семенович, надо иначе смотреть: для себя мы можем и в праздник поработать, и ночью, а уж для сельсовета можно лес-то привезти с лагерной делянки... Там и лошади есть – все не на пупу тащить пять километров-то... Власти нужен сельсовет – пусть помогает...

– Резон есть в твоих словах, Антон Степанович, – криво усмехнулся Попков. – С сельсоветом мы потом думать будем, а сейчас надо людей подымать и идти туда... Вот, Филипп вам укажет то место, где лес валить... Только делать это надо без шума лишнего да язык за зубами держать, а то и этот лес отнимут в пользу государства. Куда лес складировать, Филипп знает... Да, Филя, возьми лошадь, но только не уморите ее, а то срок всем намотают за порчу государственного имущества, и вам, и мне... Через полчаса чтобы никого не было в поселке: дети до шестнадцати лет, старики, больные могут не выходить. Вы, Хвостов, Селезнев и Тыргашев, тоже можете не ходить, ежели нездоровы... А вы, Алена Ивановна, задержитесь на минутку...

– Мы, однако, с народом пойдем, – за всех старейшин-десятников высказался Хвостов, –

надо, чтоб порядок там был... А вот Алену Ивановну бы надо побережь, гражданин комендант...

– Ладно, ладно, сами разберемся... – как-то неуверенно отозвался Попков.

Неторопливо покидали теплую комнату мужики, ныряя в ноябрьское ненастье, а Алена, уже вставшая со стула, задержалась у двери. Когда вышел последний десятник, комендант оглянулся к себе за спину и прикрикнул на Зубастика, который не хотел оставлять теплую печку:

– А ты что прилип к ней, не слышал команды? Подбрось дров и геть отселева!..

Через минуту в кабинете коменданта остались двое – Семен Попков и Алена Кузнецова. Похоже, мужчина был несколько смущен и торопливо раскуривал папироску, а затем, спохватившись, предложил Алене:

– Не курите, Алена Ивановна?

– Нет, гражданин комендант. Муж всю жизнь курил, а я как-то не сподобилась – не женское это занятие...

– Это вы точно подметили, Алена Ивановна, да только здесь многие женщины начинают курить, пить... блудить...

– Мне это тоже не грозит, гражданин комендант – родители правильные были, и меня воспитали такой... – голос Алены звучал жестко, но где-то на окраине ее сознания всплыло лицо Федора, и легкая краска упала на осунувшиеся щеки женщины.

– Нет-нет, что вы, я не о вас... вы... не волнуйтесь... И что вы все заладили – «гражданин комендант»?.. Зовите меня просто Семен Семенович... Если уж начальство или прилюдно, то можно и комендантом назвать – порядок такой!

– Хорошо, Семен Семенович, я учту на будущее...

Алена Кузнецова как женщина умная, к тому же одолевшая большую часть своей нелегкой жизни, давно заметила, насколько сильно тушует этот строгий комендант в ее присутствии. Она понимала, что нравится ему, но положение обязывало его скрывать от нее свои симпатии, хотя получалось у него это плохо: и как бы то ни было, но человек остается человеком, а потому рано или поздно, но где-то прорвется какое-то чувство, какой-то интерес, выдавая с головой влюбленного.

– Семен Семенович, вы уже выяснили, что я не курю... Я могу идти, а то через пятнадцать минут я со своими работниками не успею к месту сбора...

– Я хотел сказать вам, Алена Ивановна, что вам... что вы тоже можете не ходить на лесоповал...

– Я не больна, Семен Семенович... Или вы считаете, что я так стара, что меня можно освободить от труда? – она сказала это с веселой ноткой в голосе, чем повергла коменданта в смущение.

– Нет, что вы... Я не про возраст... Я вообще не хочу, чтобы вы морозились и рвали пуп на этой работе!..

– Я же трудпоселенка, Семен Семенович, как же я могу пренебречь той карой, которую мне назначили?

– Если вы откажетесь выполнять эту повинность – вас накажут, но если я отменю вам эту работу, вам ничего не будет...

– Но может так случиться, что пострадаете вы?

– Не знаю... может быть... Но это единственное, что я могу сделать для той женщины, которую... которая... Алена Ивановна, я, наверное, глупо выгляжу в ваших глазах, но... я не знаю, как вам помочь, как вас спасти... Если с вами что-то случится, я, скорее всего, этого не переживу... Простите меня... Черт возьми!.. – он, возбужденный, вскочил со своего кресла и живо заходил по комнате. – Я никогда не был женат, у меня нет детей! Только служба да война... И вдруг встретил ту, которая все мои пятьдесят лет жила в моей башке, и... я ничего не могу ей предложить, не знаю, как ей понравиться... Глупо слышать вам это, не так ли?..

– Нет, Семен Семенович, я вас понимаю и по-человечески вам сочувствую... Я очень вам благодарна... Ведь при детях вы меня оставили по той же причине?

– Да, Алена Ивановна! Вы только не смейтесь надо мной и... не торопитесь сказать «нет»... Ведь я же еще ничего вам не предлагал, чтобы вы меня прогнали прочь?

– Семен Семенович, похоже, вы перепутали: не вы у меня наказание отбываете, а я у вас... Это вы меня могли бы прогнать отсюда. Спасибо, что не сделали этого. И все же хорошо, что вы... такой вот, а не другой...

ГЛАВА 4

Сибирская зима, как повелось исстари, не стала удивлять людей, и на Рождество морозы достигли до сорока пяти – пятидесяти градусов. Как и ожидал комендант, первыми жертвами холода и голода стали старики и малолетние дети:

десятка полтора их схоронили в заранее заготовленные с осени ямы, завалили лесом-тонкомером да засыпали снегом, чтобы зверье не глумилось над телами умерших, а уж весной намеревались оборудовать могилки как подобает. Круглые сутки горели в шалашах и землянках костры, не столько согревая их обитателей, сколько отравляя дымом и копотью. В один из темных зимних вечеров после возвращения бригад с делянки к Алене Ивановне подошел молодой паренек лет двадцати, одетый в выдавшие виды телогрейку и серые валенки, явно не подходившие ему по размеру. Дуя на пальцы сквозь дырки в рукавицах, он сказал, как милостыню попросил:

– Алена Ивановна, я – Леша Ковальков... Я осмотрел некоторых детишек и стариков – зашивели сильно... Бани нет, мыться негде, как бы эпидемия тифа не началась...

– Алеша, а почему ты ко мне подошел, а не к коменданту?

– Мне батя сказал к вам подойти, потому как Семен Семеныч может не послушать меня...

– А меня, думаешь, послушает? – усмехнулась женщина. – Ну, хитрец Лукьян Иванович. Что ж, пойдем к коменданту вместе...

Выслушав внимательно фельдшера-поселенца, Попков, как и всегда, попытался отшутиться:

– Что же, прикажете мне им вошек вычесывать? Пусть сами спасаются, ежели не хотят, чтобы вши их загрызли!

– Семен Семенович, – осторожно заговорила Алена Ивановна, – мы тут подумали с народом... Помещения у нас нет под баню, не успели построить...

– Эх, Алена Ивановна, теперь ни детпрют не построим, ни лазарет... Опять у нас лес отберут!

– Не о том я сейчас... Уже больше десяти человек померло... Может быть, как-то перераспределить жильцов в шалашах да землянках, освободить одну землянку для бани, досок накидать на пол, утеплить еще, дров побольше заготовить да поближе к ней привезти?

Слушая Алену Ивановну, комендант как-то страдальчески морщился, а глазами, казалось, обнимал ее стройное тело, которое не могла испортить даже ветхая телогрейка и шерстяная шаль, повязанная на ее голове по-старушечьи, «шалашиком».

– Хорошо, Алена Ивановна, посмотрите, кого можно переместить и куда, какая землянка боль-

ше подойдет для бани. Когда все будет готово, получите керосина на складе... Говорят, им хорошо вшей выводить. Других-то лекарств все равно нет. Вот еще, попробую дуст достать в лагере у Морозова. Им там все углы засыпают. А может, вы травы какие-то знаете?

– Знаем, гражданин комендант, – откликнулся Ковальков, – чемерица белая... Трава такая, точнее корни ее... Отвар мытника болотного и швицицы болотной... Плаун-баранец...

– ...У нас в селе бабы сок чеснока использовали, багульник-траву... – продолжила перечень Алена Ивановна.

– Э-э, да что говорить?! Где вы их сейчас найдете, из-под снега копать будете? А чеснок-то лучше есть, чтобы цинги не было... В общем, дуст, керосин и баня!

Когда довольный Ковальков ушел, Попков, так же осторожно, как совсем недавно обратилась к нему Кузнецова, сказал:

– Алена Ивановна, а вы и ваше семейство можете один раз в неделю топить мою баню и... мыться... Кстати, там много березовых веников заготовлено, мне все равно одному их не одолеть...

Алена Ивановна, отведя в сторону глаза, ответила негромко:

– Спасибо, Семен Семенович, за веники, а в баню к коменданту мне по чину не положено, да и вас потом могут строго наказать...

– Алена Ивановна, что я могу сделать для вас, чтобы...

– Семен Семенович, мы все ближе с вами, а пропасть все глубже. Я не хочу, чтобы вы пострадали из-за меня. Отступитесь от меня и... забудьте...

Баню оборудовали в одной из освобожденных землянок. Мужики настелили поверх лапника, разбросанного на полу, доски, а рядом отгрузили гору березовых дров. По приказу Попкова, туда же доставили с десятков березовых веников, ведро дуста и бидон керосина, а фельдшер Ковальков взял под свой контроль весь процесс лечения. Эпидемию удалось предотвратить...

Но вскоре пришла новая беда, откуда ее не ждали, и пришла она в шалаш номер три, в семью Кузнецовых...

Алена Ивановна, вместе с фельдшером обьявившая войну вшам, на какое-то время чуть ослабила контроль за детьми поселенцев, и пяте-

ро мальчишек под предводительством Егорки Кузнецова самовольно пошли к реке, чтобы в полынье посмотреть живых рыбок, и так случилось, что сам вожак свалился в студеную темную воду Васюгана. Растеряйся хоть на миг мальчишки, и забрала бы суровая сибирская река у Алены Ивановны внука, но вцепились они в моментально промокшую одежку своего друга и тянули наверх, до крика, до стога, пока не вытащили его на ледяную корку вокруг полыньи. Пока добежали до кузнецовского шалаша, одежда на Егорке заледенела и стала ломаться при каждом неосторожном движении. Побежали ребята искать Егоркину бабушку. Схватив в охапку внука, Алена Ивановна принесла его в банный шалаш, где еще оставалось тепло от утренней помывки очередной партии поселенцев. Что только ни делали они с фельдшером, чтобы спасти ребенка от простуды, но уже к вечеру у него подскочила температура, а утром он уже метался в горячечном бреде...

– Алена Ивановна, – со слезами на глазах причитал Леша Ковальков, сидя около больного в кузнецовском шалаше. – Жар убьет его... у него, наверное, температура за сорок, и что делать – не знаю... Аспирин нужен, пирамидон, еще лекарства...

Рядом сидела зареванная Марта и шептала молитвы на русском и немецком языках. Никита подсел к матери и, склонившись к ее уху, прошептал:

– А что, если к коменданту сходить?..

– Я пойду, сынок... я к самому товарищу Сталину пойду ради внука...

Не смог отказать комендант в просьбе Алене Ивановне, оседлал своего Бобрика и уже к обеду привез таблетки, мед, варенье малиновое и какие-то сушеные лечебные травы.

– Вот, Алена Ивановна, все, что было у лагерного фельдшера... Сейчас надо перенести ребенка сюда, ко мне, не то в шалаше вашем он погибнет.

– Добрый вы человек, Семен Семенович... И как-то вам под этой шинелью живется? Это ж сущая мука – видеть все эти страдания и... оставаться таким?

Вдвоем с комендантом принесли они бредившего в жару мальчика в комендатуру. Все взрослое население было на делянке, и потому надеяться было не на кого. Алена хотела положить Егорку на старый затертый диван, что стоял в углу жилой комнаты коменданта, смежной с

его кабинетом и отгородившейся от него печкой-голландкой и дверью, сделанной из нестроганных досок, на манер входной. Но Попков бурно возразил:

– Кладите на кровать... Ребенок все же, а мне и дивана хватит... Может, вам или Марте на первых порах придется ночевать при нем, а кровать широкая – всех примет.

– Ой, Семен Семенович, как и благодарить-то вас за такую доброту, да не случится так, что вам за это попадет?

– А какого хрена мне бояться – сниму шинель да пойду на пилораму... Поселюсь где-нибудь в избушке около лагеря, где вольняшки живут, женюсь... Пойдешь, Алена Ивановна, замуж за старого солдата войск НКВД?

– Ох, Семен Семенович, бедовый ты мужик, как я посмотрю, ни Бога не боишься, ни начальства...

– А что, ты в своей жизни не видала бедовых-то мужиков, а?

– Ну как не видала, были и такие... Муж мой, Гордей, царствие ему небесное, чего стоил!.. Один с топором пошел на комиссию, когда раскулачивать пришли...

– И что, убили?..

– Нет, сам умер... разрыв сердца, царствие ему небесное, – она осенила себя крестным знаменем, – как раз у калитки своей и умер, а нас, значит, сюда отправили, к тебе...

Пока они вели такой разговор, Алена Ивановна убрала с кровати хозяйское постельное белье и бросила на нее свою потемневшую от времени и частой стирки в мутной воде простыню. Хотела снять наволочку, но Попков остановил:

– Не трудись, Алена Ивановна, я только утром сегодня все белье поменял, не спал еще... Простыни-то брось на диван – там я буду теперь ночевать, а наволочки-то у тебя своей, как я вижу, нет... Пусть мальчонка на ней спит, а я себе старую надену, мне сойдет...

– Господи, да что же ты со мной делаешь-то, Семен Семенович? – страдальчески хмурясь, произнесла Кузнецова.

– А что я?! – Попков растерянно смотрел на нее. – Ежели что-то не так сказал или сделал – ты уж прости, Алена Ивановна...

– Мне ведь тебя, Семен Семенович, все тяжелее будет от себя оттолкнуть... – она укрыла Егорку небольшим одеяльцем, сшитым ею из цветных лоскутков еще в родном селе в первые мирные дни после изгнания Колчака.

– Так ты и не отталкивай, а, Алена Ивановна?.. – Попков подсел рядом к ней на кровать и чуть приобнял, – ...потому как я еще сгожусь тебе... времена-то вон какие...

Алена резко сбросила его руку со своего плеча и встала:

– А вот это ты зря, Семен Семенович, не курицу на базаре покупаешь, не девку гулящую... Я ведь понимаю, чего ты хочешь, да только, по моему разумению, это должно через душу пройти, через сердце, а ты – «сгожусь...» – эх ты, гражданин комендант!.. Ладно, Семен Семенович, поговорили... Чтобы не смущать тебя более, посади ты лучше с ребенком его мать, Марту, а я вместо нее на делянку пойду сучки рубить. Всем лучше будет: и меня бес искушать не будет, и тебя начальство не тронет.

Теперь и Попков вскочил на ноги и нервно заходил по тесной комнате, на ходу пытаясь раскурить папироску, но, спохватившись, спросил свою гостью:

– Разрешешь, Алена Ивановна, закурить? Так, кажется, мужики должны у дам спрашивать?

– Чудак ты, Семен Семенович, хозяин, а спрашиваешь... И где же ты даму здесь увидел? Спецпоселенка я, Кузнецова, бывшая кулачка... Чего уж церемониться-то?

– Ну ладно, что ты, Алена Ивановна? Тебя-то я освободил от порубки... по старости... – заметив, как женщина резко вскинула голову, он быстро поправился, – в смысле, по возрасту... а вот Марту вряд ли удастся от работы освободить – начальство не поймет...

– Да, а вот к начальству-то своему поостерегись ходить с такими вопросами, а то, не дай бог, оно припишет тебе мягкотелость и жалость к врагам народа, а это может тебе всю жизнь испортить.

– Вот его-то, начальство свое, я не очень боюсь, устал бояться за четверть века, что служу... Тебя я боюсь, Алена Ивановна!..

– Меня? – искренне удивилась женщина, – меня-то с какой радости?..

– ...А что пошлешь ты меня куда подальше со всеми моими переживаниями, а что мне потом делать-то?..

– Чудной ты, право, Семен Семенович... – она подошла к нему.

Коренастый, с густыми серыми усами и мелкой сетью морщинок вокруг глаз, Попков был ниже Алены Ивановны, что позволяло ей смотреть на него сверху вниз. Похоже, это обстоятельство сильно смущало его, но он мужествен-

но пытался выдержать твердый взгляд ее черных глаз.

– Не пошлю я тебя... теперь уж точно не пошлю... Почти два года я вдовствую... Думала, жизнь моя бабья закончилась, а, оказывается, нет... Хочется еще человеческого тепла... Дай нам только одолеть болезнь Егоркину...

Слушал Попков слова любимой женщины, а на лице его, словно сполохи на предгрозовом небе, отражались проблески бывшего страха, настоящей радости и какого-то сомнения, а руки его судорожно сжимали ее обветренные, огрубевшие от морозов и черной работы ладони.

– Жар у мальчонки? Алена Ивановна, я слышал, надо водкой тело натереть... она жар снимает...

– Я уже дала ему аспирина две таблетки... Да и где же водку-то взять?..

– Глупые вопросы задаешь, Алена Ивановна, я кто здесь: комендант или хрен собачий?.. – но тут же спохватился, стусевался. – Прости, Алена Ивановна, это я от волнения башку потерял...

Он метнулся к шкафу, который занимал еще один угол его спальни, и вернулся с початой бутылкой водки, заткнутой пробкой из газеты. Взболтнув ее, спросил:

– Хватит?..

– Хватит. Тут хватит и Егорку натереть, и выпить останется...

Мальчик с тяжелым хрипом дышал и сквозь полукрытые веки смотрел на стоявших рядом с ним людей, изредка выдыхая:

– Баба... бабушка...

– Сейчас, Егорушка, сейчас, мой родненький... – она откинула одеяльце и быстро раздела внука, лежавшего на спине, явив худенькое, костистое тельце, раз за разом сотрясаемое сильным кашлем.

– Здесь не холодно?.. – Попков выбежал в соседнюю комнату, откуда послышался лязг дверцы печки и кочерги, но уже через минуту он был у кровати больного.

– Семен Семенович, ты слей мне на руки водки, а я буду его растирать... Так быстрее у нас дело пойдет...

Алена сильными короткими движениями втирала в кожу целительную влагу, одновременно разминая истощенное и пылавшее жаром тельце внука. Глаза ребенка открылись шире и смотрели теперь осмысленно, а сам он пытался улыбнуться, но зубы его стучали мелкой дрожью.

– Бабуля, бабушка... мне холодно... я замерз....

– Сейчас, мой родненький, я тебя согрею... потерпи, сынок... – Алена Ивановна с еще большей энергией принялась мять тело больного, и даже Попков, стоявший рядом, тоже принялся осторожно потирать ноги ребенка, приговаривая вполголоса:

– Да разве мы дадим тебе замерзнуть... Терпи, казак, атаманом будешь...

Видимо, действия взрослых при натирании тела ребенка были настолько интенсивны, что мужская плоть его, еще по-детски маленькая, доселе пребывавшая в покое, вдруг вздыбилась, поднялась, увеличившись в размерах, словно дразня кого-то, а потом также мирно вернулась в свое прежнее состояние.

– Ой ты, господи!.. – вскрикнула Алена Ивановна, непроизвольно схватила руку мужчины и сильно жала ее.

– Вот ведь дела какие! – изумленно произнес комендант. – Что старый, что малый, а все в бой просится, и спасу от этого нет!.. Ну, все будет в порядке, скоро поправится твой внук... Это он так проголосовал за свою жизнь, Алена... – он хотел добавить ее отчество, но в последний момент промолчал, и от того его слова прозвучали так, словно сказал он их родному и близкому человеку.

– Да, это у них бывает иногда... у детей... – смущенно проговорила Алена и принялась укутывать внука одеялом, а сверху накинула тулуп, который ей подал мужчина, тоже пребывавший в изрядной доле смущения.

– Ага... Если б только у детей!.. Вот чертенок, маленький, больной, слабенький, а в конфуз ввел взрослых людей!.. Ему-то проще – накинула тулуп – он и успокоился, а тут как быть? Ага... и я не знаю...

– Семен Семенович, перестань... не торопи... – смущенно проговорила Алена. Они стояли боком к кровати и лицом друг к другу. Его руки все еще нервно сжимали ее ладони и были готовы продолжить атаку на тело любимой женщины.

– Семен, дай ребенка поднять... Я ведь тоже не железная...

* * *

Жар спал к вечеру второго дня. Все это время Алена находилась рядом с внуком, успевая присматривать за другими детьми. Немного отдохнув от работы, на ночь к сыну приходила

Марта. Она сидела рядом с кроватью, на которой лежал мальчик, на перевернутой набок табуретке, подстелив под себя свою телогрейку. В доме было тепло. Допоздна Попков сидел в своем кабинете, а когда собрался ложиться спать на диван, то обнаружил, что женщина, как есть, сидя на табуретке, уткнулась носом в матрац и тихо посапывала в унисон с сыном. Среди ночи он проснулся от глухого стука, а когда чиркнул зажигалкой, то обнаружил, что женщина во сне соскользнула со своего сидения и упала на пол. Тихонько, стараясь никого не разбудить, Марта поднялась на ноги, боясь даже потерять ушибленные места. Свет зажигалки коменданта выхватил из темноты ее испуганное личико с тонкими красивыми чертами и белесыми волосами.

– Что, авария, фрау Марта? – со смешком, едва сдерживая зевоту, спросил Попков.

– Найн... ой, нет, нет, гражданин комендант... нечаянно упала... я не буду шуметь...

– Ну, вот что, красавица, тебе завтра еще лес валить, а значит спать надо... Ложись-ка на диван, а я пойду в баню... Там тепло, а на лавке в предбаннике даже двоим места хватит, да и тулупчик у меня там...

– Нет-нет!.. Простите меня, я больше не буду падать...

– Ну, это еще бабушка надвое сказала. Когда спишь, голова-то не работает...

– Какая бабушка? Алена Ивановна? Кому она говорила?.. – испуганная и спросонья, Марта плохо понимала мужчину и говорила с заметным акцентом.

– Эх ты, немчура... угораздило тебя попасть к черту на кулички!.. – с сочувствием в голосе проговорил Попков. – Завтра все объяснишь, красавица, а пока поправь постель сына да ложись на диван, а я пойду в баню... Утром разбужу в шесть часов!..

Какое-то время она смотрела вслед ушедшему мужчине, и самые противоречивые чувства одолевали ее, но сильнее всех оказался сон, и уже через несколько минут она крепко спала на диване. Вторую ночь она также провела около сына...

Невелик поселок, и людей негусто, и потому уже на второй день все знали, где ночует больной внучек Алены Ивановны, «комендантши», как ее прозвали меж собой посельщики. Кто-то с юмором называл ее так, а кто-то с плохо скрываемой завистью и злобой, пришепетывая себе под нос: «Устроилась, зараза...». Но открыто ни-

кто не смел бросить в ее адрес какое бы то ни было обвинение. Одни боялись гнева коменданта (о его душевных делах тоже уже многие догадывались), других останавливал тот несомненный авторитет, который Кузнецова завоевала за то время, что партия поселенцев скиталась по разным стойбищам Нарымского округа за неполных два года ссылки.

Дошли эти слухи и до Морозова. Стоило только Попкову в очередной раз приехать в лагерь и появиться в кабинете начальника, как тот не удержался от едкой шутки в адрес коллеги:

– Что, Семен Семенович, кажись, женился ты или просто под юбку к бабе забрался?.. Колись до пупа и даже дальше, все равно у нас ничего не спрячешь: в лесу живем!

– Дезу тебе запустили твои разведчики: никакой жены, никакой бабы...

– Так уж и никакой?..

– Ни-ка-кой! – по слогам, делая ударение на каждом из них, произнес Попков. – Мне уже полста лет, полгроба из ж...пы торчит, а ты – жениться. Нет, Степан Егорович, у меня только служба на уме, только она...

– Ну ты здорово врать научился: даже не замялся и не покраснел?..

– Да ну тебя, ей-богу... Болтают тут разное, а ты и поверил!..

– Но мальчонку-то прижил у себя в спаленке? И бабенки рядышком спят... то ли с ребенком, то ли с тобой, а? Не темни!.. Дело-то житейское!.. Что товару пропадать зазря?! Пять-десять лет бабе дали, а мужика-то нет! А они ведь тоже живые люди, им тоже хотца, чтобы кто-то потревожил их сокровенное место, так что теряться-то, а?.. Присмотрел, какую получше, к фельдшеру сводил на осмотр, чтобы заразу какую не подхватить, пристроил у себя в комендатуре, штабе, на складе и мало ли где еще и шоркай ее со всей пролетарской ненавистью... или любовью...

– Ну и фантазер ты, Степан Егорович, кто тебе эти сказки рассказывает, не пойму?

– И не поймешь, потому как ты там один, у тебя нет оперов, как у меня, нет «клух» и стукачей...

– У меня кроме Зубастика никого нет, он да еще жеребец Бобрик...

– С Бобриком я не якшаюсь, но мне и Зубастика хватает...

– Вот сучонок!.. Удавлю гада!..

– Но-но, комендант, не порти мне служебное имущество... то бишь кадры мои. Они, конечно, гнилые, но мои... То, что он мне все докладыва-

ет – не беда... Мы с тобой как-никак разберемся, а вот если другой появится да начнет стучать наверх в обход меня – хуже будет и тебе, и мне... В общем, про Зубастика забудь и не вздумай обнаружиться перед ним. Когда надо, я его сам уберу... Пока дела у тебя неплохо идут: смертность средняя, побегов нет, туфты вроде нет... Служи дальше так же, а бабенку-то надо прижать... Этот этап уже около двух лет чалится у нас? Представляешь, сколько соку в ней скопилось?..

Слушая бесстыдные комментарии Морозова в отношении той, которая снилась ему в последнее время каждую ночь, Семен Семенович испытывал досаду и обиду за то, что не может так вот напрямую одернуть старшего по должности и званию, и потому приходилось терпеть.

– Ты же, Семен, вроде на Соловках был, Беломорканал рыл? Неужто там не научился, как баб телешить одним взглядом? Там же, говорят, и генеральша, и артистка, самая что ни на есть красивая и известная, за пайку да за чистое белье любое твое желание в любой позе исполнит, так-нет?

– Наверное, коли говорят... Только в Соловках-то не до этого было: холода, условия скотские, дисциплинка – не дай бог!..

– Ну, а на Беломорканале?..

– Там чуть мягче было... Кино показывали, артистов да писателей привозили... Самодеятельность была... Попоют, попляшут – им, артистам-то, все больше бабам – стол со жратвой да выпивкой, ну а потом, как водится, в барак свободный, где нары деревянные в ряд... Чудно поначалу-то было: свое дело делаешь, а сам по сторонам поглядываешь – как там у соседа дела идут, не нужна ли ему помощь?..

– И что, помогали?

– Всяко было!.. Если красотуля какая, то за ней целая очередь выстраивалась... А куда ей деваться, если слева – карцер, а справа – пять-семь лет сроку... Так и выживали...

– Ну, а ты-то свою когда начнешь ... «лечить»?...

– Степан Егорович, даже если я и буду ее «лечить», как ты говоришь, я тебе об этом не скажу... извини!..

– Ты, может, еще и женишься на ней?

– Как знать... может, и женюсь...

– Семен, смотри: партбилет положишь на стол, погоны снимут, пенсию потеряешь, а то и вовсе ко мне в лагерь попадешь... Смотри, дружок, не промахнись!

...В глубоком раздумье пребывал Попков, возвращаясь на своем Бобрике в Шишкино: было, о чем подумать, было, что взвесить, но Марту освободить из-за болезни ребенка Морозов не разрешил, и потому после каждой тревожной ночи, проведенной у кровати больного сына, Марте приходилось уходить каждое утро с колонной поселенцев в черную нарымскую мглу. Впрочем, на пятый день мальчик уже мог вставать с кровати и ходить по избе, но его продолжал мучить страшный кашель. Фельдшер Ковальков подсказал, что надо мальчонку хорошо пропарить в бане, напоить горячим молоком с медом и малиной, а потом натереть грудь и спину барсучьим салом. Сало и молоко в поселок привез опять же комендант Попков...

С его же разрешения в один из вечеров Алена Ивановна натопила баню и, дождавшись с работы Марту, принялась вместе с ней мыть и парить Егорку. Вскоре их рубахи насквозь пропитались потом и водой, и потому женщины решили их снять. Оставшись нагишом, они три раза принимались парить сухенькое тело мальчонки, затем выносили в предбанник, где давали ему отойти от жары, поили молоком с медом и снова шли в парилку... Наскоро окунувшись, Марта не без труда надела на влажное тело рубаху, телогрейку, подхватила и понесла сына в ставшую им уже родной спальню коменданта. Тот сидел за столом, просматривая сводки рабочего дня, изучал поступившие депеши и похотливым взглядом проводил фигурку Марты. При ходьбе рубашка у женщины высоко задралась, предательски открывая красивые ноги взору одинокого мужчины, давно истосковавшегося по женской ласке. Отодвинув документы в сторону, Попков воровато оглянулся и прошел в спальню вслед за женщиной. Скинув телогрейку на пол, Марта положила ребенка на кровать и, наскоро обтерев, склонилась над ним, укутывая потеплее. Егорка, осовевшей от неимоверной жары и бесконечного купания, плохо понимал происходящее и только негромко постанывал.

– Ну как, фрау Марта, добились болячку сына?

– Ой! – спохватилась женщина, пытаясь спустить пониже прилипшую к телу рубаху.

– Да не дрожи, не бойсь... – левой рукой он по-хозяйски приподнял подол ее рубашки до уровня груди, горящими глазами изучил все ее обнаженное тело, слегка ущипнул по-бабьи отвисшую грудь, крепко потискал ягодицу, затем рыкнув по-волчьи, отошел к двери. Женщина так

и продолжала стоять в немом оцепенении, не зная, как вести себя в такой ситуации. Спыхватившись, Попков откашлялся, закурил папироску и уже на выходе из спальни сказал чуть осипшим голосом, стоя в полуоборота к женщине:

– Ты, это... фрау, ни об чем не думай и не бойсь... Я как комендант должен знать все и каждого, кто у меня в поселке... Не бойсь, я тебя не трону и другим не дам, окромя мужа, конечно...

С тем и вышел, но уже через мгновение в дверях снова появилась его голова в серой волчьей шапке:

– А Алена Ивановна где?

– Да там она... в бане моется...

– Ну и лады!.. Ты закрывайся, значит, на крючок и никого не впускай, кроме меня, конечно, и сама нос на улицу не высовывай... Алену Ивановну я провожу до дома, не волнуйся...

Никуда он не проводил Алену в этот вечер: по-хозяйски рванул дверь в предбанник, запер ее изнутри, в одно мгновение скинул с себя тяжелую зимнюю одежду и, одуревший от обуреваемых им чувств, нагой шагнул в баню, где ждала его желанная... Горячо и страстно начался у Алены Ивановны новый этап ее жизни...

32 Не заметили только в зимней ночи ни комендант, ни женщины, как у плохо зашторенных окон дома и бани крутился худощавый, небольшого росточка человек. Довольный увиденным за окнами, он щерился в беззубой улыбке: ему нужно было отрабатывать свой хлеб – таково было требование окаянного времени...

...Лес, заготовленный спецпоселенцами Шишкино, к месту его складирования на берегу Васюгана доставляли несколько бригад возчиков на лошадях: зимой две лошадки впрягались в широкие сани с низкими бортами, а летом – в телеги о двух колесах, на которых крепились поперечные бруски с металлическими штырями. На эти бруски клали комлем вперед три-пять бревен, предварительно избавленные от сучков, веток и лишней коры, которые крепились веревками или проволокой к штырям, после чего возчики из числа «лагерных контриков» – как правило, их было двое – доставляли груз на берег реки, где его принимала другая бригада, состоявшая обычно из уголовников. Они не утруждали себя тяжелой работой и заставляли

возчиков освобождать стволы от крепления, подкатывать или подносить бревна ближе к берегу, где уже они штабелевали их таким образом, чтобы весной или летом, в период многоводия реки, выбив одним ударом крепление, можно было опрокинуть эти бревна к самой воде и уже там собирать из них плоты, а то и просто отправлять «диким» сплавом вниз по течению реки до Кургасока. Первые годы после начала коллективизации лошадей не хватало, поэтому лес с делянки на берег реки доставляли волоком раскулаченные спецпоселенцы, впрягаясь по пять-десять человек в каждое бревно. Работа тяжелая, часто сопровождалась травмами, и потому ее поручали репрессированным по политическим мотивам – кулакам и прочей контре. Штабелевание же леса на берегу реки считалось занятием менее трудоемким и травмоопасным, и потому здесь, как правило, находили себе место уголовники – «социально-близкий» власти контингент.

...Рабочий день близился к концу, хотя апрельское солнце светило еще ярко, намереваясь людям подарить еще пару часов света и тепла, а спецпоселенцам – два полных часа ударной работы. Шишкинцы, среди которых был и Яков Яковлев, только что закончили погрузку бревен и теперь ожидали, когда возчики примут их работу и отправятся с грузом на берег реки, к месту складирования леса для будущего сплава. Возчики, мужички небольшого росточка в возрасте пятидесяти-шестидесяти лет, проверили, насколько крепко привязаны бревна к бруску (просмотришь, и если они развяжутся, то в дороге придется уже самим устранять все неполадки). Один из них, Максимыч, сухенький, с большим горбатым носом на ссохшемся морщинистом лице, закончив осмотр, присел на лесину и стал крутить самокрутку, другой же, не поверив в крепость веревочного узла, влез на лесину и попытался потуже затянуть веревку, но одна из лошадей, словно устав от долгого бесцельного стояния, вдруг дернулась вперед. Не удержавшись на ногах, возчик упал с бревен, неловко подвернув ногу, и заголосил благим матом. Максимыч, а вслед за ним и лесорубы-спецпоселенцы бросились к раненому. Беглого взгляда было достаточно: открытый перелом голени. Возчик громко стонал, умудряясь между стенаниями приговаривать:

– Братцы, не бросайте!.. Братцы... врача!..

– Да, парень, похоже, ты отпрыгался... – озабоченно произнес старший в бригаде трудпоселенцев Митрофан Салов, вечно угрюмый мужик с ярко-рыжей шевелюрой. – В лазарет тебе надо, но сам не дойдешь...

В это самое время около них остановилась еще одна повозка, и возчик закричал с облучка:

– Что за шум, а драки нет? – оставив вожжи, он подошел к лежащему, за ним подошел его напарник. – Вот оно что... Ладно, терпи, Михалыч, щас мы тебя свезем к фельдшеру... Залазь к нам на телегу... На брус садись и держись за штыри...

– Да, ребята, – удрученно проговорил Салов, – но если он еще раз упадет с вашей телеги, то и вторую лапу сломает... Тут бы простую телегу...

– Да где ж ее возьмешь-то? – выразил общее мнение Яковлев. – Во! Ты садись рядом с ним и поддерживай, – сказал он напарнику возницы, – можешь даже привязать его к бруску, чтобы не соскользнул...

– Мужики, а мне ехать надо... – подал голос Максимыч. – Последняя ходка. Не привезу – пайку урежут да и уголовнички будут куражиться...

33

– А ты вези... Вон возьми напарника со второй повозки – и вперед, а мы тут его сопроводим...

– Не-е, мужики, – сказал мужик со второй повозки, – у нас работа нонче кончилась, мы с Антипом на своей телеге, так и быть, отвезем Михалыча в лазарет, а уж Максимычу вы помогайте... Вон того мордатого посадите на бревна. Случись что в дороге, Максимыч один не справится...

Как ни пытался отговориться Яшка от сопровождения повозки с лесом – не удалось, никто не захотел ехать за пять километров в вечернее время. Это значило, что в поселок он вернется уже затемно, один и пешком.

– Ладно, Яш, ты у нас мужик еще молодой, здоровый... Только когда пойдешь назад, кол какой-нибудь возьми: от зверя лесного, от человека лихого... – так напутствовал его Митрофан Салов.

...На лесосклад Максимыч и Яков приехали, когда уже темнело. Максимыч торопливо побежал в сторону дощатой будки, около которой на лавке сидело трое рабочих. Уже на ходу он успел предупредить Якова:

– Ослобони бревна, да держись стороны, а то Колесо – мужик нервный – побить может...

– Чего? – взбрыкнулся Яшка, но Максимыч уже был около сидящих мужиков и что-то заискивающе объяснял самому рослому из них в брезентовой светлой куртке. Судя по тому, что куртка имела первозданную чистоту, ее хозяин, похоже, работой себя не утруждал.

– Ты что, сука старая! – накинулся верзила на старика. – Мы уже полчаса, как должны быть дома, а из-за тебя, козла, торчим здесь!..

Слов возницы не было слышно, зато голос мужика гремел по всему берегу, усиленный поднимавшимися стеной штабелями бревен. Яков быстро размотал проволоку и ослабил веревки, крепившие бревна, после чего свистнул, показывая рукой: готово. Вытирая со лба испарину, к нему подбежал Максимыч.

– Вот и ладно, Яша, а то Колесо злой, как черт... Давай-ка перекатим бревна поближе к штабелю, а там уж они сами...

– Я не понял, а чо это они сидят на лавочке? Мы привезли им лес за пять километров да еще разгружать будем?..

– Что ты, Яша, это же воры, им запахло работать, а это сам Колесо... В законе он!.. Он и прибить может!..

– Да ну?.. А как бы мне его поближе посмотреть... – сказал это Яков нарочито громко, чтобы мог слышать этот таинственный Колесо. Похоже, тот услышал его и медленной вальяжной походкой направился к Якову. К нижней губе его надежно прилипла самокрутка, на лице гуляла недобрая улыбка.

– Щас посмотришь, контра поганая, а потом один эти бревна скатаешь к штабелю, коли не послушал Максимыча...

– Ой, Яша, что же ты на грех-то полез?.. – запричитал старик.

– Да я вроде никуда не лез, я только спросил... – не то чтобы Яков испугался, но вступать в конфликт с уголовниками да в самом конце рабочего дня не входило в его планы. Однако он видел, как с лавки поднялись еще два мужика, видимо, помощники таинственного и грозного Колеса, и пошли вслед за своим вожаком. Яков стал торопливо оглядываться, ища какой-нибудь кол, как и советовал ему Салов. Нашел суковатую дубину, лежавшую в грязи, поднял и даже повеселел.

– Ну что ты радуешься, козел?! – грозно прикрикнул на него подошедший верзила. – Не успеешь ей махнуть, как копыта откинешь...

– Ой, как страшно-то!... – уже по инерции Яшка продолжал разговор, все более задирая

уголовника. – Что ты за хрен с бугра и почему не знаю?..

– Щас узнаешь!.. Я – Колесо... Я – вор в законе, а ты, падло кулацкое, вякаешь на меня!.. – верзила подошел к Якову вплотную, оттолкнув в сторону Максимыча, который еще надеялся загасить разгоравшийся конфликт. – Ты, батя, отпрыгни в сторону, а то и твоему старому шкилету достанется! Вишь, кулачье осмелело – проучить надобно...

– Колесов?! Сима? – удивленно воскликнул Яшка, узнав в уголовнике Серафима Колесова. – Когда ж ты успел стать вором в законе? Ты же еще пару лет назад у нас был председателем колхоза?.. Сима, да ты ведь даже в тюрьме-то не сидел!.. В армии служил, у нас жил...

Яшка говорил громко и, как ни странно, радостно, словно надеялся, что бывший председатель обрадуется их встрече и, может быть, даже обнимет бывшего односельчанина, но вместо этого Колесов зашипел на него, как сотня гадюк вместе взятых, схватил его за грудки. – Ты что базлаешь, сволочь?! – при этом он на миг обернулся к своим товарищам, чтобы убедиться, слышали они слова его новоявленного земляка или нет. Те были далеко и наверняка не могли разобрать слов Яшки, в то время как Максимыч от услышанного весь заглодел, а глаза его полезли из орбит.

– Молчи, Японец, или тебе хана придет!..

Яшка легко оторвал руки Колесова от себя, оттолкнул прочь и, уже обращаясь к Максимычу, проговорил:

– Бывает же такое? За сотни верст встретил земляка... бывшего нашего председателя колхоза, правда, жуликоватого... Он ведь сбежал из колхоза-то... деньги спер, печать...

– Яша, ты, наверное, ошибся... Он же законник... – Максимыч уже чуть не плакал от досады, – ты же за базар должен ответить или... он ответит, если братву обманул...

– Вот и пусть ответит!.. – легко согласился Яков. – Ответишь, Сима? Помнишь, как тебя били у нас в Урском... Расскажи своим друзьям – посмеемся... Вор в законе?! Фу-ты, ну-ты...

Коротким движением Колесов выхватил заточку из голенища кирзового сапога и по самую рукоять вогнал ее в живот своему бывшему земляку. Клинок вошел в тело чуть выше брючного ремня, снизу вверх. Яков захлебнулся последним словом, дрогнул всем телом и медленно завалился на бок. Глаза его еще видели своего

убийцу, рот открывался, но из него исходили только сдавленные хрипы.

– Серафим Иваныч... Помилуй!.. – взревел Максимыч, падая на колени перед убийцей, но тот хладнокровно поднял с земли оброненную Яшкой дубинку и ударил ею старика в висок. Коротко ойкнув, Максимыч упал замертво прямо на Якова, крест-накрест...

В это время подбежали помощники Колесова и испуганно забормотали:

– Что такое, Колесо, ты за что их замочил?..

Бывший председатель Колесов уже пришел в себя: уголовники не слышали слов Яшки Японца, старик мертв, а сам Яшка хоть еще и корчит-ся в предсмертной агонии, но сказать уже ничего не сможет... Любая промашка, и братва в лагере поставит его на правееж, а потом и на перо посадит за обман... Он знал, как строго чтут свои «понятия» воры...

– Не по чину горло драл этот амбал... Я ему сказал бревна тащить, что я вор в законе, а он меня на х... А этот старикан вступился за него: «начальнику лагеря все расскажу...»

– Ну че, тогда за дело ты их, все путем... Братва согласится с тобой...

– Братва-то согласится, да опера замордуют... Что бы такое придумать?.. – лукавил Колесов, еще до того, как он нанес смертельный удар Якову, он уже знал, что делать, но надо было повернуть так, чтобы это озвучил кто-то из его помощников: на сходянке это будет иметь большое значение...

– Не ссы, Колесо!.. – успокоил его Фома, высокий, бритый наголо мужик лет тридцати, с наглыми глазами и большими, покрытыми коростами губами. – Давай-ка ножичек старику в руку сунем... Да, ручку-то обтерем тряпкой, чтобы клешню твою смыть с ножа... А этому мордасто-му дубинку в руку вставим...

Он наклонился и вложил Якову дубинку в руку. Еще живой, он корчился, лежа на земле, и палка выпала из его рук.

– Ну да хрен с ним – пусть лежит рядом... сойдет, а мы подтвердим, как все было... Чтобы какие-то козлы на законника бочку катили?! Все путем, мужики, все путем...

Только на следующее утро охрана обнаружила на территории лесного склада на берегу Васюгана два трупа поселенцев да одиноко стоявшую в упряжке лошадь. Проверкой было установлено, что смерть обоим наступила в результате взаимной драки. Уголовное дело возбуждено не было

...Похоронили Якова Яковлева на поселковом кладбище за бугром. Яков Яковлев-младший, сын Яшки Чуваша или Японца, расписался в каком-то документе у Попкова, что ознакомлен с материалами о гибели отца, вопросов и просьб не имеет и согласен с его захоронением. Проводили в последний путь своего земляка только сын с невесткой, Алена Кузнецова, Никита с Мартой да малолетние внук Алены Ивановны и внучка погибшего. На фанерке, прибитой к столбу, вкопанному на могиле вместо креста, Яков-младший написал дегтем даты жизни отца: 1879–1937.

Всю ночь из угла шалаша номер три, где обитали Кузнецовы и Яковлевы, доносился сдавленный плач и невнятный шепот. День прошел в обычных трудах и заботах, а вечером Яков с Раей подошли к Алене Ивановне.

– Тетка Алена... уходим мы... Невмоготу оставаться здесь!.. Меня могилки родителей моих к себе тянут... – сдерживая всхлипы, похожие на стоны, проговорил Яков. – Если не уйду, тетка Алена, я руки на себя наложу...

– Бог с тобой, Яшенька! Грех ведь это! Душа твоя прямиком в ад пойдет...

– Алена Ивановна! Мы здесь в аду живем, а чем тот ад хуже этого? Не могу я больше так...

Алена Ивановна с горестью смотрела на своих земляков. Она знала их сызмальства. Они были молоды, но уже надломлены жизнью, и она, умудренная жизненным опытом и много повидавшая на своем веку, не знала, чем их утешить. Раиса стояла спиной к женщине, уткнувшись лицом в грудь мужа, такого же рослого и крупного, как его убитый отец, и плакала. Алена обняла их обоих и пыталась хоть как-то утешить. Подошли Никита с Мартой. Они уже знали о решении своих друзей по несчастью и подошли проститься.

– Ступайте от греха подальше, – твердо сказала Алена Ивановна, а за вашей дочкой я присмотрю, воспитаем, как свою...

– Тетка Алена, – едва сдерживая слезы, проговорил Яков, – а если придут другие времена... если назад вернетесь домой, а нас... нас не будет, то найдите мою сестру Аксинью... Она в Белово уехала с мужем, а фамилия ее теперь Золина. Она не откажется от племяшки...

– Яш, когда пойдете? – спросил Никита.

– Сегодня, как все затихнет. К утру уже далеко будем... Дорогу я проведаль заранее, провианту чуток скопил, да и лето разгорается: колба еще есть, пучки, ягода, авось, не помрем с голо-

ду... Мы ведь и так собирались уйти, батя добро дал, а видишь, как все получилось...

– Яша, в тайгу-то, вглубь, не забирайтесь – то верная смерть, заблудитесь, опять же – болота! – давала напутствие Алена Ивановна. – Идите обочь реки, покуда она в Обь волеется, а там вверх по ней до людских поселений... На край, останьтесь в стойбище остяков: год-другой проживете, переждете лихое время. Они хоть и темные, да люди отзывчивые – зла не сделают. Спаси вас Бог!.. – и она трижды перекрестила отчаянных беглецов.

– Яшка, как через болото пойдете, слуги наруби, палки, значит, и перед тем как ступить – тычь ею шибче ... Топор-то есть?

– Есть... Ухватил я тут один, а десятнику сказал, что утопил...

Десятки спецпоселенцев уходили через болота на большую землю, но большинство из них возвращались в лагерь, поплутав по тайге две-три недели, истощенные, с потухшими глазами, смирившиеся со своей горькой судьбой. Каждый третий не возвращался в лесную тюрьму. Еще в первый год после образования лагерей и трудовых поселений в Нарымском округе, особенно в бассейне Васюгана, вслед за беглецами уходили в погоню охранники, но потом от этого отказались. Статистика по делам о побегах говорила, что практически все беглецы, кто не вернулся в лагерь, нашли свою смерть в дебрях бескрайней сибирской тайги. Насколько верна была эта статистика, никто не знал, а тайга умеет хранить свои тайны...

ГЛАВА 5

Федор надеялся, что его приезд в село останется незамеченным. Не хотелось шумихи, лишних вопросов. Отпустив повозку у моста через Ур, он намеревался идти в родительский дом пешком, но в последний момент передумал и решил сначала заглянуть в харламовский магазин. Те полсотни шагов, что отделяли его от высокого крыльца купеческого особняка, он одолел медленно, устало, понурился, изредка бросая взгляды по сторонам и желая лишь одного – не встретить кого-то из знакомых.

Непросто складывалась его жизнь в последние годы. Стало сдавать здоровье, резко обострившаяся обстановка на Дальнем Востоке требовала постоянного напряжения по службе, а массовые аресты военных, буквально захлестнувшие страну, заставили Федора всерьез задуматься

о уходе со службы. Пройдя длительный курс лечения в Дальневосточном военном госпитале, он взял двухмесячный отпуск и приехал на родину, с тем чтобы определить свою дальнейшую судьбу. Как старший офицер по окончании службы и выходе в отставку он мог поселиться в любом городе Советского Союза, за исключением Москвы, Ленинграда и столиц республик. Многие из его товарищей-пенсионеров предпочитали осесть в теплых краях, у моря, его же тянуло в родные места. Но там были Гордей, Алена, его сын Никита... И прежде чем решить вопрос о месте дальнейшего проживания, ему, Федору, нужно было решить еще один и очень важный вопрос... Именно поэтому в эти теплые погожие дни бабьего лета 1937 года он объявился в Урском...

Всего минута понадобилась Федору, чтобы оказаться у крыльца харламовского особняка, но даже в эти короткие мгновения он успел поймать себя на мысли, что сейчас он готов встретить в бывшей купеческой лавке тех своих земляков, кого он не видел уже много лет и кого уже стал забывать. Больше того, ему показалось, что встретить он здесь и сейчас даже тех, кого и в живых нет, он бы не очень удивился: вальяжного купца Харламова, его окаянного сына Федьку, казненного его бойцами в далеком двадцать втором, взбалмошного деда Прошку... Уже остановившись перед крыльцом, он вскинул голову и увидел покосившуюся вывеску «Сельсовет» и понуро висевший красный флаг на коньке фасада. Видимо, столько было на лице Федора удивления, что сухонькая старушка, вынырнувшая откуда-то из-за угла дома, остановилась рядом, опираясь на батожок, и, не утерпев, спросила его:

– Здравствуйте, мил человек, ищите кого-то?! Не из наших, видно, будете?.. Не признаю я вас, никак военный?

– Да тутошний я, – в тон женщине ответил Федор, – давно вот только не был... Здесь же был магазин Харламова... лавка его...

– У-у-у, милок, вспомнил чего!.. Харламова-то давно уж нет, я уж его не захватила, а магазин-от его топерь скукожился совсем... Тамока он, за углом, где «бистро» его было...

– А Иван-то Кочергин здесь ли?

– А то где же ему быть, сердешному... Скока ни гляжу, а никак не признаю, чьих будешь?..

Никак не хотелось Федору открываться до-тошной старушке, потому как знал, что уже че-

рез полчаса в самом дальнем углу села и даже в Подкопной будут знать, кто приехал в Урское светлым осенним днем, а это не входило в его планы. Поэтому он решил отшутиться, чтобы не обидеть старую женщину:

– Да и я не признаю тебя, матушка, но я не в обиде... А если спросят про меня – скажи Ванька Ветров проездом был...

– Ага, значить, Иван Ветров?.. Нет, не помню такого... С приездом, Ваня!..

Перехватив небольшой дорожный чемоданчик в другую руку, Федор широко зашагал за угол сельсовета, туда, где, по словам старушки, теперь находился бывший купеческий магазин. Он неторопливо поднялся по скрипучим деревянным ступенькам под навес «бистро». Здесь было пусто и ничего не напоминало о тех веселых летних пирушках, которые порой закатывал сам купец или разгулявшиеся его земляки. В самом углу площадки «бистро» один дубовый стол придавил столешницей другой стол, при этом победно вскинув вверх три ножки вместо четырех. Тут же валялся сломанный стул. Кругом было грязно, сыро. Тишина и запустение...

Над дверью, обитой старой клеенкой, с заметным креном висела вывеска, упреждающая всех забредших сюда, что за дверью находится «Сельпо», а иначе говоря – сельский магазин потребкооперации... Толкнув дверь, Федор оказался в небольшой комнатке, переоборудованной под магазин. Федор, еще помнивший харламовскую лавку, а также повидавший на своем веку немало больших и богатых магазинов, был разочарован увиденным. Его взору открылся невысокий прилавок да полупустые полки: не было здесь ни шоколада, ни диковинных вин, исчезла куда-то и мануфактура. Новые времена на дворе, решил он для себя, советская власть уважает скромность и аскетизм!

Впрочем, скромный интерьер сельпо Федор охватил только мимолетным взглядом, зато прямо перед собой он увидел коренастую фигуру заметно располневшего Ивана Кочергина. Так же неторопливо и неулыбчив его извечный соперник в молодые годы, побелел весь – даже брови, и те заснежила седина, да сутулиться стал больше. Иван также сразу признал Федора и, казалось, опешил от неожиданности. Много лет уже не было в селе Федора Кузнецова, с тех самых далеких теперь двадцатых, когда он появился здесь на пару дней с бойцами ЧОНа, чтобы вызволить брата Гордея из ГПУ да изловить ненавистного Федьку Окаянно-

го, а потом снова исчез на годы. Но тогда им не удалось хорошо поговорить. Отзвуки Гражданской войны нет-нет да тревожили сибиряков, делая их жизнь беспокойной, опасной, разводя людей в разные стороны. Многие говорили о Федоре на селе: большим человеком стал, красным командиром, но одни уверяли, что он в Москве, а другие считали, что служит он на Дальнем Востоке. Гордей же ни с кем не делился вестями о своем брате по той простой причине, что и сам не знал, куда судьба его забросила, и потому только морщился, когда его одолевали вопросами. А то и вовсе страшный слух пролетел над селом в печальный для кузнецовской родни тридцать четвертый год: помер, мол, Федор Михайлович, а то непременно вступился бы за брата, и никакой Кутько не осмелился бы руку поднять на кузнецовский корень! Как бы то ни было, но появление Федора в селе стало для Ивана большой неожиданностью...

В длинной офицерской шинели, опоясанный широким кожаным ремнем, в командирской фуражке с красной звездой и в хромовых сапогах смотрелся Федор грозно. Но аскетичное лицо его, туго обтянутое сухой серой кожей, голубые, словно линялые, глаза да вислые пшеничного цвета усы выдавали в нем усталого и не совсем здорового человека.

37

Заметив реакцию Кочергина, Федор не стал торопиться с приветствием, а медленно прошел вдоль полупустых прилавков, оглядел двух незнакомых женщин, о чем-то оживленно разговаривавших с молоденькой продавщицей, но едва он повернулся к ним спиной, как все трое застыли в немом любопытстве.

– Ну, здравствуй, Иван! – Федор распахнул объятия для своего старого товарища.

Иван, коренастый, плотный, был ниже Федора. Отстранив в сторону протез с надетой на него черной перчаткой, левой рукой приобнял Федора за плечо и на мгновение припал к его груди.

– Федор Михалыч, живой!.. Здравствуй, здравствуй, дорогой!..

– Извини, Ваня, запомнил, как тебя по ба-тюшке величать... Лет пятнадцать мы с тобой не виделись... А ты все по торговой части?

– Да куда же мне в деревне со своей культурей? Лавкой вот заведу... Сельпом, по-настоящему...

– А постарел ты, Ваня, постарел!..

– Да ведь и ты, Федор Михалыч, не помолодел: голова-то ране рыжая была, а нынче сколько снегу в нее намело, а?

– Да, Вань... И никуда не денешься... А как деревня наша? Как вы тут советскую власть налаживаете?

Кочергин уже собрался ответить, но, заметив, как напряженно слушают их разговор бабы и продавщица, проговорил уже совсем тихо:

– Давно ты здесь не был, многого не знаешь... Рассказал бы я тебе, но не здесь... Времена сейчас странные, как не сказать страшные... Поговорить бы, да ты, я вижу, торопишься?

– Тороплюсь, Ваня, тороплюсь... Как тут мои-то поживают, Гордей, Алена, племяши? Давно что-то не пишу...

– Как, ты ничего не знаешь?! – голос Кочергина дрогнул, а сам он заметно побледнел.

– Ты о чем, Иван? – внезапно осипшим голосом спросил Федор.

– Нюра, останься у прилавка, а я отлучусь на недолгу...

...Страшные вещи пришлось услышать Федору от своего старого приятеля. Нервно ходили его желваки за впалыми щеками, изрядно заросшими рыжевато-седой щетиной, а на глаза наворачивались непрошенные слезы. Но это уж потом случилось, а поначалу оба они, Иван и Федор, не сговариваясь, какое-то время говорили о вещах сторонних, словно бы готовя себя к тяжелому разговору...

– ...Ну ладно, Иван, поговорили о том, о сем, молодость вспомнили, а что же ты мне хочешь сказать такого...

– Скажу, Федя, я тебе страшные вещи, но ты крепись...

Захолодел от этих слов Федор, а Иван молча вытащил из тумбы стола, за которым они сидели, початую бутылку водки, кусок копченой колбасы, луковичку и полковриги черного хлеба. Также молча под пристальным взглядом Федора он разлил водку в граненые стаканы, нарезал хлеба и колбасы и только после этого он встал с табуретки и произнес:

– Я все тебе расскажу, Федя, да только ты к брату не спеши, к нему теперь не надо спешить...

...Более часа продолжался их тяжелый и горестный разговор. Две бутылки из-под водки были пусты, но хлеб и колбаса остались почти нетронутыми: горечь от услышанного глушила горечь водки. Сильно захмелевшие, они теперь и слова подбирали с трудом, но именно этот хмель в какой-то мере смягчил Федору боль утраты. Он

то замолкал надолго, уставившись в одну точку, то вскакивал с места, утюжа шагами тесную комнату завмага, а то спрашивал невесть кого – себя ли, собеседника ли своего:

– Но как же так?! Как же так-то?! Неужто всех и за что?..

Понуро сидел перед ним Кочергин, словно вину свою признавал, но затем, спохватившись, заговорил:

– Не ведаю, Федор Михалыч, за что их, но сельсоветчики наши пояснили: кулаки они все – и Гордей, и Яшка Чуваш... Не место им среди добрых людей... Вот как! Большое горе у тебя, Федя, большое, но ты же солдат... – старался утешить друга Кочергин. – Была война, а тут сам знаешь, как бывает: кому повезло – тот спасся, а кому-то не повезло. На все Божья воля!..

– Зачем же, Ваня, на Бога вещать грехи наши? Сами себе понаделали гадостей, а теперь на Бога киваем? Нехорошо как-то, да и ты помнись должен, что говоришь с полковником... с коммунистом! Я же атеист, Ваня, а ты мне про Бога...

– Атеист? Это что же, безбожник, что ли?

– Ну да... Я должен в партию верить, в товарища Ленина, Сталина... Ч-черт! Мы же с тобой до котр-р-волюционных р-разговорчиков уже дошли... – Федор с трудом выговорил это длинное слово, после чего снова надолго замолчал. Иван с тревогой смотрел на гостя и что-то напряженно обдумывал.

– А кто в нашем доме живет? – наконец подал голос Федор.

– Начальство большое – председатель сельсовета... Скобцов Семен Тимофеевич...

– Кто таков? Откуда он?..

– Окстись, Федор! Тимохи Скопцова сын... крестник Гордеев... Сам Кутько надоумил Семку Скобцова занять ваш дом, тем и повязал его в своих грязных делах...

Федор совсем по-звериному зарычал, уронил голову на сжатые кулаки, положенные на стол и надолго затих...

В это время дверь каморки бесшумно приоткрылась, и продавщица Анна поманила Ивана на выход.

– Иван Иваныч, там Бобров пришел в магазин, секлетарь партийный, вас кличет к себе...

Оглянувшись на замершего в усталой позе Федора, Иван осторожно прикрыл дверь и спустился в торговый зал вслед за Анной, где Бобров его встретил упреками:

– Ну что же ты, Кочергин, распустил так своих работников? В магазине народу полно, товар, между прочим, социалистическая собственность, а за прилавком ни тебя, ни твоих продавцов? Вы так всю советскую власть разбазарите!..

– Да у нас сроду воровства в деревне не было, Фадей Иванович, – начал было Иван, но тут же был остановлен секретарем.

– ... Не было – так будет! Мало ли врагов кругом, а?

– Фадей Иванович, – пришла на помощь Кочергину Анна, – я почему ушла? Вы же сами меня попросили позвать Ивана Ивановича, а теперь ругаетесь на него...

– А ты и обрадовалась: хвост трубой да ветер в ушах! Непорядок, Нюра, беспорядок... – его большая лысая голова с осуждением покачивалась из стороны в сторону на толстой короткой шее, а ершик усов, каким-то непонятным образом уместившийся у него под самым шишковатым носом, сердито топорщился.

– Ну ладно, Нюра, иди к прилавку... На первый раз делаю замечание...

– Я тоже пойду... – неуверенно произнес Иван, считая, что разговор окончен, но главный колхозный коммунист придержал его за рукав.

– Э-э, нет, дружок, а к тебе у меня будет конфиденциальный разговор...

– Это как? – Иван непонимающе глядел на парторга.

– Это значит, что секретный и очень важный разговор...

Бобров прильнул к самому уху Ивана и горячо зашептал:

– Сегодня из району приедет сам товарищ Кутько... Знаешь ли такого?

Его собеседник только плечами пожал: знаю, мол.

– Так вот, надо бы сегодня в сельсовет водочки донести штук так пять-шесть, да на закусочку не поскупись... Селедочки там, сыру, сладостей каких ни есть, Богдан Иванович сладкое любит... – его жирное потное лицо растянулось в неестественной улыбке. – Ну, мы из дому чего-нибудь прихватим... картошечки, сальца, огурчиков...

– Опять, что ли?! А как же с оплатой, Фадей Иваныч, вы же сами говорите – социалистическая собственность!.. Меня же посодют?!..

– А вот это, дружок, меня не касается... Ты сам парень с головой, чай у Харламова вдоволь поживился-то, а?

– Да вы что, Фадей Иванович?.. – от возмущения Иван едва не задохнулся, но партийный секретарь погладил его грудь мягкой ладошкой.

– Ну ладно, Ваня, ладно... верю... Посодют-не посодют – еще неизвестно, а вот коли не уважишь?! О-о, дружок, да ты, я смотрю, пьян в матушку?! В рабочее-то время? Ай-ай, Иван Иваныч, не хорошо!.. Ну, ладно-ладно, так и быть, я никому не скажу про это, ну уж и ты будь добр все сделай, как нужно... а как списать... Ваня, не первый же раз? Что, мне тебя учить, что ли?.. Ты уж принеси, а там что-нибудь придумаем: спишем как-нибудь, но чтобы сегодня все было на месте часикам эдак к семи... Как темнеть начнет... В гостевой комнате сельсовета, на втором этаже... Надо бы баньку затопить, но... понимаю, понимаю... тебе с одной рукой трудно управиться... Найдем нужного человечка... А магазин-то без глазу не оставляй... ни-ни... Народ у нас гнилой – загремишь в тюрьгу, а тебе это надо? – он покровительственно хлопнул Ивана по плечу и поспешил на выход.

Любой приезд районного начальства был серьезным испытанием для сельского руководства, визит же младшего лейтенанта РО НКВД Кутько, казалось, вызывал головную боль даже у ночного сторожа...

...Как ушат холодной воды приводит в чувство разомлевшего на полке от банного зноя кулачка, так внезапный визит секретаря партачейки отрезвил Кочергина. Вернувшись назад, он с удивлением обнаружил, что и гость его тоже почти протрезвел, будто и не были выпиты две бутылки водки. Федор с отрешенным взглядом сидел, облокотившись на колени. Медленно, словно нехотя, поднял он глаза на вошедшего Кочергина. Не дожидаясь вопросов, Иван рассказал ему о причине отлучки и передал весь разговор с Бобровым. И снова заиграли желваки на аскетичном лице Федора, а голос дрожал от негодования...

– И что, Ваня, часто они такие вот гульбища здесь устраивают?

– Ну, часто-нечасто, но раз-то в месяц кто-нибудь да наведается из районного начальства, и попробуй им откажи!..

– А что, этот Кутько сейчас в больших чинах ходит?

– Да куда там – младшой лейтенант, кажись!.. Он ведь в форме-то здесь не бывает...

– И что же так стелются ваши отцы-командиры?

– Да он... вроде как отвечает за наше село и другие, что рядом...

– Ага... курирует, значит?

– Наверде того... Сначала по хлебозаготовкам тут промышлял, потом наладился было к нам в председатели колхоза, да прокатили мы его на собрании. Тогда он подался в ГПУ, вот он там теперь и ошивается. Важный стал, обиды все помнит, вот потому-то наши сельсоветчики и стелются перед ним... Да и самим гульнуть на дармовщинку охота... Колхоз-то у нас неважнецкий... Скотина как дохла, так идохнет, урожай маленький... Филю Гулькикова поставили председателем, вроде честный мужик, так его со всех сторон подпирают – житья не дают! А что он один сделает супротив этой оравы? Так мало – начинают попрекать его судимостью... Мол, тебе партия поверила, поэтому ты теперь всю жизнь на нее должен тянуться...

– Это что же тут у вас происходит, если даже председатель колхоза в тюрьме сидел?

– Старая эта история, многие ее уже забыли, но Семка Скобцов да Илья Гвоздев нет-нет да и напомним о ней Филиппу: убивец, мол, ты, не забывайся! Как наскочат на него с такими угрозами, так мужик потом сам не свой ходит, а они выют из него веревки... – Иван вынул из кармана штанов часы-луковицу, глянул на циферблат и щелкнул крышкой. – Ладно, Федя, до семи время еще есть, расскажу тебе, почему наш председатель в тюрьму попал, но только давай еще выпьем... – и он выставил на стол новую бутылку водки.

* * *

...Утомленный долгим и тяжелым разговором с Кочергиным и огромным количеством выпитого, Федор неверной походкой направился к дому Грини Павлова, где ему посоветовал переночевать Иван Кочергин. Давно он не был в родном селе, но все ему здесь было дорого: те же тополя вдоль берега стоят, скидывая с себя желтую листву. Только выше они стали теперь да беспокойнее... вишь, как шумят под напором прохладного ветра... Ночная тьма только начала подступать к селу, и потому Федор без труда углядел в вечерних сумерках и тополя, и мост через Ур. Казалось бы, тот же он, деревянный, да только просевший весь. На одну доску наступил, что чуть тоньше да послабее – она прогно-

лась до самой воды, а когда распрямилась, то чавкнула и выбросила наверх небольшой фонтанчик речной воды, обдав полы его длинной шинели. Да и сваи, что держат мост на своих плечах, уже почти не видны из воды...

– Нет, парень, скоро и ты окажешься на дне реки, если эти горе-колхозники не починят тебя, – мысленно пожалел старый мост Федор.

Неожиданно для себя он остановился на его середине, оперся на перила и склонился над водой. Темная и стылая, она шумела у него под самыми ногами, с ворчанием вырываясь из-под просевших тесин моста. Словно в оцепенении стоял Федор над журчащей во тьме водой и сравнил вдруг ее со своей жизнью: так же бурлива и беспокойна она была, так же стремилась куда-то, оставляя позади хорошее и плохое. Тяжелыми плитами выкладывалась она у него, много лишений было. Ведь только тюрьма да каторга более десятка лет отняли. Было ли в этой жизни ему тепло и светло? Да, было, но как-то очень уж быстро прошли эти мгновения, не успел он вдохнуть их полной грудью, насладиться, порадоваться до веселых коллик. А теперь его жизнь, как эта холодная и чужая вода под мостом, несется куда-то, не давая ни тепла, ни радости, вымывая из памяти и без того редкие светлые воспоминания... И почему-то так случилось, что в последнее время его, Федора, стало окружать все чужое: чужие люди, которые еще вчера называли себя твоими друзьями, но сегодня вдруг ставшие в одночасье подозрительными и замкнутыми; чужие слова, еще вчера зажигающие и поднимавшие на бой с врагом, теперь, казалось, таили в себе какую-то зловещую опасность. Даже собственное здоровье раз за разом стало предавать его: то словно обручем схватит грудь почти до полной остановки сердца, то в глазах темнота образуется со вспышками ярких звезд. Врачи ставили диагнозы, выписывали лекарства, наступало временное улучшение, а потом все возвращалось на круги своя. Это-то и понудило его уйти в отставку. Но не только это...

Насторожил и огорчил его последний разговор с начальником УНКВД Дальневосточного края Генрихом Самойловичем Люшковым, который состоялся в конце июня 1937 года. Уже два месяца прошло, а все берedit он его душу, время от времени всплывая в его памяти...

– ...Вы коммунист с дореволюционным стажем, Федор Михайлович, но почему вокруг вас

столько... случайных, а точнее сказать, враждебных для советской власти людей? – с нотками злорадства в голосе говорил он. – Почему у вас столько непростительных ошибок? Да-да, я имею в виду вашу связь с этой еврейкой из секретариата правительства Дальневосточной Республики? В течение нескольких лет встречаться с женщиной, делить с ней постель... Не смотрите на меня так! Всем известно, что именно в постели наступает момент истины, человек раскрывается и говорит самое сокровенное, а вы, уже немолодой, умудренный жизнью человек, прошедший школу ВЧК, ОГПУ и НКВД, не смогли под носом у себя разоблачить заклятую троцкистку?! А что же нам тогда предъявлять молодым коммунистам, которые о нашей революции знают только из трудов товарища Сталина и материалов газеты «Правда»? Может быть, вы прикроетесь как щитом словами о любви, которая вас вдруг поразила вас при встрече с Фаиной? Какая к черту любовь в ваши-то годы?!.

...А ваш племянник, что ушел за кордон с колчаковцами? Парень, видать, не промах, потому как при вступлении в банду белых казаков ему присвоили чин подхорунжего, а на корабль во Владивостоке он уже садился в чине подьесаула! Скажете, воюет хорошо? Наверное, но ведь воюет-то он с нами, с большевиками!.. На пролитой крови наших товарищей он так быстро вырос в чине!.. Да, вы не помогали ему в этом, вы воевали по другую сторону баррикад, но почему, когда партия обязала всех коммунистов «очиститься», вы предпочли отмолчаться и не заявили о своем племяннике-белогвардейце? Только не говорите, что вы ничего не знали об этом! Осенью двадцать второго вы командовали отрядом ЧОНа Томской губчека и проводили операцию в родных местах... Вспоминаете? Отбили своего брата-кулака у гурьевских чекистов... Малоподготовленными оказались товарищи, потому и спасовали тогда перед вами: как-никак за вами тогда было двести сабель и четыре пулемета!.. Вы гостили у брата несколько дней и тогда-то узнали о бегстве племянника за кордон, но никогда ни в одной анкете не сообщили о нем! Почему?!.

И почему в вашей дивизии оказался дезертир, а в каптерке среди портянок оказались книжки троцкистского толка? Чем занимались вы, начальник особого отдела, полковник Красной армии?! Если бы я не знал вас как боевого красного командира, я бы мог открыто назвать вас «врагом

народа»!.. Да сядьте, сядьте, Кузнецов, успокойтесь... Это не допрос, и конвоира за вашей спиной нет. Считайте, что это откровенный разговор коммунистов, офицеров, соратников по борьбе с общим врагом. Вы, конечно, вряд ли сможете внятно объяснить причины всех ваших... м-м, ошибок... А я вам помогу с ответом: вы постарели, Кузнецов, ослабли, потеряли бдительность и зачастую проявляете непростительную мягкотелость! Вас можно было бы прямо сейчас отдать под суд!.. Но мы ценим все ваши предыдущие заслуги перед советской властью, ваш боевой орден... Сам Василий Михайлович настоял, чтобы вас отправили в отставку по-доброму... без каких бы ни было мер воздействия за все ваши упущения последних лет. Как оказалось, маршал вас лично знает! Да-да, я знаю ту историю, когда в двадцать девятом во время инспекторской проверки вашего полка на его машину напали диверсанты Чан Кайши, а машина с охраной застряла и не смогла вовремя ликвидировать бандитов... Тогда вы прикрывали отход командующего с одним ручным пулеметом до подхода охраны... Вам же за это, кажется, дали орден Красного Знамени? Ах, вам маузер тогда подарили? А ведь уже тогда этот факт можно было повернуть против вас... А почему на участке вашего полка хозяйничали вражеские диверсанты? То-то же... Да, товарищ Блюхер решил тогда вас наградить личным табельным оружием, а позднее и орденом... Что ж, похвально... Но мы не можем и дальше терпеть все ваши промахи и упущения, поэтому в управлении кадров принято решение о вашей отставке и высылке... да-да, я, конечно, оговорился, и отправке вас в родные края. Вы, кажется, из Сибири? Вам сейчас уже шестьдесят пять, не так ли? Пора, Федор Михайлович, пора давать дорогу молодым... Революции нужны сила и молодой задор!..

Хитрил Генрих Люшков, шел 1937 год. Позднее его назовут годом большого террора. Его маховик был уже запущен, и одной из главных мишеней его были военные. Напитавшись кровью десятков, сотен тысяч советских людей Центральной полосы России, Кавказа, Средней Азии и Сибири, Верховная власть и ее верный страж – НКВД – бросали алчные взоры на восточную окраину страны, где гордым особняком и неприступной крепостью стояла Дальневосточная область, в недалеком прошлом – Дальневосточная Республика с ее легендарным марша-

лом Блюхером. НКВД давно раздражала обособленность этого региона, и потому под разными предлогами проверенные и лично преданные Блюхеру кадры отсылались в другие регионы, а их ротацию проводили за счет направления на Восток подготовленных и проверенных НКВД работников.

Не отказал себе в удовольствии Генрих Люшков и перечислил все огрехи полковника Федора Кузнецова, видимо, надеясь увидеть в его глазах страх и смятение. Не увидел, но и арестовать Кузнецова он не мог: крепка была сила авторитета маршала революции, известен и уважаем был Федор Кузнецов в военных кругах Дальневосточного гарнизона, и потому, объявив ему об отставке, комиссар государственной безопасности надеялся, что в Томске или в Новосибирске, где рано или поздно появится Кузнецов, его «возьмут» без лишних хлопот и огласки, а уж все зависящее от него ради такого события он, Люшков, сделает обязательно... И сделал, успел-таки, но уже вскоре после этого он сам, получив сигнал из центра о своем грядущем аресте, бежал в Маньчжурию и сдался японцам...

...Внезапное ночное появление Федора в доме Грини Павлова вызвало у хозяев такую же реакцию, как если бы на пороге у них появился ангел небесный, с крыльями и в белой рубашонке. Хозяин сразу не узнал в вошедшем Федора Кузнецова: все же разница в десять лет не давала им много поводов для встреч в молодые годы, а все последующие Федор обитал вдали от родного села. Жена же его, Евдокия Павлова, ни разу не встречавшая Федора в селе, вообще смотрела на него с удивлением и опаской: худощавый мужчина с изможденным лицом, в военной шинели и фуражке, в высоких офицерских сапогах да еще с чемоданом в руках, каких никто никогда в Урском не видывал. Уже присмотревшись повнимательнее и подойдя поближе, признал Гриня Федора и даже рукой отмахнувшись, словно от привидения:

– Кузнецов? Федор Михалыч, неужто ты?!

И хоть не были они особо дружны в молодые годы, а здесь обнялись, и не удержался Гриня, чтобы не пожаловаться новому человеку:

– Видишь, Федор Михалыч, каков я теперь, что из меня эта жизнь поганая сделала? – рванул на груди ветхую рубаху, обнажая впалую грудь и торчащие страшным образом концы ре-

бер, оставалось удивляться, как они не повылазили наружу из-под дряблой и поврежденной многими шрамами кожи. – Видишь, Федор Михалыч, как мы тут живем?

Голос его был плаксив, а по легкому перегазру Федор определил, что хозяин дома находился в легком подпитии. Его это даже немного успокоило: значит, его собственный хмель не так будет бросаться в глаза...

...Только час и посидели они за столом, а хозяйка успела накормить гостя вкусными щами, жареной рыбой и прочей снедью, чем была богата их семья. Гриня поделился своей трагедией, а Федор коротенько рассказал о своей жизни и службе на Дальнем Востоке. Невольно пришлось Федору еще раз выслушать рассказ о последних днях и смерти Гордея, о том, как хоронили его. Помянули, а когда принялись за закуску, Евдокия рассказала гостю о том, как весной этого года вода в Уре поднялась, как никогда ранее, подмыла берег, и по реке поплыли гробы с прогнившими крышками, пугая селян останками своих земляков.

– Ужас! Ужас! – подавленно приговаривала она.

– Но могилки твоих родичей, Федор Михалыч, – отца, матери, Гордея – уцелели... Вода не дошла до них, а вот деда Андрея, видать, смыло – он же ближе к реке лежал... – словно извиняясь, сказал Павлов.

– А тут повадился было один злодей кресты на могилах ломать... Мокой его звали – сучье отродье он, а не человек! Прочили его братья Бронские, крепко ему бока намяли – сбег. Дак жалко, Ваську-то посадили за это...

– ...У нас тут поп приезжал и говорил, что конец света грядет... – переходя на шепот, проговорила хозяйка. – Черт-погубитель на землю пришел и всех заберет с собой!

– Неправда ваша, маманя, – вдруг раздался звонкий детский голос: из-за занавески, закрывавшей лаз на лежак русской печки, выглядывали две детские головенки, настолько похожие, что Федор сначала подумал, что у него в глазах двоится. – Бога нет и чертей нет – нам это учитель говорил...

– Вот-вот, вам учитель много что говорил, потому его и заарестовали...

– Это какого же учителя-то? Из Урского? – спросил Федор.

– Нет, Федор Михалыч, учителя у нас теперь нет, детишки за пять километров ходят в Барит...

Аношин Иван Васильевич – так учителя звали... – пояснил Гриня. – С месяц, как взяли его... Хороший был мужик, детишков любил, да уж больно смелый в разговорах, за то, видно, и пропал человек...

– Как пропал, тятя?! Что ли Ивана Васильевича убили? – русая голова старшего сына снова появилась из-за занавески.

– Это что такое? – Федор нарочито нахмурил брови и строго посмотрел на мальчишек. – Почему не спите до сих пор?

– А еще рано спать...

– Ну-ка, чтобы я вас не видела больше!.. – хозяйка подошла к печи и пыталась задержать занавеску, но в ответ услышала громкий шепот:

– Мама, мы хотим в уборную... – прошептал младший.

– А ну, марш в сени, там ведро стоит, и чтобы вас я больше не слышала!..

Один за другим мальчишки сползли с печи и, ступая на цыпочках, скользнули за дверь. Евдокия, взяв со стола одну из керосиновых ламп, вышла следом за детьми, приговаривая про себя:

– Как бы они там в потемках чего не натворили...

Воспользовавшись невольной паузой в трапезе и разговоре, Григорий потянулся за банкой с самогоном, но Федор его опередил:

– Тихо, тихо, Григорий Андреевич, я сам налью... А вот с разговорами надо быть поосторожнее: сейчас и за байку про сельского писаря можно срок получить... Такие вот времена наступили...

Выпили, молча закусили, проследив, как мальцы исчезли на печке, затем Гриня обернулся к жене:

– Дунь, ты чтой-то начала говорить, да тут эти разбойники!.. Это уже наши, Федор Михалыч, Мишка да Васька, озорники, каких мало в селе... Вдовы мы оба... У меня дочь замужем, в Кольчугино живет... А Дунина дочка, Татьяна, учится в Томске на медсестру...

– Медицина – это хорошее дело, Григорий Андреевич, она всегда людям нужна... А что, много ли могил вымыло из земли?

– Сам-то я не ходил... Куда мне на своих костылях-деревяшках, но люди бают, могил десять попортило... – ответил Григорий. – Не к добру, старики бают...

– Вот и я говорю, что Антихрист придет!.. – и Евдокия троекратно перекрестилась, обернувшись к божничке.

– Придет, Дуня, придет... – каким-то отрешенным голосом вторил ей муж, а потом вдруг бросил острый взгляд в сторону гостя и спросил шепотом:

– А может быть, он уже пришел, Федор Михалыч?! Может, уже прибирает людишек-то этот антихрист? Сколько их уже посажено да расстреляно?!

– Да вы что тут совсем страх потеряли?! – неожиданно резко оборвал его Кузнецов. – Только что Ванька Кочергин бог весть что нес, теперь этот провоцирует! Я же упредил тебя, Гриш, а ты опять за свое? Не понимаешь, в какое время живем?! Да за эти слова тебя уже лет на пять в лагерь можно отправить!

– А ты меня не пугай, Федор Михалыч, мне уже жить осталось с гулькин хрен! – в тон ему пьяным голосом возразил Гриня. – Сдохну скоро я!.. Не довезут меня до лагеря-то твоего!..

Жена со слезами бросилась к Грине, стараясь погасить его хмельной запал, а с русской печи из-за занавески снова высунулись перепуганные мордашки их сыновей. Слезы женщины и увеличенные страхом глаза мальчишек быстро остудили Федора. Он подсел на сундук к Грине, приобнял его и легонько потряс за плечи:

– Да не пугаю я тебя, Гриня. Ты вон их пожалей да жену свою Дуню. Возьмут тебя за такие разговоры, а с кем они останутся?

– Эх, Федор Михалыч! Я ведь сам у нее на шее сижу заместо третьего ребятенка! Проку-то с меня в доме совсем ничего... Дармоед! Только и хватает сил, что чашки помыть да кур покормить... Уже и корове сена задать не могу – все она, моя Дуняшка! Да как же мне это пережить-то? – и он в голос зарыдал, не стесняясь своих сыновей.

– Гриша! Гриша! Перестань, успокойся... Детей вон испугал да гостя обидел...

– Не в госте дело, Евдокия... Григорьевна... Неужели ты думаешь, что я доносить на твоего мужа побегу: не было у нас в родне таких гадов!.. Знаю, что он любому в глаза может бросить резкое слово, еще пацаном был такой же ершистый... Да только время сейчас такое, что нельзя болтать бездумно. Посторожись, Гриня!..

...Гнетущая тишина надолго воцарилась в горнице. На мягких кошачьих лапках вошла она в избу и заполонила все пространство. Вскоре ее стало так много, что всем сделалось страшно: хотелось говорить, кричать, плакать, биться головой о стену, только бы разорвать ее гнетущие тенета...

– Ну, граждане-товарищи мужчины, пора и на покой... – решительно нарушила затянувшуюся паузу Евдокия. – Завтра договорите. Мне вставать рано, да и мальцы не спят, глядя на вас. Я вам, Федор Михалыч, на сундуке постелю, в углу...

Неспокойно спалось Федору Кузнецову на новом месте. Уже сквозь утреннюю дрему он слышал, как по избе, словно дуновение ветерка, передвигалась хозяйка. Чиркнула спичка, и неверным светом керосиновой лампы озарился бабий кут, но ни стука тебе, ни звона. Хлопнула дверь – знать, ушла корову доить Евдокия, а его снова сон сморил. Сколько длилось это забытие – может, полчаса, может быть, час, да только теперь снова хлопнула дверь на входе, а потом легонько отзвонила ручка ведра: хозяйка парное молоко принесла в дом, чтобы детишек накормить-напоить, мужа с гостем. Глаз не хотелось открывать, но в голове, еще не освободившейся ото сна и вчерашнего хмеля, уже шевелились мысли нового дня. Не желая привлекать к себе внимания, Федор, отвернувшись к стене, лежал с открытыми глазами, восстанавливая события дня минувшего...

Тяжелым он выдался для него. Одно дело – дорога дальняя, сначала на поезде, затем – на повозке, а тут еще столько водки выпили да самогона! Державший себя в строгости – военная служба обязывала, да и здоровье удерживало – Федор никогда не злоупотреблял спиртным, но вчера, оказавшись в родном селе среди старых товарищей, оглушенный горькими вестями о судьбе родных, словно отгоняя от себя острую боль утраты и пил много, и говорил много... Сейчас Федор попытался вспомнить свои слова, но потом отступился: не те люди Иван да Гриня, кого следовало бояться ему, полковнику-особисту, пусть и отставному уже... Тут его мысли вернулись к Гордею, Алене, к сыну, который, наверное, уже никогда не узнает его, своего кровного отца, и от того у него так защемило сердце, что он на какое-то время впал в забытие...

Когда сознание вновь вернулось к нему, он услышал, как негромко переговариваются Евдокия с Гриней, как о чем-то шушукуются за столом их сыновья... Уже не раз ловил себя Федор на том, что сознание его иной раз отключается на какое-то время: он перестает слышать, видеть все, что его окружает. А врачи в госпитале, обследовав его перед выходом в отставку, только руками развели: может быть, это последствия

одной из трех его контузий, а может, просто в силу возрастных изменений наступает кратковременный спазм сосудов и человек теряет сознание. Окажись он в эту пору на коне или на танке – последствия могли быть самые трагичные. Уже сам для себя Федор додумал: а если в бою так отключился бы и... в плен попал?! Ведь не докажешь потом, что спазм случился... Послушал он врачей, прикинул, чем эта странная болезнь ему грозит, и написал рапорт о выходе на пенсию... Разговор с Люшковым только ускорило принятие этого решения...

Все события вчерашнего дня воскресил в своей памяти Федор, пора и вставать, а тут и голос нового гостя услышал – Ивана Кочергина:

– Здорово ночевали, хозяева дорогие! Куда гостя подевали, сознавайтесь!..

– Да тут я, Иван, тут, не сбежал еще... – Федор сел на своей постели, вытянул вперед босые ноги и потянулся. – Думал, со службы уйду – отосплюсь, да куда там!..

– Да вы спите, Федор Михалыч, спите еще, – заботливо проговорила Евдокия. – Куда вам спешить-то... А я сейчас покушать приготовлю...

– Вот, единственно добрая душа здесь – не то что вы... – Федор, который спал в брюках и белой нательной рубашке, подошел к столу и пожал руки мужчинам, а потом извинился, – не судите за такой вид, сейчас приведем себя в порядок и – в дорогу...

– Давай, Федор Михалыч, – сказал Иван, – брейся, мойся, снейдай, чем бог послал, а потом поедем в Гурьевск... У нас тут оказия со Спирей подвернулась – на базу поедем за товаром да тебя, Федор Михалыч, отвезем...

– Годится, Иван Иваныч, только у меня просьба будет: заедем на кладбище наше – хочу родню свою навестить... Как знать, может, в другой раз уже не придется здесь оказаться...

ГЛАВА 6

В кабинете начальника Гурьевского районного отделения НКВД Кравцова было душно и сильно накурено. Он только что закончил утреннюю оперативку. Угрюмые, молчаливые, его сотрудники называли только цифры, названия деревень и сел района: Апрелька, Салаир, Гурьевск, Барит, Красное... По первой категории – 3, по второй категории – 11, в разработке и на дополнительной проверке находятся 37 человек... Уже месяц, как они приступили к исполнению оперативного приказа наркома СССР от 30 июля 1937 года, и це-

лый месяц весь Гурьевский район, Западно-Сибирский край, а похоже, и весь Советский Союз замерли в каком-то страшном оцепенении и ожидании конца света. И если днем это еще как-то скрашивалось общей рабочей суетой, то ночь оставалась за чекистами: десятки повозок разезжались в вечерних сумерках по деревням и селам, чтобы по заранее определенным адресам бесцеремонно вламываться в жилища мирно спящих крестьян и рабочих, проводить повальные обыски и свозить к утру в городской отдел НКВД ошалевших от страха и грубости конвоиров арестованных, где их допрашивали следователи и уполномоченные на то лица. Как и предполагалось заранее, редко кто из арестованных возвращался домой. Иначе быть не могло, потому что за годы советской власти в сознание каждого гражданина Советского Союза было твердо вбито одно непререкаемое правило: НКВД ошибаться не может! НКВД никого зря не берет!

Кравцов с мрачным выражением лица сидел и тупо смотрел на кипу документов, все лето пролежавших у него в сейфе, а теперь занимавших на столе целый угол. Где-то там, среди этих бумаг, лежит этот страшный приказ. Только месяц прошел под его диктовку, а впереди еще целых три! Опытный чекист, он понимал, что в мире идет классовая борьба, что враги не оставят его страну в покое, и потому их надо нещадно уничтожать, но почему этих врагов так много?! А с кем же мы будем строить светлое будущее, если всех расстреляем и посадим в лагеря? Кравцов резко потрянул бритой наголо головой, взял из коробки папиросу и нервно закурил. Стоп! Хватит рассусоливать, как кисейная барышня! Ты офицер, старший лейтенант госбезопасности, и потому эти сантименты ни к чему!

Глубоко затаившись, начмил выпустил густую струю дыма через нос, а затем, щурясь, взял сверху бумажной стопы лежащий вниз текстом документ и пробежал глазами: оперативный приказ народного комиссара внутренних дел Союза ССР от 11 августа 1937 года: «...Рассылаемое вместе с настоящим приказом закрытое письмо о фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности польской разведки в СССР, а также материалы следствия по делу «ПОВ» вскрывают картину долголетней и относительно безнаказанной диверсионно-шпионской работы польской разведки на территории Союза... что можно объяснить только плохой ра-

ботой органов ГУГБ и беспечностью чекистов... В Западной Сибири из находящихся на ее территории около пяти тысяч перебежчиков учтено не более 1 тысячи, такое же положение с учетом политэмигрантов из Польши...»

– Господи! Да где же искать эти четыре тысячи поляков? Где они тут растворились? В Салаире, в Красном, в Урском? Суцая ерунда! Новосибирск, Томск, Щегловск, Сталинск – это еще понятно, но здесь, в глуши?! Мы не знаем, как выполнить эти спущенные сверху нормы, а товарищ Эйхе просит ЦК увеличить квоту как по первой категории, так и по второй... Су-масшествие!..

Кравцов отложил приказ и принялся торопливо просматривать остальные бумаги, мысленно ругая себя за то, что скопил такую груду документов: «Идиот! Расслабился, как гнилой интеллигент! Тут такая метла метет по стране, что и тебя, начальника горотделения, смахнет, не глядя, как случилось с Паршиным, секретарем Беловского райкома ВКП(б), а вслед за ним, похоже, пойдет и его родственник Качуровский, начальник Киселевского горотделения НКВД... А сколько уже голов полетело!..»

Размышляя так, он продолжал просматривать залежавшиеся у него в сейфе документы, откладывая в сторону исполненные, а некоторые черновые записи рвал на мелкие кусочки и складывал в просторную чугунную пепельницу, собираясь потом их сжечь, как уже не раз бывало. С некоторых пор он перестал доверять уничтожение секретных документов даже своему секретчику, решив, что будет надежнее, если он сам лично сожжет их. Едва ли не в самом низу кипы документов он нашел телеграмму с грифом «Секретно» за подписью начальника Дальневосточного УНКВД Люшкова: «Настоящим уведомляю, что в июле-августе сего года намеревается отбыть на родину в село Урское Гурьевского района Западно-Сибирского края начальник особого отдела N-ской дивизии Дальневосточной Красной Армии полковник Кузнецов Федор Михайлович. В связи с имеющимся на него компроматом считаем необходимым его задержать, дополнительно проверить на причастность к фактам, указанным в приложении к настоящей телеграмме, и нейтрализовать. Конфиденциальная информация в отношении Кузнецова Ф. М. направляется спецсвязью под грифом «Совершенно секретно» в УНКВД ЗСК. Начальник Дальневосточного УНКВД Г. С. Люшков».

Кравцов удрученно повертел в руках телеграмму, вспоминая обстоятельства, при которых он ее получил, и почему не отписал на исполнение... В первых числах июля поступила она из Владивостока непосредственно в их райотделение, но к тому времени в газете «Правда» и по служебным каналам уже прошла информация, что полковник госбезопасности Люшков переметнулся на сторону врага и, оказавшись в Харбине, попросил политического убежища у властей Маньчжоу-го. Уже позднее, находясь в Новосибирске, Кравцов поинтересовался наличием секретных материалов на Кузнецова, которые должны были поступить из Дальневосточного УНКВД, на что ему был дан ответ: в связи с тем, что Люшков Г. С. изменил Родине, эмигрировав в Маньчжурию, все документы за его подписью аннулированы и исполнение их остановлено. Поскольку о телеграмме, пришедшей к ним из Дальневосточного УНКВД, в Управлении его не спросили, он решил, что сам спишет ее в архив, но что-то тогда ему помешало это выполнить... Да-да, сначала у него была длительная командировка в Москву, потом он лечился две недели... Вспомнился эпизод с Кутько: тот находился у него в кабинете, когда он, вернувшись из Новосибирска, перечитал телеграмму и хотел списать в архив, но Кутько успел-таки через плечо ознакомиться с ее содержанием и посоветовал не торопиться с архивом, а если вдруг этот Кузнецов появится здесь, то можно будет среагировать должным образом и обезвредить тайного врага... И он в красках рассказал ему тогда о «бесчинствах» Кузнецова в двадцать втором году, когда он командовал отрядом ЧОН и спас своего брата, кулака Кузнецова Гордея от тюрьмы. А в подтверждении своих аргументов он принес и предъявил ему тогда решение Урского сельсовета о раскулачивании Кузнецова Гордея в мае 1934 года, справки о его смерти и высылке семьи Кузнецовых в Нарымский округ Западно-Сибирского края...

Отложив тогда телеграмму в сторону, Кравцов позже хотел вернуться к ней и даже дал команду Кутько держать вопрос на контроле. Два месяца прошло с тех пор, но, похоже, Кузнецов так и не появился в родном селе, поскольку Кутько к нему не обращался. И только тут он вспомнил, что Кутько не был на совещании. Секретарь Нина Петровна, женщина лет сорока, с аскетичным и некрасивым лицом, как и многие работники отделения, ходившая стро-

го в форме и хромовых сапогах, была в курсе всех вопросов, решавшихся в отделе. Она-то и пояснила ему, что Кутько накануне выезжал в Красное и не успел вернуться к совещанию. Поручив секретарю, чтобы Кутько по приезде сразу же зашел к нему, Кравцов положил злополучную телеграмму Люшкова к себе в стол, а остальные документы определил по месту их назначения: исполненные – в архив, а находящиеся в исполнении – в свой металлический сейф...

...За дверью кабинета, в приемной, раздались громкие голоса – женский и мужской. Следуя своему принципу, Нина Петровна никого не допускала в кабинет начальника милиции, предварительно не справившись у него лично, примет ли он того или иного посетителя. Кравцову это не совсем нравилось, ибо он считал, что такая форма общения с народом излишне бюрократизирует его, но, устав бороться со своей железной секретаршей, он смирился с ее диктатом.

Дверь кабинета открылась, явив взору начальника милиции пожилого мужчину в длинной военной шинели.

– Ну куда же вы, гражданин... Я же просила вас... – голос Нины Петровны раздавался из-за спины вошедшего. Не обращая никакого внимания на ее причитания, мужчина плотно прикрыл дверь за собой и прошел к столу.

– Извините за бесцеремонность вторжения, но мне сказали, что здесь совещание и продлится оно до обеда, после чего вы уедете в Белово... Видимо, ваш секретарь излишне заботится о здоровье своего начальника?..

– Ну-у... это ее волюнтаризм... – под пристальным взглядом колючих серых глаз военного Кравцов смутился и что-то проговорил в свое оправдание, затем предложил сесть.

– Кузнецов Федор Михайлович, начальник особого отдела дивизии, полковник... Нахожусь в отпуске по случаю реабилитации после ранения и потому прибыл на родину...

Едва услышав первые слова гостя, Кравцов невольно вздрогнул и сильно побледнел, что не ускользнуло от внимания военного. Тем не менее он продолжал говорить ровным и спокойным голосом, еще больше ввергая начальника отдела в психологический ступор. Кравцов слушал полковника, но одна его рука непроизвольно приоткрыла ящик стола, где лежала телеграмма бывшего начальника УНКВД, и теперь нервно теребила ее, другая рука уже была готова потя-

нуться к кобуре с пистолетом, и только усилием воли он остановил себя.

– ...Моя семья жила в селе Урском, но в 1934 году ее раскулачили и выслали на Север. Считаю, что это было ошибочное решение, и потому я хотел бы узнать, кем принималось это решение, кем утверждалось и какое участие в этом принял Кутько Богдан Иванович?

Кравцов уже немного успокоился и потому смог дать обстоятельный ответ:

– Решение, как я полагаю, принималось сельским советом села... м-м... Урское. Решение утверждалось райисполкомом... Какое участие принимал во всем этом товарищ Кутько, мне неизвестно, поскольку в то время я здесь еще не работал, а все документы о раскулачивании, видимо, находятся в архиве.

– Я могу узнать, куда направили этих спецпоселенцев?..

– Скорее всего, в Нарымский край, более точные сведения надо искать в архиве либо в спецкомендатуре по Нарымскому округу, что находится в Колпашево, впрочем, эту информацию вы, наверное, сможете узнать в Томске, в ГО НКВД...

– А самого Кутько я могу видеть?

– К сожалению, он в данное время находится в служебной командировке... – только сейчас вконец успокоившийся Кравцов вспомнил, что он даже не проверил документы посетителя. – Простите, товарищ Кузнецов, позвольте ознакомиться с вашими документами...

Легкая насмешливая улыбка тенью промелькнула по лицу военного (вспомнил, наконец-то!), но, тем не менее, он без возражения протянул начальнику отдела свое служебное удостоверение.

– Спасибо, Федор Михайлович, – произнес Кравцов, возвращая документы. – Чем еще могу быть вам полезен?

– Как я уже понял – ничем... Кутько в отделе нет, документы в данный момент недоступны, обжаловать решение сельсовета и райисполкома местный прокурор вряд ли решится, да и время меня поджимает... Спасибо за внимание. Отметить командировочное удостоверение я должен, видимо, у той суровой женщины, что вас охраняет?

– Да-да, Нина Петровна – замечательный работник и очень душевный человек...

– Я это уже заметил, благодарю... Прощайте...

Только оставшись в кабинете один, Кравцов облегченно перевел дух и, вынув из стола телеграмму, снова ее перечитал: прав или не прав был Люшков, отправляя эту телеграмму? Но в одном он был уверен: Федор Кузнецов – человек решительный, и, несмотря на возраст, арестовать его было бы непросто, тем более, у него на боку под шинелью, наверное, висит кобура с наганом... Нет, он был прав, отпустив Кузнецова, ведь нельзя на основании информации военного дезертира арестовывать действующего полковника, а Кутько? Там тоже еще не все ясно – и он в задумчивости затянулся новой папироской...

Прошло около часа, в течение которого начальник милиции готовил отчет в управление о ходе выполнения июльского оперативного приказа. Не первый год он работал в органах, но таких документов, о результатах исполнения которых предстояло докладывать «наверх» каждые пять дней, было немного на его памяти. Это говорило о его особой важности. Впрочем, более поздний приказ о польских перебежчиках требовал такого же отчета... И вышли-то они почти одновременно, вроде как, в поддержку друг друга.

«Похоже, наверху серьезно взялись закручивать гайки, а раз так – полетят головы, а сколько там будет виновных и невинных – один черт знает! И как же выжить в этой мясорубке, где и у кого искать совета и поддержки? Как в сжатые сроки выполнить такой объем работы да при этом дров не наломать? – размышлял он, и тут его словно озарила светлая мысль: надо позвонить кому-то из начальства, с кем сложились хорошие отношения, и прояснить, как действовать в данной ситуации... Но, продолжая развивать эту мысль дальше, он понял, что звонить-то ему не кому. Нет у него таких душевных друзей, а любой такой звонок в Новосибирске могут принять за слабость, а то, не дай бог, за политическую незрелость, – Жаль, очень жаль!..»

Не успел он по-настоящему загрустить, как уже следующая мысль его обнадежила: «А у Кутько в Томском ГО НКВД работает старый дружок – Карманов. Не раз он хвалился дружбой с ним, звонил ему по телефону из его кабинета. Работал когда-то Карманов здесь, а потом пошел на повышение... Так, опять нужен Кутько, но где его черти носят?!..»

Только успел подумать он так, как дверь кабинета распахнулась настежь – и на пороге стоял Кутько...

– Здравствуй, Антон Иванович! Не успел я к совещанию... дела!

– Это что же за дела такие? За день не справился в Красном?

– От агента информацию получил, что в Урском должен появиться один контрик... Кузнецов Федор, тот самый родственник раскулаченных Кузнецовых...

– Это который полковник-особист?! Эк ты его окрестил – контрик! Не боишься ошибиться?

– Знаешь, Антон Иванович, как старые чекисты говаривали? Контру бояться – в ЧК не ходить!

– Ну, и к чему ты все это?..

– Да к тому, товарищ начальник, что время сейчас такое: кто первый громче гавкнет, тот и наверху, а кто запоздал или сопли жует – того и к стенке! Ты почитай последние оперативные приказы наркома НКВД! Чтобы их выполнить правильно и в срок, нужны решительность и оперативность... Они же «оперативные», приказы-то!..

– Ты так думаешь, Богдан Иванович? Или ты уже прозвонил наверх своему дружку Карманову, а?

– Да пока не звонил... А если надо – позвоню...

– Вот и позвони...

– И позвоню... – Кутько говорил уже с вызовом в голосе. Он давно понял, что Кравцов побаивается вышестоящее начальство и знает о его приятельских отношениях с Кармановым, и потому раз за разом пытается извлечь из этого выгоду для себя. А раз так, то и ему, Кутько, тоже нужно поиметь для себя какую-то пользу в данной ситуации. Впрочем, все в отделении уже давно отметили тот особый статус, который имел Кутько, и потому старались с ним не связываться.

– Вот и позвони, позвони, Богдан Иванович, и спроси у своего дружка, как нам выполнять приказ о польских перебежчиках, когда от нас до Польши несколько тысяч верст, а отчеты подавай каждые пять дней...

– М-да, много поляков мы тут, конечно, не найдем, но одного можно взять уже сегодня...

– Да ну?!

– Да... В Урском живет некто Богдан Лукашевич... Чем не поляк?

– А он что, на самом деле поляк?

– Да какая разница, Антон Иванович! Откуда-то с Запада приехал сюда лет двадцать-тридцать назад, но фамилия подходящая: то ли поляк, то ли еврей, то ли белорусс... Кто там про-

верить будет, а отчет закрыть можно даже одной фамилией... Материалы на «тройку» оформить по первой категории и отправить в Новосибирск... Их же туда никто не возит. Пришлют выписку из решения «тройки» – «расстрелять» – и концы в воду!

– Да-а, лихо у тебя все получается, Богдан Иванович! И не жалко тебе их, таких вот контриков?

– Наш вождь и учитель товарищ Сталин сказал: лес рубят – щепки летят! Тебе этого мало? Впрочем, Антон Иванович, если у тебя такая жалость проснулась к врагам народа, то ищи пшек в Салаирском кряже... Повезет – найдешь одного-другого, а нет – только ноги собьешь да еще от начальства нагоняй получишь... А за невыполнение таких приказов можно и самому к стенке встать...

– М-да... Однако убедил – готовь группу для ареста... И не жалко тебе теску-то? Тоже Богданом кличут?

– Да сам-то Богдан погиб в гражданскую, но у него жена осталась, сын, внуки...

– Ну, тогда включи их во вторую категорию...

– Как скажешь, Антон Иванович, можно и во вторую, только я сам съезжу за ними...

– Что так? Не наездил, что ли?

– Хочу заглянуть в Урское... Я там уже одного доходягу пошерстил, у кого ночевал Кузнецов... Он сказал, что уехал Кузнецов, но мне кажется, что он врет: что же, Кузнецов только на одну ночь приехал с Дальнего Востока? Объявится там еще, как пить дать!

– И зачем он тебе?

– Ну как же? А приказ выполнять надо? А компромат на него где-то в Новосибирске... Его и поднять можно. А те документы, что ты показывал мне летом, где они?

– Да здесь они, здесь та телеграмма, – и он вытащил из ящика стола бланк с текстом. – Черт с тобой! Только тебе не надо никуда ехать... Час назад он был здесь... В Томск он собирался ехать, своих выручать...

– Вот оно как!.. Иванович, дай людей, может, я его перехвачу на вокзале... Если что, дам шифрограмму в Томск...

– Зачем шифрограмму – звони своему дружку Карманову, да не забудь спросить по приказам-то... Поедешь вдогонку на вокзал – поостерегись: мужик он, похоже, бывалый, решительный, при оружии... Он вас там всех положит, коли что...

– Ну ты хоть команду-то дай... не мне же...

– А что? Ты – офицер... бери двух милиционеров, повозку – и вперед... Оружие не забудьте... А лучше езжай сразу в Белово – там его перехватишь... Поезда-то нынче медленно ходят... Он расслабится, пока едет до Белова, может, уснет, а тут и ты с ребятами, да еще беловчан подключи...

– Ну ладно, я поехал...

– Да, возьми-ка на всякий случай телеграмму Лющкова... Не все же знают, что он дезертир... Пока то да се, глядишь, и дело сделаешь...

Не был избалован судьбой Федор Кузнецов. Много лиха хватил за свои шестьдесят с небольшим лет, но здесь она словно смилостивилась и отправила врагов по ложному пути: пока Кутько, пустившийся за ним в погоню с милиционерами, добирался до Белова, Федор, наняв, как в былые времена извозчика, ехал по Крестьянскому тракту в противоположную сторону, в Сталинск, где жила его племянница Мария Гордеевна Барбашова...

* * *

...Пассажирский поезд сообщением Сталинск – Томск прибыл на станцию Тайга раньше графика. Проводница сообщила пассажирам об этом и добавила, что стоянка будет больше обычного, и предложила «прогуляться по вокзалу, запастись кипятком и проветрить вагон...». Приняв эту информацию как команду к действию, народ зашевелился и высыпал на перрон, небрежно выложенный булыжником, в руках у многих были котелки и ведра...

Федор ехал в общем вагоне. Как военный полковник он мог бы ехать в вагоне 1-го класса, но какая-то смутная тревога, одолевавшая его последнее время, заставила взять билет именно в общий вагон: здесь ему не надо было предъявлять документы и называть свою фамилию.

...А тревога уже давно не оставляла Федора. Показные судебные процессы над соратниками Ленина, аресты и расстрел легендарных маршалов революции Тухачевского, Егорова, а затем и других военачальников, рангом пониже, массовые аресты командиров старшего и среднего звена, число которых уже шло на тысячи, в одно мгновение сделало службу в Красной армии опасной: каждый день для офицера мог оказаться последним... После разговора с Лющковым тревога Федора только усилилась, и он провел несколько бессонных ночей в ожидании ареста.

Главный чекист Дальне-Восточной Республики с неприкрытым цинизмом обрисовал все его «прегрешения» перед советской властью и тем самым словно бы провоцировал на какие-либо радикальные действия, будь то бегство за границу или... Нет, последнее Федор сразу отменил: сводить счеты с жизнью после неофициального, хоть и довольно откровенного разговора с начальником УНКВД, он даже не помышлял. Твердая уверенность в своей правоте и честное имя давали ему силы бороться за свою жизнь, давали право жить и работать, как в прежние годы. В глубине души он никак не мог поверить, что кто-то мог всерьез усомниться в его верности делу революции, его, коммуниста с дореволюционным стажем, прошедшего царские тюрьмы, школу партизанской войны, глубоко познавшего работу оперативного сотрудника ВЧК, ОГПУ, НКВД и, наконец, кадрового офицера, руководителя особого отдела крупной войсковой части...

Уйти за кордон? Такая мысль тоже не приходила ему в голову, хотя именно это он мог бы сделать легко: штаб его дивизии находился в поселке, расположенном всего в нескольких километрах от советско-китайской границы...

Он ожидал, что его арестуют прямо в кабинете Лющкова... Но тогда при входе в Управление у него под любым предлогом изъяли бы табельное оружие... Не случилось.

...К себе в часть тогда он возвращался на автомашине, и, навязав ему двух-трех попутчиков, его могли бы арестовать в дороге, не рискуя жизнями посторонних людей... И тут обошлось. В дивизию он прибыл благополучно, а в беседе с комдивом вернулся к их давнему разговору об отставке. Как-никак 65 лет – это уже возраст для военного, даже если ты полковник. Василий Дмитриевич отнесся с пониманием к его решению, угостил коньяком, но именно он-то и посоветовал ему сначала хорошо пролечиться в госпитале, съездить на курорт в Крым, на кавказские воды или, на худой конец, в родную деревню, и только потом снимать погоны, посетовав, что «...человека у нас ценят, пока он нужен, пока он в строю, а потом все его проблемы достаются ему одному...». Также посоветовал определиться, в каком городе по выходе на пенсию хотел бы получить прописку, а с ней комнату или даже отдельную квартиру. Уже тогда старшим офицерам Красной армии и НКВД, имеющим заслуженные награды, предоставлялась такая льгота. Орден боевого Красного Знамени,

наградное оружие и три контузии, полученные в боях за советскую власть, давали Федору основания на получение положенных льгот.

После бегства за кордон Люшкова тревога на какое-то время оставила Федора, однако появление оперативного приказа № 00447 от 30 июля 1937 года только ускорило его решение об уходе в отставку. Он понял, какую страшную разрушительную силу несет в себе этот документ, сколько невинных людей может пострадать от него, а участвовать в его исполнении он не хотел. Он лег в госпиталь для лечения язвы и последствий контузий, а потом, отказавшись от путевки в Крым, решил навестить своих родных в Урском...

Уже дома, в Урском и Гурьевске, он, что называется, шкурой почувствовал реально надвигающуюся опасность. Сначала Иван Кочергин, пока они ехали в Гурьевск, рассказал, как подвыпивший Кутько ночью дотошно расспрашивал его о появлении Федора в Урском, и скрыть этого уже было нельзя – видели бабы его в магазине. И хоть не сказал Иван, куда отправился ночевать Федор, но, похоже, Кутько, проспавшись после попойки, искал его в селе, и Грине Павловой было не сдобровать...

...И Кравцов, начальник Гурьевского райотделения НКВД, при разговоре вел себя странно и настороженно... Может быть, показалось, но Федор за свою долгую работу в ЧК и ОГПУ привык верить своему первому чувству, первому и незамутненному проблеску интуиции, и отказывался от него только после самой тщательной проверки. Нервничал начальник, рукой что-то шарил в столешнице, словно пистолет у него там был... И голос дрожал... Не таким должен быть разговор двух офицеров, которых единит верность присяге и общая цель – борьба с врагами Родины.

Если Зло не пошло от Люшкова, то оно вполне могло возникнуть в кабинете начальника Гурьевской милиции. А что, если Зло Люшкова и Зло начальника РО НКВД, возникнув независимо друг от друга, сейчас слились воедино?.. А ведь где-то там, в Гурьевске, живет и служит Кутько?..

...А встреча в Сталинске с Машей и ее мужем, та истерика, которую ему закатил этот инженер, лишь добавили ему лишнюю долю беспокойства: смогли отказаться от родных людей, то почему бы лишний раз не доказать власти свою лояльность, заявив на человека, который ставит под угрозу их семейный уют и безопасность? А

тот факт, что он полковник и родной дядя, лишь добавит вес этому доносу. Федор давно понял для себя: чем выше человек, на которого делается донос, тем больше этот донос ценится властями...

И вдруг Федор понял, что он уже давно перешагнул ту черту, которая в душе любого человека отделяет Страх и Совесть. А ведь от того, что одержит верх в душе человека, зависит, как он проживет свою жизнь. Свой Страх он преодолел, а его Совесть, словно забыв о грозящей опасности, порой толкала его на рискованные шаги, граничащие с безрассудством! Именно такой ему представлялась попытка вернуть близких ему людей из ссылки. Он понимал это, но сознательно шел на риск. И все те опасения, та тревога, что не оставляла его последние месяцы жизни, была реальной оценкой сегодняшнего дня, а значит всю свою дальнейшую жизнь теперь надо строить сообразно этой оценке.

Подумал он так, и словно от сердца отлегло. Видно, правду говорят: любая ясность, даже самая горькая, приносит облегчение, а любая неясность только вносит смятение в душу и тревожит ее.

...Стоянка поезда на станции Юрга затягивалась, но дежурная не торопилась объяснить причину задержки отправления, и потому пассажиры толпились на перроне около своих вагонов, готовые в любую минуту взять их штурмом, дабы не отстать от поезда. Федор тоже прохаживался близ вагона в ожидании отправления состава. Заметив среди толпы пассажиров милиционера, он подошел к нему.

– Товарищ, не подскажете, кто сейчас начальник милиции в Мариинске? Не Войтман?..

Козырнув обратившемуся к нему с вопросом полковнику, сержант подтянулся и чуть срывающимся голосом доложил:

– Не могу знать, товарищ полковник, кто в Мариинске, но у нашего начальника фамилия Войтман Фриц Дитрихович...

«Ба! Сама судьба уготовила мне встречу со старшим товарищем», – подумал Федор и, подхватив чемоданчик, что стоял на перроне у его ног, поспешил уточнить, как добраться до райотделения НКВД...

...Фриц Войтман заметно изменился за те пятнадцать лет, что они не виделись: повзрослел, возмужал, и только чуть ироничная улыбка напоминала Федору того молодого человека из

Мариинска... Похоже, хозяин кабинета был чем-то озадачен, но не хотел омрачать встречи со старым приятелем. Сложив все документы в сейф, он поднял трубку и приказал дежурному по отделению:

– Я уйду домой... поздно уже... Если будут звонить из Москвы или Новосибирска – немедленно сообщите, а все остальные дела потерпят до утра... Оперативная группа должна быть в боевой готовности... – к Федору он обратился другим тоном, – Федор Михайлович, дел – по самую макушку, но сегодняшней вечер будет наш... Столько всего накопилось за эти пятнадцать лет!.. Милости прошу в мою холостяцкую квартиру...

– Так и не женился?!

– Да нет, женился... Жену я отправил с ребенком к теще... Горячо тут у меня стало... Бывает, по два-три дня домой не прихожу – все врагов народа ищу!.. И что удивительно, стали из управления конкретные цифры приходиться: столько-то человек – для первой категории, столько-то – для второй... Сразу-то и не понял, да просветили добрые люди: первая категория – расстрел, вторая – лагерь... У меня и так-то «врагов» немного было, а после этого вообще перестал отправлять такие сведения... Спасибо Алексею Мироновичу...

– Кому? Пожидаеву?

– Да, ему самому... А что, вы знакомы были с ним, Федор Михайлович?

– В Томске работали вместе... Почему «были»?

– Потому «были», что застрелился Алексей Митрофанович две недели назад... Пришли за ним, а он...

– Вот оно что!.. – Федор произнес эти слова, стиснув зубы и нараспев. – Смерть идет за этим приказом, смерть...

– Уйдем отсюда, Федор Михайлович, – едва не взмолился Войтман. – С некоторых пор я чувствую себя в этом кабинете палачом в красной рубахе... Как у вас его зовут, гад?

– Нет, Фриц, – КАТ...

...Однокомнатная квартира Войтмана выглядела нежилой: на печке и на столе была грязная посуда и остатки пищи, кровать не заправлена, дмотканые половики сдвинуты в угол, на полу валялся сложенный пополам белый листок бумаги. Федор поднял его, развернул: на него усмешкой смотрел «Вождь всех народов».

– Фриц, опасная оплошность!.. Работягу за это

лет на десять упрячут, а чекиста – сразу к стенке поставят! Поостерегся бы...

– Федор Михайлович, устал я от всего этого: устал бояться, устал работать... – он подобрал концы скатерти в кулак и вместе с посудой, с остатками пищи убрал со стола и вынес в сенцы. – Как Валя уехала, я здесь не могу оставаться... Потом как-нибудь наведу порядок... А сейчас поужинаем, выпьем... у меня спирт есть, сало, черный хлеб, лук... О! Картошка в мундирах! Как остроумно русские люди называют ее – «в мундирах»! Будете?

– Конечно, буду, Фриц, только она не в «мундирах», а в мундире...

...Ходики на стене показывали второй час ночи. За столом сидели двое мужчин в военной форме. Широкие офицерские ремни валялись на диване, верхние пуговицы их гимнастеров были расстегнуты, расслабленные движения и покрасневшие лица говорили о том, что ими выпито уже немало. Впрочем, они уже не пили, не ели – они вели трудный и серьезный разговор...

– ...Ну почему, почему, Федор Михайлович, когда урожай губит засуха или его вымывает дождями, мы должны арестовывать крестьян как вредителей и диверсантов? Ведь мужик – не Господь Бог и погодой управлять не может. Почему весь урожай, выращенный в колхозе, мы должны изымать, ничего не оставляя крестьянам ни на посев, ни на пропитание? Почему в течение года у нас в районе сменились два секретаря райкома и два председателя райисполкома? Ведь каждому новому руководителю требуется время, чтобы войти в курс дела, узнать людей. Почему мы так торопимся уничтожить всех, кто не согласен кричать по команде сверху: «Слава товарищу Сталину – любимому вождю всех народов!». Как его может любить вдова и дети расстрелянного крестьянина или отправленного в лагерь рабочего?

– Похоже, Фриц, нынешняя власть не знает, как заинтересовать людей работать лучше, чтобы жить богаче, и потому избрала самый простой путь: держать народ в страхе. Но всю жизнь прожить в страхе нельзя. Человек либо ломается, превращаясь в тупое и покорное животное, либо начинает бунтовать, а это опять война и разруха...

– Федор Михайлович, я не знаю, как помочь этим бедным крестьянам. Но что могу, то делаю... Я ведь прекратил вести активную борьбу с кулачеством и другими элементами потому, что

не считаю их таковыми. Все производственные неурядицы и неудачи нам советуют считать как политическое преступление, а это или расстрел, или лагерь на долгие годы. Но если мы их всех расстреляем и посадим за колючую проволоку, то кто же будет сеять и пахать? У нас в районном руководстве многие думают так же: секретарь райкома Шорин, заведующий конторой «Заготзерно» Нестеренко, прокурор Ощепков, судья Попова, председатель райисполкома Ивлев... Мы договорились не арестовывать неумелых руководителей, а снимать их с должности и отправлять на рядовую работу, но кому-то очень хочется крови, и они пишут наверх доносы. Недавно сняли Шорина с секретарства и перевели рядовым сотрудником в крайисполком, как не справившегося с работой, так его преемник, нынешний секретарь райкома Моисеев, уже вдогонку ему пишет: «...Мне кажется, что Шорин не просто оказался слепым по отношению к врагам народа, но он сам разделял их взгляды. Шорину не место в крайисполкоме...». А ведь он был заместителем Шорина... С таким человеком трудно и опасно работать рядом... Вы знаете, Федор Михайлович, мне порой кажется, что он уже и на меня пишет такие же доносы...

– Может так случиться, окаянное время – окаянные люди!..

...Не подвела интуиция опытных чекистов: 6 января 1938 года, спустя три месяца после этого разговора, был арестован Фриц Войтман. Доносы Моисеева достигли цели, и 10 января того же года на заседании Юргинского райкома партии по предложению Моисеева все члены райкома единогласно постановили: «Ф. Д. Войтмана, члена ВКП(б) с 1917 года, исключить из членов партии как врага народа и дело о нем передать органам НКВД...». А спустя еще три месяца уже самого Моисеева срочно вызовут в крайком партии, и больше его никто не увидит, а члены райкома также заочно и единогласно постановят: «Моисеева исключить из членов ВКП(б) как врага народа». В ту пору граница между понятиями «свой» и «чужой» была эфемерной, но одно правило действовало безотказно: «свой» в любой момент мог стать «чужим», но «чужой» «своим» – никогда! Такова была логика окаянного времени...

ГЛАВА 7

Похоже, жизнь в маленьком Нарымском поселке Шишкино к лету тридцать седьмого года

вошла в обычное для таких поселений русло, и даже бегство Яковлевых никак изменило его уклада. Каждый день бригады спецпоселенцев уходили в лес, откуда разносились по всей округе стук топоров, визг пил да громкий треск падающих деревьев. А в самом поселке уже появились новые строения: две избы (для сельсовета и школы), заканчивалось строительство поселковой бани, а несколько барачков потеснили в центре поселка шалаши, и бывшие жильцы разбирали их и сжигали под веселый свист. Здесь, как и везде, умирали люди, и кладбище за бугром также росло и ширилось не меньшими темпами, чем сам поселок. Уже по весне в комендатуру и в сельсовет поставили телефоны, и теперь через коммутатор исправительно-трудового лагеря, где его начальником все еще оставался Морозов, можно было дозвониться до самой Москвы.

На должность председателя сельсовета из Колпашево был прислан бывший бухгалтер потребсоюза. Проворовался у себя дома, и тогда партийное руководство отправило его «на исправление» в эту глушь, решив, видимо, что здесь и такой председатель сойдет... Никишин Фадей Иванович был упитанным мужчиной, возраст которого перевалил за пятьдесят. Он обладал лысиной на всю голову, обаятельной улыбкой и постоянным желанием шутить, будь то к месту или нет.

– Ну-с, дражайший Семен Семенович, – начал Никишин, едва появившись в кабинете коменданта, – представляюсь по случаю прибытия на службу в ваш поселок. Надеюсь, мы будем ладить с вами во всех вопросах, как и подобает цивилизованным людям... А таких нас здесь только двое: вы да я, а все это кулачье да недобитая контра – спецконтингент, который надобно держать в ежовых рукавицах. Ха-ха... Вы знаете, это выражение сейчас на слуху, и все благодаря Николаю Ивановичу Ежову. Скольких уже прибрали этими рукавицами!

– Вы не из их числа будете? – хмуро откликнулся Попков, чем сразу озадачил гостя, затем добавил: – Что ж, будем держать контингент в строгости... Кстати, дражайший Фадей Иванович, вас это тоже касается... Я слышан о ваших «подвигах», поэтому должен сразу предупредить, что воровать здесь особо нечего, да и я не дам... Весь быт поселщиков на вас. Как я понял, секретаря сельсовета вы привезли с собой?

– Да-да... моя жена будет выполнять эту работу. Где найдешь в такой глухомани грамотных людей? Кстати, меня также информировали о ваших... м-м... личных делах с поселенкой... понимаю, сочувствую, а дальше, как говорится, поживем – увидим...

– Что ж... поживем – увидим...

Попкова покорило от плохо скрытой угрозы нового председателя сельсовета, и для себя он решил, что расслабляться в отношениях с этим слащавым на вид человеком он не будет. А между тем сама обстановка в стране говорила о том, что наступают страшные времена, а все растущая волна арестов высокопоставленных партийных и военных работников только подтверждала эти опасения. Теперь Семен Семенович доверял только себе и... Алене Ивановне Кузнецовой.

А жизнь ее, похоже, устоялась, и главной причиной этой стабильности была та опека, которую взял Семен Попков над ней и ее семьей. В числе первых Кузнецовы получили в новом бараке отдельную просторную комнату с печкой, а к концу года комендант надеялся переселить из шалашей в бараки и остальных спецпоселенцев. Свои отношения с Аленой Ивановной он не афишировал, но и не прятался по углам: взрослые люди – они строили жизнь по своему разумению, но он понимал, что ему, офицеру войск НКВД, эта связь со спецпоселенкой могла изломать и карьеру, и жизнь. Но Семен Семенович был человеком не робкого десятка, а поселок их находился в такой глуши, что никакая комиссия по такому незначительному поводу не поехала бы сюда, тем более, явных врагов ни у Попкова, ни у Алены Ивановны не было, а те мелкие доносы, что от случая к случаю уходили в исправительно-трудовой лагерь или окружную комендатуру от Зубастика, своевременно гасились Морозовым и Шишкиным. Как всегда, раз в неделю, в банный день, который, как правило, падал на субботу, Алена Ивановна не приходила ночевать в свой барак, под предлогом того, что остается прибраться в бане и комендатуре. Прежде чем определить для себя такой образ жизни, она серьезно поговорила с сыном и невесткой.

– Никита, Марта, осуждаете меня, наверное?

Ответа не последовало, но оба они стыдливо отвели глаза в сторону, не решаясь встретиться с взглядом Алены Ивановны.

– ...Сынок, когда жизнь Егорки была под угрозой, ты сказал: мама, надо идти к коменданту... Ты взрослый мальчик, ты, наверное, знал,

что может последовать за этим моим обращением, тем более Семен Семенович не скрывал да и сейчас не скрывает своих чувств... Он ведь и жениться предлагал мне не раз... Я не соглашусь, потому что для него это будет конец. Худобедно, а все же нам жить чуть легче, чем другим: лекарства какие-никакие, продукты, что Семен Семенович иногда вам передает, баня, теплые вещи, комнату в бараке получили по первой очереди. А в самую стужу не только детей, но и вас он допускал в баню на ночлег... Не надо грешить на него, а если меня судить будете... Киньте камень, коль рука подымется... Почти сорок лет прожили мы с Гордеюшкой душа в душу, но призвал его Господь к себе. Хорошо бы и мне с ним в один час умереть, да не случилось – видать, я вам еще здесь нужна. Да вон Варю, Яшкину внучку, теперь растим, твоего Егорку... Что же, осудите теперь свою мать? Только поймите, что не блуд это... Тебе, Никита, трудно понять, ты мужиком родился, а вот Марта должна уразуметь, насколько легче жить, когда рядом есть верный и добрый человек... вот, как ты, Никита для нее...

– Алена Ивановна... майн мутер... – Марта сильно волновалась, и потому путала русские и немецкие слова. – Я все понимаю... Никита тоже понимаю... Мы плохо не думаем... мы любим вас. Я молюсь за вас сразу двум богам...

В один из банных дней Попков надолго за сиделся в своем кабинете. Алена Ивановна, в белой рубаше и юбке, сушила волосы, сидя в спальне на диване, не смея мешать Семену Семеновичу. Оба окна были плотно завешены темными посконными одеялами, дабы сокрыть от любопытных глаз, и прежде всего недобрых глаз Зубастика, ночные секреты комендатуры. Как ни пытался тот скрыть свой интерес к жизни коменданта, а проведал-таки Семен Семенович о его бдениях под окнами и принял соответствующие меры предосторожности: стал закрывать их на ночь, но, посчитав, что этого недостаточно, он строго поговорил со своим помощником, после чего тот недосчитался еще двух зубов. А напоследок Попков пригрозил отправить его в лагерь к Морозову на общие работы. После десяти вечера он вообще запретил ему появляться в кабинете без вызова, определив только три случая, когда тот может его побеспокоить в неурочное время: смерть кого-либо из спецпоселенцев, побег или прибытие в поселок начальства. Такие же условия были им предъявлены жуликоватому

председателю сельсовета. Кисло усмехнулся Никишин и отбыл в свое строение, в сельсовет, а вслед за ним торопливой походкой засеменял Зубастик. Казалось, теперь у них появились общие интересы...

– Аленушка, что ты от меня прячешься?.. Подь-ка сюда...

– Семен Семенович, полночь скоро, а ты все с бумажками своими. Спать-то когда?

– Эх, Аленушка, похоже, на том свете только и отоспимся, – ответил Попков, входя в спальню. Он был в галифе, в белой нательной рубашке, босой, в руках у него был листок с текстом. Присев к ней на диван, он протянул его ей. – На-ко вот посмотри, все ли здесь правильно?..

Женщина медленно разбирала написанное: Барбашова Мария Гордеевна... 1898 года рождения... г. Сталинск... муж – инженер...

– Что это, Сема?

– Понимаешь, в 1935 году, еще до того, как я здесь появился, из УНКВД по Запсибкраю в окружком было направлено директивное письмо, где говорилось о необходимости... избавляться от нетрудоспособного контингента...

– Ой, это как же? Убивать, что ли? – испугалась Алена.

– Ну что ты... До этого еще не дошли, хотя... М-да... Так вот, если у спецпоселенца, старого, больного, кто не может приносить пользу здесь, имеются родственники там... на большой земле, то мы должны списаться с ними и отправить таких поселенцев туда – пусть они их сами кормят, лечат... Я дважды посылал запросы на твою дочь, и оба раза приходил отказ: «Запрашиваемое лицо в данном населенном пункте не проживает... Место нахождения его установить не предоставляется возможным...». Почему так? Я уже и ЗАГСы запрашивал: может, фамилию поменяла, а может, тьфу-тьфу-тьфу, померла ненароком.

– Семен Семенович!.. – горячо возразила Алена.

– Аленушка, я же три раза сплюнул, чтобы не спазить. Все ли правильно в этой записке: фамилия, адрес?..

– Написано-то правильно, а вот где она сейчас, я не знаю.

– М-м-да... – Попков озабоченно почесал затылок. – Тогда только одно может быть: если они отказались от тебя и по их просьбе выставили «сторожок» на почте, на предприятии, где они работают, в ЗАГСе...

– Что ты такое говоришь, Семен!.. Неужто Маша посмела бы...

– Алена Ивановна, ты многого не знаешь в этой глуши. Это сплошь и рядом сейчас там, на Большой земле. Отказываются публично: на собраниях, в газетах, по радио...

– Какой стыд!.. От родных людей?! Не по-человечьи это, не по-божески...

– Э-э, милая моя, какой тут Бог? У нас ведь страна воинствующего атеизма: религия – опиум для народа... церкви закрываем, попов в тюрьму сажаем, а то и вовсе к стенке ставим. Тут и сам от себя откажешься!..

– Вот какие дела там творятся?.. А мы-то тут все в своих заботах завязли и ничего не знаем.

– А может быть, это к лучшему? Недавно был в Колпашево, так Шишкин шепнул на ухо, что какой-то страшный приказ пришел из Москвы, особо секретный... Много людей он погубит! А вы здесь все целее будете, я так думаю...

– Да неужто кому-то еще мало той крови, что в гражданскую пролилась, да сколько людей по тюрьмам распихали...

– Эй, гражданка Кузнецова, не так смело и не так громко! – строго, но с улыбкой перебил ее Попков и, подойдя к окну, отвернул за край посконину и заглянул через стекло в ночную тьму. – Ты что так развоевалась? Филька везде нос совал, а тут еще этот Никишин... Осторожнее надо быть, Алена Ивановна, и сына строго-настрога упреди...

И вот что еще: попробую я Марту устроить чикировщицей в лагерную контору... Все легче, чем с топором сучки рубить да кору скоблить... Опять же, ей продпаяк будет идти...

– А что же это за работа такая, Сем?

– Учетчица, значит... с лагерным десятником будет ездить на лошадке по бригадам, помечать и учитывать заготовленный лес – все не общие работы... Морозов обещал помочь...

– Ну, дай-то бог, а то она совсем с лица сошла... худая очень...

– Да, что ни говори, а то верно: что русскому хорошо, то немцу смерть! Это русские бабы у нас такие... пышечки!.. – и он обнял Алену за талию, прижался к ее плечу.

– Хотел я, Аленушка, отыскать твою родню и отправить тебя туда с детьми, да, видно, не получится... С кем я-то останусь тут, а?.. – он продолжал обнимать женщину правой рукой, а левая уже нырнула в широкий проем рубашки и ласково сжала ее большую красивую грудь.

– Семен Семенович, – чуть отстранилась она от него, – не надо... вдруг кто-нибудь увидит?..

– Да кто ж увидит?! Дверь закрыта, окна занавешены, все делаю молчком, а ты боишься, хотя сама во весь голос говоришь такие слова! Ну, дай я поцелую твою титечку, и спать будем...

– Вот ляжем спать – поцелуешь... а может быть, еще что-нибудь получишь... – голос ее звучал томно, глаза зазывно блестели в отсветах керосиновой лампы.

– Все! К черту дела – спим! – он отправился в кабинет, но в дверях остановился и спросил:

– Алена, а может быть, у тебя есть еще родственники, к которым тебя можно отправить? Подумай?..

– Избавиться хочешь?.. – с улыбкой спросила Алена. – Не получится...

Пока мужчина звенел ключами металлического шкафа и проверял засов двери, Алена успела подумать: не дать ли сведения о Федоре Михайловиче Кузнецове... Он, должно быть, теперь большой начальник, но она не знает его адреса, и потом, как Семен уже не раз говорил, что повально идут аресты генералов, партийных секретарей и других разных начальников... Не навлечет ли на Федора беду ее признание и письмо, которое уйдет отсюда, из большой таежной тюрьмы? О нем она сразу ничего не сказала, а теперь, наверное, и вовсе надо молчать... Есть еще Вера... Вот ее пусть попробует найти Семен Семенович, когда станет поспокойнее... Ее мысли прервал веселый голос коменданта: он уже затушил лампу в своем кабинете и теперь, весь в белом – рубаха, кальсоны – готов был загасить лампу и в спальне:

– Готовы ли вы, гражданка Кузнецова, дать необходимые следствию показания во время ночного допроса?

– Такому следователю я готова отдать все и на всю ночь... – она встала с дивана и подошла к кровати.

– Тогда... – оставив лампу, он быстрыми шагами подошел к ней, подхватив ее рубаху за полы, махом обнажил тело женщины и, зарываясь лицом в ее тяжелые и теплые груди, прошептал с плохо скрытым восторгом. – Ты и сейчас красавица, Аленушка, а какой же ты была в двадцать, в тридцать лет?!

– Боюсь, что сейчас тебе уже никто об этом не скажет... Потуши лучше свет...

– Пусть он будет... Я хочу видеть тебя в самый сладкий миг...

– Что ж, смотри, Сема, смотри на мое бабье лето...

...Уже неделю Федор находился в Томске. Простившись с Войтманом в Юрге, он поспешил сюда, чтобы отыскать следы Алены и своего сына, и очень надеялся на помощь старых товарищей-чекистов, но таковых не нашел, ни одного. Похоже, новые времена делали тщательную зачистку всему тому прошлому, что мешало им в дне сегодняшнем, и первыми жертвами этой зачистки становились те люди, которые не соглашались и противились той паранойе страха и жестокости, что насаждалась властью.

На все его вопросы работники Томского ГО НКВД отвечали с непроницаемыми каменными лицами: данной информацией не располагаем, поскольку вопросы размещения спецконтингента возложены на окружные исполкомы, в данном случае – на Нарымский окружной исполком Советов, который находится в Колпашево... Обращайтесь туда либо в Новосибирск, в исполком Совета Западно-Сибирского края... Даже его офицерское удостоверение не помогло. Узнав, что вопрос касается выселенных из Кузнецкого округа, кто-то ему посоветовал обратиться в горисполком, к товарищу Карманову, который долго работал в тех местах и по роду работы до сих пор связан с Кузбассом.

Николай Николаевич Карманов принял Федора на удивление радушно. Усадил за стол, предложил чаю, папироску, но, получив вежливый отказ, приготовился слушать посетителя, излишне нервно поправляя черные роговые очки на крупном носу.

– ...Да-да, бывают у нас ошибки, к сожалению, но сами видите, какая обстановка, какая классовая борьба... – так он отозвался на рассказ Кузнецова. – Я много лет работал в округе, кстати, в Урском бывал, только вот вряд ли смогу вспомнить... э-э, Кузнецову Алену и... Кузнецова Никиту... Сколько ему, говорите? Тридцать один?.. Ну, тогда он еще ребенком был и на собрания не ходил... Не совсем мой профиль... Мой сектор курирует ход организации колхозов на новых землях...

– ...В Нарымском округе тоже?.. – мрачно спросил Федор.

– Да-да, и там тоже... Но через смежников попробую узнать о местонахождении... э-э...

Кузнецовой Алены Ивановны, Кузнецова Никиты Гордеевича и...

– Вот здесь я указал их имена, год рождения, дату высылки... – Федор положил на стол измятый листок.

Карманов, поправив очки, взял его и принялся изучать.

– Так...так... все понятно... День-два, я думаю, займет эта работа... Вы где остановились, в гостинице?

– Свободных мест там нет даже полковнику... Я снял комнату...

– Ах да... У нас же проводится слет колхозников, совсем забыл... А вы напишите свой адрес вот здесь, на бумажке... Вдруг вопрос раньше решится – я вас сразу найду...

После некоторого раздумья Федор черкнул адрес: Партизанская, 7.

– О-о, я знаю, где это... совсем недалеко от почтамта...

...Едва за Федором закрылась дверь, как Карманов поднял трубку телефона и набрал номер городского отдела НКВД...

После разговора с Кармановым Федор на какое-то время воспрял духом: он поверил, что наконец-то ему удастся найти след сына и любимой женщины, а уж тогда он приложит все свои силы, чтобы изменить их судьбу к лучшему...

Холодный порывистый ветер с самого утра бесчинствовал, разметая по грязным улочкам города накопившийся мусор, загоняя собак в подворотни и удерживая людей от праздных прогулок. Но после полудня, словно устав от собственной вольности, он вдруг затих, и низкое свинцовое небо обрушило вниз море дождя и снега. В один миг крыши домов, сараев, купола церквей, их стены и заборы преобразились, как будто по чьей-то недоброй воле были небрежно облиты грязно-белой краской.

Длинная военная шинель Федора быстро прогрузнела от влаги и не позволяла ему идти быстро, летняя же офицерская фуражка, даже накрытая башлыком, также промокла и совсем не спасала голову от холода. Улицы города были темны, и только там, где были магазины, рестораны и какие-то другие казенные учреждения, становилось светлее от их ярко освещенных окон. Еще днем Федор вдруг открыл для себя, что старинный город купцов и ученых готовится к празднику – к 20-й годовщине Великой Октябрьской революции. Кумачовые флаги, флажки,

плакаты и транспаранты напоминали горожанам о приближающейся дате, призывали теснее сплотить ряды вокруг партии Ленина – Сталина и дать отпор всем внешним врагам молодой Советской республики. В дневном свете они смотрелись весело и призывно, сейчас же, в ноябрьских сумерках, они выглядели мрачно, а, напившись за день небесной влагой, при каждом случайном порыве ветра гулко хлопали в темной вышине, вызывая какое-то беспокойство...

Оглядевшись по сторонам, он понял, что стоит напротив входа в городской почтамт. В поздний час улица была пустынна, но все окна первого этажа зазывно светились в осенней тьме. И вдруг ему захотелось позвонить в свою часть, услышать знакомый голос дежурного офицера, расспросить о делах товарищей, поговорить с Артемом Дымбой... Он понимал, что за то время, что отсутствовал в части, пароли не раз изменились и ему придется звонить на общих основаниях и за свой счет, как простому гражданину Советского Союза... А что в том плохого?..

Федор глянул на часы: скоро на Дальнем Востоке начнется новый день... Что ж, для солдата служба не кончается ни днем, ни ночью... С третьей попытки отозвался коммутатор центра оперативной связи армии.

– Алло, здравствуйте, это Владивосток? Центр связи?..

– Да, я – «третий», слушаю вас?..

– «Третий»? Катя, это вы?..

– Ой, кто это?

– Катюша, это полковник Кузнецов...

– Ф-федор Михалыч?..

Кузнецов слышал, как дрогнул голос девушки, но отнес это на то, что звонок его был совсем неожиданным для нее.

– Катюша, как там наши дела? Что нового?

Смятение девушки только усилилось. Не желая ее смущать и тратить драгоценное время междугородней связи, он попросил соединить с дежурным офицером его дивизии. В трубке что-то щелкнуло, и послышался бодрый мужской голос:

– Дежурный офицер по штабу дивизии капитан Неёлов...

– Неёлов? Вы давно в дивизии, капитан Неёлов?.. Мы не знакомы...

Теперь пришла очередь пребывать в смятении Федору: более сотни офицеров в его дивизии, и любого он узнал бы сейчас по голосу, но Неёлов?..

– Кто говорит, представьтесь, пожалуйста?!

– Говорит полковник Кузнецов... начальник особого отдела дивизии... – сделав небольшую паузу, он выдохнул в трубку, – я сейчас в лечебном отпуске...

– М-м... товарищ полковник... – голос его осекся, а потом вовсе пропал, но какой-то фон шел по проводам с Дальнего Востока в центр Сибири. Федор понял, что капитан закрыл ладонью трубку и с кем-то разговаривает...

«Что за чертовщина!.. Как он разговаривает с полковником?! Этого сопляка надо учить вежливости...» – сердито подумал Федор, ожидая, когда наконец прорежется голос офицера.

– Алло, алло, товарищ полковник... Вы откуда говорите? Из какого города?..

– Алло, капитан, вы не хотите выслушать старшего по званию?!

– Из какого города вы звоните? Где вы находитесь?..

– Послушайте, капитан, что вы себе позволяете?.. Немедленно прекратите валять дурака...

– В каком городе вы находитесь, товарищ полковник?..

Федор с недоумением отставил от себя трубку и посмотрел на нее: оттуда продолжал звучать только один вопрос – в каком городе вы находитесь?.. Раздался щелчок, и теперь он услышал зареванный голос телефонистки коммунатора Кати Васильевой:

– Федор Михайлович, миленький, вы живы?..

– Катя, что с тобой? Что случилось?.. Соедини меня с квартирой комдива Семенова!..

– Его нет, Федор Михайлович... его взяли по линии НКВД...

– А-а... дай мне Шубина, Катюша, Николая Шубина!..

– Его тоже взяли, Федор Михайлович, и вас ищут...

– Как?! – на мгновение он застыл в ступоре, но, собрав всю силу воли, стараясь говорить как можно более спокойно, продолжил, – Катюша, не реви... это недоразумение... Все образуется... Найди мне командира роты Артема Дымбу... Ему должны были поставить телефон на квартиру...

– Федор Михайлович, миленький, комбат Дымба застрелился...

В трубке раздалась громкая мужская голова... и связь прервалась.

Окаменевший от услышанного, Федор несколько минут стоял с трубкой, из которой неслись короткие гудки, но он их не слышал... К его

кабинке подошла девушка, служащая главпочтамта – белый верх, темный низ, – и вежливо попросила:

– Товарищ командир, ваш разговор закончен, пожалуйста, трубку... Нельзя занимать линию...

– Да-да... – машинально проговорил Кузнецов, повесил трубку и стремительно вышел из здания почтамта.

На улице было совсем темно, но непогода заметно поутихла. «Вас ищут!.. Вас ищут!..» – словно карусель, вертелась у него в голове слова далекой несчастной Катюши... Федор был уверен, что ее уже ведут в камеру, а завтра арестуют... «Бедная Катя! Что же ты наделала!..» Машинально он окинул улицу, стараясь отыскать скромную и зловещую фигурку того, кто охотится за ним, за его жизнью. Нет. Наверное, еще не приставили... или потеряли след... Где-то он прервался, но где?.. А впрочем, разве это важно? Сколько времени у меня есть? Час-два? Как раз столько и прошло после разговора с Кармановым... Карманов... Карманов... Где-то я слышал эту фамилию, но где, где?! А ведь это Кутько тогда сбежал из Гурьевска... к Карманову... 1922 год! Пятнадцать лет прошло, потому и поистерлась эта фамилия в его памяти... Кутько – это же главный палач Гордея и Алены... Вот она, эта цепочка: Владивосток – Гурьевск – Томск... Можно отправиться отсюда прямо на вокзал, но он может быть уже перекрыт... Да и с чем туда идти: деньги, вещи – все на квартире... там же, в чемодане, наградной маузер... Как же хотел все это взять с собой, да в последний момент оставил – неудобно ходить в госучреждении с кошелками... Эх ты, балбес старый! Полтора часа!.. Может быть, еще не успели засаду выставить у дома?.. Все-таки провинция здесь, а не столица, пока согласуют. Все равно без денег и документов нельзя уходить. Рисуем, Федор?! Думай! Решай!.. – такие вопросы он мысленно задал себе, и ответ на них нашелся на удивление быстро: рисуем!.. Он быстрыми шагами направился в утлomu, заметно покосившемуся домику, который на несколько дней приютил его...

...Избушка Матрены Божиной находилась в конце улочки. За его задами открывался пустырь, а соседский дом, похоже, был давно оставлен жильцами: калитки в оградке не было, дверь в сенцы была открыта настежь, а стекла в

окнах были разбиты. Федор нырнул в брошенный домик и уже оттуда внимательно осмотрелся вокруг: калитка бабкиной оградки закрыта, следов вокруг нет, а на кухонке едва светился огонек: не спит бабулька. Не теряя ни минуты, он бросился в дом.

– Федор Михалыч, – встретила его хозяйка у порога, – такая непогодь, а ты где-то гуляешь? А я только поснидала да вот оставила тебе картошечки, огурчики соленые, чай... Ежели хочешь, самогоночка есть... С холоду-то в самый раз будет...

– Спасибо, тетка Матрена! Некогда, спешу я... Никого не было?

– Да путние-то люди в такую погоду дома сидят... Не было никого. Разболокайся да покушай...

Федор стремительно покидал вещи в свой чемоданчик, с усилием надавил на крышку и щелкнул замками.

– Ну, тетка Матрена, я пошел... Спасибо тебе за приют... Вот деньги... уезжаю я...

– Ой, да куды ж ты в ночь-то, утром бы поехал...

– Конечно, было бы лучше утром, да уж как получилось... Прощай, хозяйшка!.. – он открыл дверь избы, которая из-за отсутствия сеней выходила прямо на улицу, в оградку, и уже шагнул было за порог, но затем спешно захлопнул дверь, задвинул засов и вернулся в горницу.

– Чтой-то передумал, Федор Михалыч? И то правильно...

– Передумал, тетка Матрена... Деваться мне просто некуда, потому и передумал...

Лишь на мгновение Федор открыл входную дверь и увидел, как у Матрениной оградки остановилась черная легковая машина, из которой энергично стали выбираться мужчины в длиннопольных пальто. Кто-то из них был в шляпе, кто-то – в кепке... Федор знал, что такой дружной компанией на авто по ночам ездят только энкавэдэшники, и цель у них одна – арест очередной жертвы! Вот ты и дождался, Федор Михайлович, такого горячего внимания к своей персоне! В конце концов, не за бабкой же они приехали на этот пустырь?! Да-а, кажется, «...последний парад наступает!..».

– Вот что, тетка Матрена, прости, что так получилось, но, видно, тебе придется уйти отсюда... не мне, а тебе...

– Чтой-то так?.. – голос старушки дрогнул, глаза распахнулись во всю ширь.

– Архангелы пришли за мной, а я не хочу к ним в гости... Будем разговаривать с ними... – пока Федор разговаривал с хозяйкой, он вынул из кобуры револьвер, а потом достал из чемодана именной маузер, проверил наличие патронов и, кинув уже не нужный чемодан на лавку, где он успел провести несколько ночей, подошел к столу, на котором оставались остатки хозяйкиного ужина. – А что, тетка Матрена, где твоя самогонка-то, подавай ее сюда!..

С ужасом смотрела старая женщина на своего вооруженного квартиранта, а вместо ответа на вопрос только махнула рукой в сторону старого буфета, что занимал целый угол. Вынув оттуда бутылку, заткнутую тряпицей, он вылил ее содержимое в алюминиевую кружку и залпом выпил.

– Ну а теперь, тетка Матрена, выходи на улицу и кричи как можно громче, чтобы тебя по ошибке не подстрелили, а здесь тебе оставаться нельзя...

Он открыл дверь, подтолкнул старушку на улицу и тут же задвинул засов. В то короткое мгновение он заметил свет фар еще одной подъехавшей машины...

Оказавшись на улице, старушка взревела благим матом и бросилась навстречу мужчинам, которые направлялись к ее калитке.

– Что орешь, старуха?.. – спросил мужчина в черном пальто и шляпе. – Сколько их там?

– Ой, родненькие, один он там, совсем один...

– Оружие есть у него? – подал голос другой, в кепке.

Бабка Матрена испуганно мотнула головой и промолчала.

– Ладно, Петро, ты еще спроси старуху, какое у него оружие... В телеграмме же было сказано: револьвер и именной маузер...

– Это серьезно!.. А про патроны там ничего не было сказано?

– А вот про патроны в телеграмме ничего сказано не было... А ну, бабка, беги отсюда, если жить хочешь! Стой, скажи еще, за входной дверью есть еще какая-то дверь или там у тебя горница?

– Горница у меня там и куфня...

Из второй машины вышли еще четверо. Старший лейтенант в форме НКВД, руководитель группы захвата, приложив к губам рупор, прокричал:

– Кузнецов! У нас имеется ордер на ваш арест!

В случае сопротивления имеем полномочия при-
менять оружие на поражение!..

Покосившийся домик бабки Матрены мол-
чал, но это молчание вовсе не было знаком со-
гласия...

...Более часа дальняя оконечность улицы
Партизанской оглашалась выстрелами. Во всех
близлежащих домах одновременно погасли ог-
ни, а в соседнем заброшенном домике, сидя на
грязном полу у окна с разбитыми стеклами, си-
дела изгнанная из своего дома старушка. Она
беззвучно плакала, крестилась и шепотом при-
говаривала:

– Помоги ему, Господи!.. Спаси и сохрани!..

Но Бог не мог спасти того, кто от него от-
рекся...

Энквэдэшники действовали по всем прави-
лам тактики ареста: дом был окружен, посторон-
ние люди были выведены из зоны боевых дей-
ствий, дело оставалось за малым – выкурить
несговорчивого полковника из избышки и аресто-
вать. Поняв, что без боя Кузнецов не сдастся,
лейтенант приказал стрелять на поражение.
Прижавшись к стенам, его сотрудники через ок-
на вели огонь по несговорчивому офицеру, и на
каждый его выстрел в ответ раздавалось пять-
шесть. К концу первого часа четверо нападав-
ших недвижно лежали на снегу, а лейтенант по-
носил своих подчиненных на чем свет стоял:

– ...Мать вашу!.. Говорил же, что надо взять
гранату!..

– Иван Семенович, да оружейка была закры-
та... Рабочий-то день закончился уже...

– А может, нам дом поджечь? Поди высокочит... не захочет жариться...

Избушка ответила тишиной. Сначала у Федо-
ра закончились патроны в нагане. Отбросив его
в сторону, он взялся за наградной маузер. Сколь-
ко их еще на улице? Три? Пять? Шесть? А у него,
Федора Кузнецова, осталось всего двенадцать
патронов...

Потом они снова пошли на приступ, и снова
началась стрельба. Еще двое упали наземь, об-
ливаясь кровью, но и Федора достали вражьи
пули: одна пробила левое плечо, но это не ме-
шало ему метаться по избе от окна к окну, отби-
вая атаки, но вторая пуля попала в живот. Пре-
возмогая страшную боль, Федор отполз к стене,
что находилась напротив входной двери. Окно
кухонки находилось от него слева. И окно, и

дверь он держал на мушке. Дверь закрыта на
крючок, а вот второе окно, что находилось в гор-
нице, было скрыто от него стеной. Он знал –
именно оттуда они и придут...

Вдруг наступило затишье. «Неужели они
ждут подкрепления?.. – подумал Федора. Силы
стремительно покидали его израненное тело, но
мозг работал ясно. – ...У меня осталось два па-
трона, но один из них – мой, значит, остался один
патрон... Живым в руки я не дамся...». Федор
знал, с какой изощренной жестокостью мучили
своих бывших коллег в стенах НКВД, и потому
самоубийство – лучший и самый легкий выход
из данного положения. Устав держать навесу тя-
желое оружие, Федор опустил длинный ствол
маузера на пол: появившись кто-то из соседней гор-
ницы, он успеет поднять ствол и выстрелить, но
ведь потом надо найти силы и для себя... «Что
же вы, касатики, примолкли?.. Поторопитесь...
мне некогда ждать...». Казалось, он подсказы-
вал своим врагам план дальнейших действий,
но в душе боялся, что эта пауза затянется слиш-
ком долго, что силы оставят его совсем и он по-
теряет сознание...

...В горнице раздался шум и какое-то кряхте-
нье: кто-то пытался через маленькое оконце
проникнуть в горницу... За дверью послышались
приглушенные голоса, а сам крючок нервно дер-
нулся в своей петле.

– Ну, вот и все!.. – Федор поднял маузер с по-
ла, ожидая, откуда появится его очередной враг,
из горницы или из входной двери? Сил совсем
не было, взгляд его туманился, а на полу под
ним растекалась кровавая лужа...

– Бросай оружие!.. – в дверном проеме гор-
ницы появился небольшого роста человек с на-
ганом в руке, но выстрел Федора уронил его на
пол. В это самое время от сильного рывка вход-
ная дверь слетела с петель, и в дверном проеме
появился еще один человек, совсем молодой па-
рень, лет двадцати. Он шагнул в избу, но увидел
направленный на него ствол маузера и замер.
Он понял, что выстрелить в лежащего на полу
человека он уже не успеет, и потому застыл в
ужасе, ожидая рокового выстрела.

– Уходи... – слабым голосом прошептал ему
Федор. – ...молодой ты еще... живи...

Громко вскрикнув, парень, не поднимая на-
гана, стал отступать назад, и вскоре исчез.

– Ты что делаешь? – раздался на улице ис-
теричный голос лейтенанта. – Почему не стре-
лял?..

Этот крик оборвал выстрел, что прозвучал в избе. Последним усилием воли Федор приставил маузер к подбородку и выстрелил. Он не хотел убивать молодого паренька, так неуклюже выскочившего к нему на мушку, но еще больше он не хотел попасть живым в руки своим бывшим коллегам, а патрон-то был последний...

...Утром в УНКВД по ЗапСибкраю ушла секретная депеша: «5 ноября с. г. около 22 часов силами Томского ГО НКВД была предпринята попытка арестовать полковника Кузнецова Федора Михайловича, начальника особого отдела дивизии Дальневосточного фронта. Потери группы захвата составили шесть человек, два сотрудника получили ранения. Кузнецов застрелился из наградного оружия («Маузер»). Начальник ГО НКВД ...»

* * *

Сдержал слово Попков, и в последние дни лета Марта Кузнецова приступила к новой работе. Также рано утром вместе с другими жителями поселка отправлялась она за три километра в контору лагеря, да только теперь она этот путь проделывала не пешком, а на телеге с Зубастиком. Там пересаживалась на двуколку к главному учетчику-счетоводу Кареву Владимиру Филимоновичу, и уже вдвоем они объезжали все лагерные делянки, замеряя объемы заготовленного леса и его качество. Работа несложная, и Марта быстро ее освоила. Владимир Филимонович, бывший главный бухгалтер одного из уральских заводов, был мужчина пенсионного возраста. Седой, с благообразной бородой, он был медлителен в разговоре и движениях, держал спину прямо, словно за ней у него было не бухгалтерское кресло, а служба в кавалергардском полку. Как бы то ни было, но Марта за несколько месяцев работы заметно посвежела, а ее руки стали отдаленно походять на руки тех немецких фрау, каких она видела в детстве на родине и теперь часто вспоминала в суровые сибирские вечера.

Благоденствия коменданта в адрес семейства Кузнецовых на этом не закончились, и уже в октябре Никиту перевели из лесорубов в десятники, вместо погибшего под нечаянной сосной предшественника. Теперь он редко брался за топор и пилу, все больше контролируя работу двух участков, закрепленных за ним, следил, чтобы вовремя отправлялся лес на склад и вместе с лагерными учетчиками не допускать «туфты», другими словами, приписок при заготовке

леса. Последнее было делом нелегким, поскольку приемкой леса на складах, как правило, занимались уголовники, ни в грош не ставившие «политических» и «спецпоселенцев». Ненароком Никите удалось подслушать разговор двух эков на складе, из которого он понял, что группа уголовников в ноябрьские праздники готовит побег, а все необходимое для этого – продукты, оружие, теплые вещи – хранятся в схроне у Большой рогатки. «Большая рогатка» – так лагерники прозвали две большие сосны, имевшие один общий корень: стоят они посредине небольшой полянки, напоминая двух мальцов, рассорившихся и отвернувшихся друг от друга. Дважды он услышал кличку их главаря – Колесо... А позднее ему пришлось познакомиться с ним самим...

Колесов сразу узнал Никиту и, ухватив за рукав телогрейки, потянул в сторону.

– Здоров, землячок!.. Вы что же, всем селом сюда переехали?.. Чуваш где-то здесь болтался, теперь ты?.. – рослый Колесов смотрел на коренастого и низкорослого Никиту снисходительно. – Где твой мордатый, что-то давно его не видел?

– Погиб Яшка... Нет его... – ответил Кузнецов.

– Ага... Так, слушай сюда, десятник, если ты хоть рот разинешь, что мы где-то с тобой встречались, не дай бог, вспомнишь, что я у вас председателем был – сдохнешь, и могилку твою не найдут! Видишь, сколько тут деревьев? Закопаем, даже НКВД не найдет, понял? А вот еще чикировщица тут появилась, молоденькая немочка, Мартой зовут, не твоя женушка?

Услышав эти слова, Никита оцепенел от страха, затем с трудом проговорил:

– Серафим Иванович, не тронь Марту!

И так велик был страх за жизнь любимой женщины, что даже матери Никита не сказал ни слова о встрече с Колесовым, решив для себя: сбегут уголовники вместе с Колесовым, и ничто не будет угрожать ни ему, ни его любимой Марте. Но все случилось совсем иначе...

Накануне праздника всех бригадиров лесорубов, десятников, кладовщиков – всех, кого по лагерной традиции называли «придурками», собрало лагерное руководство. Совещание затягивалось, а на складе готовой продукции в ожидании своего бригадира Колесова скучали его помощники – Филя и Рафаил. Впрочем, скучали они недолго, потому что Рафаил вдруг предло-

жил товарищу невесть откуда привезенную бутылку денатурата...

Ноябрьский день, по-зимнему короткий и холодный, клонился к вечеру, небо, закутав солнце в темные тяжелые облака, с каждой минутой серело, а вслед за ним все более угрюмыми становились деревья, кусты, и даже белый снег, надежно укрывший уже остывшую землю, в сумерках выглядел мрачно. Загулявшие кладовщики с нетерпением ждали повозку с лесом, чтобы вместе с ней вернуться в лагерь. Возвращаться пешком они не хотели. Голодные, промерзшие за день пребывания на морозе, Филя и Рофа, как его звали в бараке, от выпитого совсем осовели, а последний, путая русские и татарские слова, все порывался куда-то идти, кричал про предстоящий побег... Опасливо озираясь, Филя тщетно пытался урезонить дружка, и оба они не заметили, как на санях к их будке подъехали учетчики-чикировщики, Карев и Марта. Послушав какое-то время их пьяные разговоры, Карев крикнул, чтобы пригласили бригадира. Оставив беснующегося татарина, Филя вышел к приехавшим и вкрадчиво спросил:

– А что, господа кулаки, давно вы здесь и что тут делаете?..

– Рабочий день еще не закончился, а вы тут пьянку устроили?

– А тебе чо надо, старик? – кричал Рофа, появляясь на пороге будки.

– Филимон, где ваша дневная сводка об отгруженном лесе? И почему бревна не укладываете в штабеля? Как же мы будем вести их учет?

– А нам плевать, старик!.. – надсадно кричал Рофа. – Мы скоро линяем отсюда и нам эти бревна по х..!

Филя не успел остановить товарища и в досаде ударил его кулаком по лицу, опрокинув на снег.

– Продад, паскуда!

Поняв, в какую ситуацию они с Мартой попали, Карев дрожащим голосом пытался урезонить уголовника:

– Филя... Филимон... Мы ничего не слышали... Это пьяный бред, я понимаю... Филимон, не надо!..

– ...А если надо, то давай... – со зловещей улыбкой верзила наступал на старика, и в его руках тускло сверкнуло лезвие ножа.

– Филимон, не бери греха на душу!.. Это же новый срок...

– Да на мне столько грехов, что они для меня как забава...

– Филимон, ладно, я старый человек, но Марта... она молодая женщина... у нее дети...

– Нет, старик, поздно...

Он рванул Марту за рукав, вытащив ее из-за спины старика. Тот бросился ей на помощь, но в это время Филя всадил ему нож в шею по самую рукоять. Сдавленно кашлянув, учетчик повалился на бок, а Марта истошно закричала, но даже эхо не отозвалось на ее крик о помощи... Подхватив женщину под руки, бандиты поволокли ее в будку. Уверенные, что на склад уже никто не приедет, Филя и Рафаил позволили ей кричать и даже упивались ее стонами...

А между тем к будке неслышно подъехали сани с бревнами. Два престарелых возчика быстро их отвязали. Услышав стоны из будки, один из них пошел к ней, но у крыльца увидел лежащего в крови учетчика и в страхе отпрянул:

– Микола, вертай лошадь, тикаем!..

– Стой, суки! Куда?!.. – несло им вслед.

Дорога с лесного склада в лагерь проходила мимо Шишкино, и, когда обезумевшие от страха старики-возчики поравнялись с поселком, Микола закричал своему напарнику:

– Гони в комендатуру... До лагеря еще пилить да пилить, а здесь телефон есть...

...Рабочие уже вернулись в поселок с делянки, отовсюду неслись голоса, слышно было, как поселенцы рубили дрова, чтобы готовить себе вечернее варево. В комендатуре за столом сидел Попков, у двери на табуретке – Зубастик. В дверь постучали, и вошел Никита Кузнецов.

– Семен Семенович, вы давно из лагеря?

– Да около часа уже... Совещание закончилось, а что?

– Марты нет... Вы ее там не видели?..

– Нет... Должно быть, они с Каревым задержались на делянке. Волнуешься? Еще светло, подождем, а волки здесь трусливые, не боись... Да садись пока...

– Здесь волки о двух ногах пострашнее бьют, Семен Семенович.

Дверь с шумом распахнулась, и в кабинет коменданта буквально ввалились два старика. Бледные, взлохмаченные, они тяжело переводили дыхание.

– Ну-у?.. – грозно спросил Попков. – Вы что, с хрена сорвались?!

– Гражданин начальник, беда... Там бандиты Колеса озоруют!.. Быстрее надо...

– Что надо? Как это озоруют? Дерутся, что ли?..

Зубастик, слушая возчиков, напрягся всем телом и подался вперед.

– Гражданин комендант, Карева убили, а чикировщицу Марту, видно, насилуют... Орет она благим матом...

Никита вскочил на ноги и бросился к мужикам, встал из-за стола и Попков.

– А вы? Что же вы-то?

Никита что есть силы тряс одного из стариков, а тот со слезами на глазах оправдывался:

– Сынок, милай, да что сделаем, когда их там цельна бригада... Напарника ее убили...

– Карев в крови лежит у будки, лошадь их стоит, – пришел напарнику на помощь Микола. – А в будке баба истощно орет, как будто ее силком дерут...

– Боже мой, Марта!.. – взревел Никита, бросаясь к двери.

– Стой, куда ты один? Сейчас людей пошлем!..

– Некогда, Семен Семенович!..

– Топор возьми под лавкой, Никита!..

Метнувшись к лавке, Никита схватил топор и, уже в дверях обернувшись, крикнул Попкову:

– Семен Семенович, завтра у банды Колеса побег... Вся бригада... Продукты, вещи и оружие они спрятали у Рогатки... Звоните в лагерь!..

Никита с разбегу прыгнул в сани возчиков, принесших страшную весть с лесного склада, и ударил лошадей вожжами...

– Звоню уже... – проговорил Попков, подвигая к себе телефон. – Ну вы, деды, и дали! Ведь это муж ее!.. Как бы его самого там не прибили... Филя, поднимай людей и на склад... – комендант не успел закончить фразу, как на его голову обрушился табурет, который швырнул в него Зубастик, и он рухнул на пол без чувств. Короткими сильными ударами помощник коменданта опрокинул стариков на пол, а затем рванул со стены телефонный провод, разбил о пол телефонный аппарат, после чего выскочил на улицу. Схватив комендантскую лошадь, стоявшую рядом с крыльцом, он рванул в сторону лагеря...

...Никита непрерывно погонял лошадей, направляясь к лесному складу. Его всего трясло, и как заклинание он повторял только одно слово:

– ... Марта! Марта!..

Через полчаса он был уже на месте, но никого там не нашел. Напрасно он громко звал свою любимую женщину, искал ее – на складе не бы-

ло ни души. Уже около часа он находился на территории склада, где работала бригада Колесова и где надругались над его любимой женщиной, но почему здесь так тихо? Где все?..

– Здесь, где-то здесь все это было, вот же следы, вот кровь... Но где же она, где эти подлецы?

Обезумев от горя, он метался с топором в руках в поисках своих врагов, не давая себе отчета в том, что даже случись эта их встреча здесь в глухом таежном углу, что мог бы он сделать этой ораве озверевших от самогонки и издевательств над незащитной женщиной уголовникам? Но эта мысль не шла ему в голову: он хотел найти ее, чтобы помочь ей, спасти, утешить, а их – убить, растерзать, растоптать, но как бы все получилось на самом деле, он не знал. Не знал он и того, что насильники, расправившись со своими жертвами, забросили трупы убитых в сугроб за одним из штабелей, а сами на повозке учетчиков вернулись в лагерь уже по другой, объездной дороге...

Здесь, именно здесь все это было: остатки кострища, запасы дров, окурки самокруток и множество человеческих следов, которые то разбегались веером по всей поляне, то снова сходились у костра и легкой летней избушки, где обычно арестанты хранили инструмент. Проверил: инструмент был разбросан на поляне, но ни одного топора Никита не обнаружил – вооружились, сволочи! А Марта, где она? Почему она не дождалась его, почему она оставила его одного на этой проклятой богом земле?!

И вдруг он себя поймал себя на мысли, что думает о своей жене в прошедшем времени, словно он ее уже похоронил. Но ведь это не так! Она жива, она где-то здесь и ждет его помощи. Он снова заметался по поляне, обежал вокруг огромные штабеля из бревен, но опустившаяся темнота мешала ему, а робкая луна освещала только пятачок перед будкой. Подойдя к крыльцу, Никита уронил топор, со стоном повалился на землю и потерял сознание...

...Сколько он пребывал в небытии, Никита не знал, но очнулся от странного ощущения, что за ним кто-то наблюдает. Осторожно он приоткрыл глаза и увидел стоявшего в нескольких шагах от него зверя. Это была волчица. Шерсть свалявшимися клочками неровно покрывала ее худое тело. Впалые бока и отвисшие соски, едва не волочившиеся по земле, говорили о том, что наступившие холода измотали не только аре-

стантов, но и лесных обитателей. Увидев лежащего неподвижно человека, она подошла к нему, и, когда она уже была готова напасть на него, он вдруг шевельнулся и приподнял голову. Удобный момент был упущен, и волчица боязливо отошла в сторону. Она была слаба и не знала, сможет ли одолеть свою жертву. И даже присутствие рядом ее двух молодых и голодных волчат не придавало ей уверенности.

Никита, быстро оценив ситуацию, выхватил из голенища валенка нож и приготовился к бою. От удара о землю у него сильно болела голова, саднило левую руку, и тупая боль отдавала в спине, но он был готов к бою, возможно, последнему в его жизни. Волчица, казалось, с изумлением смотрела на стоявшего перед ней на четвереньках человека: он ли это был – царь природы, и почему он так жалок и слаб? Что привело его сюда, в таежную глухомань?

Но, похоже, совсем иные мысли одолевали Никиту...

– ...Вот мы и уравнились с тобой, зверюга! Как и ты, я стою на четырех лапах. Нас загнали к вам в лес, но ты свободнее нас, ты можешь уйти отсюда в любое время и в любое место, но куда податься нам, людям? – Никита неотрывно смотрел на зверя, а в голове его сам собой складывался этот безумный монолог. – Неужто в ваши норы и питаться всякой падалью? Я знаю, что волки едят падаль лишь в самом крайнем случае, а мы? Мы готовы жрать все, даже друг друга, что мы и делаем время от времени... О волчище! Возьми меня с собой, дай мне твою свободу! – и, сам того не замечая, он потянулся к ней, пошел на четвереньках, а из груди его вырывался какой-то тоскливый не то стон, не то вой. А эта исхудалая и обессиленная волчица, еще раз бросив недоуменный взгляд на несостоявшуюся добычу, затрусилась в лес по тропе, известной ей одной, уводя с собой свой выводок. Свободный зверь не мог вынести зрелища раздавленного и униженного человека...

...Только на следующий день трупы Карева и Марты нашли за дальним штабелем. Всю ночь вьюжило, к утру их совсем занесло. Всю банду Колесова взяли в ту же ночь в бараке, но сам главарь вместе с Зубастиком успели тайно покинуть лагерь, уведя из лагерной конюшни лучших лошадей...

...Специальная комиссия приехала из окружной комендатуры, чтобы разобраться в об-

стоятельствах данного побега, а работник НКВД, сопровождавший ее, только торопил, задавая один и тот же вопрос: «Кого будем брать?!». Брать должны были Никиту: он, зная о готовящемся побеге уголовников, молчал до последнего... Но Попков научил, что надо сказать на допросе, и его оставили в покое, зато самого Попкова еще долго склоняли на всех совещаниях за... «потерю бдительности... за то, что он не разглядел в своем помощнике врага...», а весной 1938 года пришел приказ о его переводе в Туруханский край Красноярского края с понижением... Рапорт Попкова о выходе на пенсию был оставлен без внимания. В конце марта Попкову из окружной комендатуры пришел приказ: сдать дела преемнику и до 1 мая прибыть на новое место службы...

– Вот и все, Алена Ивановна, как поют комсомольцы: «Дан приказ ему на Запад, ей – в другую сторону...».

– Да мне-то куда не прикажут, но почему тебе не разрешили уйти со службы... Тебе же пятьдесят скоро?

– Проверенные бойцы нужны везде... – кисло усмехнулся Попков. – Меня уже предупредили: откажетесь выполнить приказ партии – против вас возбудят уголовное дело и исключат из партии... а это – лагерь... Об этом Морозов мне давно говорил... Кстати, его тоже сняли...

– И как ты будешь там один, Семен? – Алена с горечью смотрела на мужчину, который стал ей и ее семье опорой и щитом, а теперь, когда ему самому нужна была помощь, ждать ее было неоткуда. – А если бы ты был женат... Жене разрешили бы ехать с тобой?..

– Аленушка, милая ты моя... спасибо тебе!.. Когда я об этом сказал в окружной комендатуре, знаешь, что мне ответили?.. «Лучше застрелись, Попков! Твои шашни мы терпели – глухомань, особые условия работы... Но жениться коммунисту на спецпоселенке?!. Вот так вот, Алена Ивановна... Все решили за нас, но и я тоже решил для себя...

Алене Ивановне его голос показался слишком убитым, и она с беспокойством спросила:

– Что ты решил? Что?..

– Ну-у... Все будет нормально... А один я уже привык – всю жизнь один, и только на излете она подарила мне тебя и три года радости... Помни меня...

– Семен, да ты никак прощаешься со мной? Ты что задумал, Сема?..

– Все будет нормально, Алenuшка... После завтра придет новый комендант, я сдам ему дела и... уеду...

– Значит, у нас есть еще два дня?..

– Нет, моя хорошая, у нас нет двух дней, потому что завтра уезжаете вы... Я нашел твою сестру Веру... Ее фамилия Шамонина Вера Ивановна, живет она в городке Белово... Знаешь ли такой?

– А как же! То рядом с Урским... верст сорок пятьдесят...

– Здесь все документы, запрос из Белово, разрешение на выезд... Вместе с тобой едут дети и Никита... Не обижайся, что я тебя сделал чуть старше, а Никиту – туберкулезником... Иначе – никак... Его не хотели отпускать, но Шишкин помог... Никиту, наверное, направят работать на шахту, в трудовой отряд... Это хуже, чем лес валить, но все ближе к дому...

– К дому?!.. – с горечью проговорила Алена. – А где он, наш дом? Забрали его, а нового не дали...

На следующий день на трех санях-розвальнях из поселка Шишкино были отправлены на Большую землю восемь человек: четверо малолетних детей, три старушки, одной из которых была Кузнецова Алена Ивановна. Соглас-

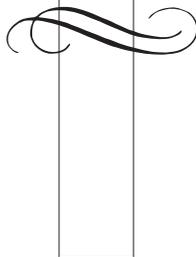
но документам, ее возраст на момент отъезда из колонии поселения составлял семьдесят пять лет. Вместе с женщинами и детьми на Большую землю отправлялся больной туберкулезом в открытой форме Кузнецов Никита Гордеевич... Это последнее, что мог сделать комендант Попков для своей любимой женщины и ее семьи...

Приезд нового коменданта ожидался к обеду следующего дня. С самого утра Семен Семенович тщательно побрился, надел свежее белье, проверил и сложил стопкой все необходимые документы о работе комендатуры и потом нервно ходил по кабинету, никого не принимая. Когда стрелки часов показывали 12 часов, Семен Семенович вынул из металлического ящика, служившего ему сейфом, бутылку водки, налил целый стакан и выпил залпом. Спустя несколько минут прогремел выстрел. Вбежавший в кабинет помощник коменданта нашел своего начальника с простреленной головой...

...Об этой смерти и смерти Федора Кузнецова Алена долго не будет знать. Хоть так судьба хранила ее от боли новых утрат...

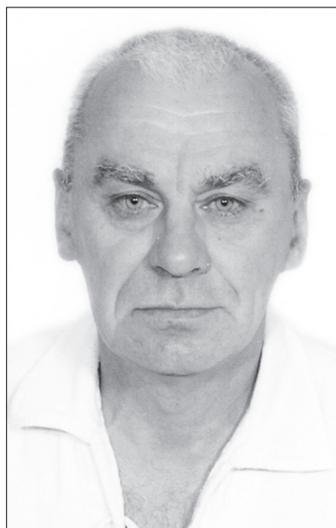
Конец третьей книги

*Кемерово – Гурьевск,
2011–2013 гг.*



**Владимир
СОКОЛОВ**

**МЫ НЕ УМРЕМ.
МЫ БУДЕМ ЖИВЫ!**



СЛАВЯНКА

*Сергею Неведроу
из Лисичанска*

*Со свадьбой не поздравил друга,
А он и приглашение слал,
И в армии подал мне руку,
И душу настежь открывал.*

*Быть может, я живым остался
Лишь потому, что милый друг
По мне печалился, старался,
Чтоб слабость не явил я вдруг.*

*Теперь по милости кретинов –
Ни снисхожденья, ни любви,
Лишь чистогана карантинны –
По нашей дружбе, по крови.*

*Теперь я так в тебе нуждаюсь,
И снишься ты, Серега, мне.
«Заткнись! А то совсем растаю.
Ведь ты живешь в другой стране.*

*Теперь ты со своей берданкой,
Я со своей, едрена мать!
Как по бутылкам и по банкам,
Друг в друга будем мы стрелять!»*

*«Чтоб я стрелял? Не думай даже!»
«Я ж пошутил – обида жгла...»
«Славянку» пели мы на марше,
Та песня – ротная была.*

*И до сих пор из-под ушанки,
Из-под кокард своих мастей
Летит «Прощание славянки»,
Все та же песня, но горчей...*

ОДЕССА

*За дымовой завесой лжи
Они вжимаются друг в друга.
И будут в памяти свежи
Два найденных в обнимку трупа.*

*Пришлют для скучных экспертиз
Завятых мастеров подлога.
История, не повторись!
Но повторится. Вновь – убого.*

*И будет некий нувориш
Стране навязывать уставы:
Чтоб никому – ни крыш, ни ниш,
Ни даже чтоб – уста с устами.*

В жесточенности людской
Одно останется не лживо:
– Мы не умрем, мой дорогой?..
– Мы не умрем. Мы будем живы!

НА СВАДЬБУ ДОЧЕРИ

Любви бумажные фонарики...
Такие хрупкие на вид.
Но вот, поди ж, взлетают шарики!
И свечечка внутри горит.

Что тишь да гладь? Что дни ненастные?
Что реактивной птицы след?
Где сарафанят звезды ясные –
Туда им выписан билет.

И мы глядим, задравши головы,
Как в такт вздыхают огоньки,
Так заразительно все молоды,
Порой природе вопреки.

А на реке средь льдин и стланика
В весенних водах и крутых –
Как будто два чудесных всадника
Гарцуют в латах золотых.

Небесные открыты просеки
Так высоко – что ох и ах!
И обручальные колесики
У заглядевшихся в глазах...

РЕЧИТАТИВ

Поплачь о том,
Кого потеряла.
О том, кого потеряла,
Поплачь.
Слезки
Не бойся терять.
Любая слезинка
Ведет к новизне.
Сухими глазами
Взглянешь на мир.

А слезы
Смоет дождем в океан,
Который по вкусу такой же.
Выйди однажды
На берег его
И вспомни сухими глазами
Того,
Кого потеряла...

* * *

На посохе зарубок счет.
Приход – расход. Овец приплод.
С водой колод...
Верблюжий пот...
А ноги – ноги. Но вперед.

Так быстро снялся твой народ,
Что даже тесто не доспело.
С тех пор лепешкой преснотелой
Он отмечает свой исход.
И руки стряпают мацу,
Держа столетья на весу.

Тебя я вижу загорелой,
Переходящей время вброд.
И брызги так тебе к лицу!

В пастушьей сумке муж несет
Сыр козий, пресный хлеб и мед.
Как округлился твой живот!
И на стоянке оробело
К тебе он ухом припадет.
И то ль погонь услышит ход,
То ль свой в веках увидит род –
Среди каких широт-долгот?
И чтобы поросль зеленела,
Ягненка в жертву принесет.

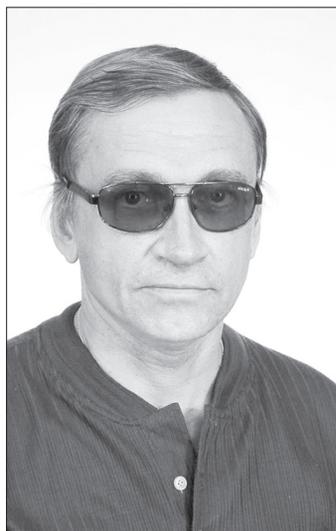
И Книга сбережет все «от»:
Кто от кого в сей мир придет.
На посохе зарубок счет.
В пути нет «до», есть только «от»...



**Сергей
КРИВОРОТОВ**

**НАСТЫРНЫЙ КВАРТИРАНТ
(ИЗ ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО
ПОЛУИНТЕЛЛИГЕНТА)**

Рассказ



*Друг! Дай пожму
твое благородное копытце!*

Велимир ХЛЕБНИКОВ

Давно это было, очень давно. Две жены тому назад, четыре места работы, мимо бандитских перестрелок девяностых, надежд и сумятицы перестройки. Эти годы промелькнули, словно при быстром прогоне фильма, устроенном пьяным кинемехаником. Многие позабылось, и никакими усилиями не удастся открыть некоторые давно не используемые файлы воспоминаний. Но все обстоятельства появления необычного квартиранта и дальнейший отрезок совместного проживания самым странным образом стоят передо мной с яркими подробностями мелочей, будто намертво выделенные незримым курсором памяти.

I

Я проснулся как от толчка и зажег ночник, круглый будильник показывал час ночи. Красные кирпичи на немецких обоях придавали комнате сумрачный вид комфортабельной пещеры. Но что-то было не так. Я скосил глаза и поежился, непроизвольно издав короткое: «Бррр!»

В ногах на краю тахты восседал чертик. «Я еще сплю», – подумал я и не стал особенно приглядываться.

67

– Привет! – сказал чертик пискляво и скрипуче одновременно, таким вот необычным голосом.

– Ага! – кивнул я скорее себе, чем ему, накрылся с головой и повернулся набок. Конечно, другие на моем месте ущипнули бы себя или надавили на глаза, но способ со счетом гораздо надежнее. Рекомендую его и вам. Сосчитав мысленно до ста, я скинул одеяло и резко повернулся.

Чертик сидел, как сидел – нога на ногу. Его шансы на реальность здорово повысились. Теперь в воздухе явственно ощущался запах жженой серы. Чертик, не мигая, смотрел на меня грустным желтым взглядом, не оставалось ничего другого, как отвечать тем же.

Он был невелик, не более полуметра, весь покрыт густой короткой шерстью, в интимном свете ночника показавшейся черной. Но постепенно я убедился в ее темно-коричневой окраске, вопреки распространенному суеверию, он оказался совсем не «четыре черненьких чертенка...» Небольшие рожки над почти кошачьей мордочкой, лишь глаза круглые, да нос смахивал на поросычье рыльце. А уши точь-в-точь, как у кота. Маленькими ручками, вроде обезьяньих лапок, он опирался о край тахты. А на ногах, хотя мне их не было до конца видно, сомнений не возникало – должны иметься небольшие копытца. Рядом под-

КРИВОРОТОВ Сергей Евгеньевич родился в 1951 году. Получил высшее образование. Работал врачом-кардиологом. С 2011-го перешел на литературную деятельность. Публиковался в журналах «Техника – молодежи», «Чудеса и приключения», «Работница», «Поиск», «Полдень. XXI век» (Санкт-Петербург), «Южная звезда» (Ставрополь,) и многих других, а также коллективном сборнике «Фантастика-86». Живет в Астрахани.

рагивал хвост, веревка с кисточкой на конце, да и только. На теле же у него поблескивало нечто наподобие комбинезона из стеклоткани, придавая вид загадочный и явно неземной.

Было в нем нечто сугубо неестественное. Он смахивал на галлюцинацию, другого объяснения не находилось. Но с чего? Почему? Я же не алкаш какой, переутомления от работы в последние дни тоже не отмечалось. Да и алкоголикам, если на то пошло, как я слышал, чертики являются обычно зеленого цвета. Оставалась еще слабая надежда, что я все-таки сплю.

Однако запах серы беспокоил все больше. Стараясь не задеть ненароком субъекта, я вскочил и прошел на кухню проверить, не горит ли там что-либо. Но нет, все было в полном порядке. Я вернулся. Запах исходил именно от чертика. Только этого не хватало: галлюцинация обдала и звуком, и запахом!

Я подошел и ткнул пальцем туда, где не было ткани, еще надеясь убедиться в его бесплотности. Получилось обратное: под жесткой шерстью ощутилась теплота реального тельца.

– Ой! – чертик дернулся и противненько захихикал. – Только без этого, пожалуйста, я боюсь щекотки.

Я отшатнулся. Захотелось курить. Взяв со столика пачку, вышиб щелчком сигарету...

– Огромная просьба. Не изменяйте состав воздуха. Очень прошу – дайте возможность подышать этим составом! – проскрипел чертик.

От неожиданности я выронил пачку с высушенной сигаретой.

– Вэри гуд! – довольно пискнул чертик.

– Без иностранных выражений! – сурово потребовал я.

– Извините, я нечаянно по привычке.

И тут у меня закралось страшное подозрение, а не посланец ли он так называемого «свободного мира»? Кто знает, на какие еще козни способны империалистические разведки? И надо же так случиться, что их выбор пал именно на меня! Чем, ну чем, скажите, я мог дать повод для этакого? Стареньких битлов я еще люблю послушать за бритъем или завтраком, но поддаваться влиянию чуждой идеологии не намерен. Субботники посещаю, профсоюзные взносы плачу регулярно, носить плакаты на праздничных демонстрациях не отказываюсь, последние известия по радио «Маяк» слушаю... Нет, это мы еще посмотрим, просто так, голыми руками им меня не взять.

Я пошел и проверил входную дверь, она оказалась запертой на английский замок и на цепочку изнутри. Этим путем он проникнуть не мог. Окна и балконная дверь также не навели на разумное объяснение. Не через канализацию же он, в конце концов, просочился в квартиру!

– А почему бы и нет? – осклабился чертик, показывая до безобразия громадные зубы, совсем как у лошади, а если точнее, как у осла из мультфильма «Бременские музыканты». Не помню, сказал я что-нибудь вслух перед этим, чем вызвал его вопрос и плотоядную улыбочку. До сих пор у меня бытовало представление, что у чертей, стань они реальностью, зубки окажутся мелкими и острыми, как у кошки. И вообще для меня образ черта до сих пор связывался с персонажем из экранизации «Вечеров на хуторе близ Диканьки». «Зачем ему такие огромные зубы? Чтобы съесть тебя!» – ответил я сам себе.

– Фу! Сколько в вас предрассудков! – заметил чертик.

Я мысленно возмутился: разве может современный человек, живущий в квартире с удобствами, с паровым отоплением, серьезно поверить в реальность какого-то черта, которому в лучшем случае место где-нибудь в избе у бабки за печкой. И этот тип, возможно, порождение тлетворного Запада, пытается еще засорять мне мозги своими отвлекающими разговорами!

– Ну нет, голубчик! Я тебя выведу на чистую воду и сдам куда надо! – вскричал я и засомневался.

Ну, допустим, пойду я утром куда надо и заявлю, что у меня дома появился чуждый нашему миру чертик. Что меня ждет? Кто поверит? Да в лучшем случае засмеют, а то и отправят на обследование в психдиспансер. Выходит, им и это было предусмотрено. Спать уже не хотелось, какой там сон!

– Я, собственно говоря, к вам по делу, – неожиданно признался чертик, не меняя позы.

– Да-да, я слушаю, – рассеянно ответил я и чуть не прикусил язык: хорош я гусь, если начинаю говорить с галлюцинацией, и еще лучше, если он тот, на кого походит.

В голове мигом пронеслись известные из литературы подобные встречи. Ну разумеется, во все времена черти старались заполучить души собеседников. Я вполне серьезно рассудил, что если на самом деле существует сидящий передо мной черт, то, значит, у меня имеется бессмерт-

ная душа. Раз есть спрос – должно быть и предложение. Это успокоило, только ни за какие коврижки душу свою продавать первому встречному замухрышке я не намеревался.

– Какая чушь! – возмутился чертик. – Я просто хотел попросить вас... Может, будем на ты? А то как-то неловко... И вообще, это наследие феодального прошлого...

Я пробормотал вроде, что «на «ты» с ним не пил и пить не собираюсь».

– Жаль, – огорчился чертик. – А то бы я мигом...

– Так, что вам от меня в конце концов угодно?

– Можно пожить у тебя? – выпалил чертик

– Как? – изумился я.

– Я буду только ночевать. Постараюсь насколько не обременить. Ну совсем немного, две недельки, а? – он противненько канючил, заискивающе помахал хвостом.

Глаза у меня все-таки стали слипаться, да и надоел он мне, унылый бездомный чертик. На всякий случай я попробовал еще один дедовский, как утверждалось, безотказный способ избавиться от наглеца. Я перекрестил ночного посетителя, сопроводив жест напутствием:

– Изыди, нечистая сила!

– Фу, как не стыдно! А ведь живет в век реактивных лайнеров! – укоризненно заметил тот. Ни черта ему не сделалось.

Больше ничего в голову не приходило.

– Я могу по дому помогать, хлеба принести или еще чего там... – поспешно заверил искалеченный ночлега. Уточнять, каким образом он это проделает, не хотелось.

– Ладно, черт с тобой, оставайся, – зевнул я, не подумав о возможных последствиях, и отвернулся к стенке. – Только дай поспать до работы.

II

Проснувшись утром, я вспомнил ночное видение. Запаха жженой серы не ощущалось, да и самого странного пришлеца в комнате не было видно. Я не обнаружил его следов ни на кухне, ни в кладовке, ни в туалете. Естественно, осталось посчитать привидевшееся нездоровым продуктом сна. К тому же утром все воспринимается совершенно в ином свете. Вскоре я позабыл о ночном госте.

Так что на работу явился бодрый духом и даже за пять минут до положенного. Свою соседку по рабочему месту Клавдию Федоровну, выразившую удивление и восторг по поводу столь нео-

бычайного события, чмокнул в напудренную щеку, чем вызвал ее немедленное покраснение. День начался неплохо, если не считать, что пришлось тащиться на службу.

Работа моя, скажу честно, не удовлетворяет меня ни морально, ни материально. Давно пора бы ее сменить, но сила привычки, что ли... За шесть лет разгребание деловых бумаг осточертело, и, подозреваю, я не являюсь незаменимым работником на своем месте. Всякие расспросы о характере моей трудовой деятельности моментально вызывают у меня тошноту и онемение языка. Так что – молчок.

Но сегодня со мной творилось что-то не то. Появилась какая-то неукротимая, просто неуправляемая работоспособность. Еще задолго до обеда вся документация переместилась с одного края стола на другой. Дневная норма оказалась выполненной. Клавдия Федоровна с нарастающим подозрением следила за моими необычными действиями. Пришлось заставить себя выйти покурить.

На лестнице никого не оказалось, но стоит одному остановиться на площадке, как неизвестные науке флюиды проникают сквозь стены и вытаскивают компаньонов из соседних отделов. Я не успел выкурить и треть сигареты, как возле задымили двое никотинщиков. Мы еще смеялись над рассказанным с полминуты назад анекдотом о говорящей лошади из Техаса, когда на лестницу вышла Она.

Я перестал смеяться, только стоял и смотрел, как Она поднимается к нам. Звали ее не то Люба, не то Галя, и работала она этажом ниже. Сам не знаю, почему я не обращал на нее внимание раньше. Словно лишь теперь увидел. Но не белый батник, натянутый на груди, и не джинсовая фирменная юбка, поглаживающая бедра при каждом шаге, привлекали взгляд. Сразу как-то задели глаза. Очень уж грустные они у нее оказались, большие и грустные, точно не ждала она от жизни ничего веселого. А волосы, прямые до плеч, черные-пречерные, отливали синевой, крашенные наверное.

– Опять вы, ребята, курите здесь! – сказала она укоризненно всем нам и никому в отдельности, а ее синие глаза пробежали по мне не задерживаясь.

– Да для вас мы хоть щас бросим... – один из сокурильщиков, решив, что это удобный момент для знакомства, понес какую-то белиберду. Другой поспешно затушил сигарету и ретировался,

возможно, он был женоненавистником. А я стоял и смотрел, недвижимый, словно статуя из ближайшего сквера, только с дымящейся сигаретой меж пальцев.

Она начала подниматься по ступенькам следующего пролета, когда я внезапно ощутил боль, сигарета догорела почти до фильтра и ужалила меня.

– Ой! – вскрикнул я довольно громко.

Девушка с папкой под мышкой обернулась. Остряк-любитель из соседнего отдела только этого и ждал:

– Вы сразили его своей красотой... – и последовали новые глупости.

Не то Люба, не то Галя даже не улыбнулась, лишь пожала плечами и вздернула носик, показывая полное безразличие и к произносившейся чепухе, и к нам обоим в частности. Это быстро привело меня в чувство. Я засуетился, выбрасывая окурки, показал кулак остряку и в два прыжка догнал девушку.

– Не обращайтесь, пожалуйста, внимания на этого типа, он совсем недавно перенес тяжелую форму менингита и еще не вполне поправился.

Девушка остановилась и серьезно посмотрела на меня:

– А вы?

Я на миг растерялся, она уже снова поднималась с равнодушным видом.

– Я просто хотел помочь вам донести папку...

– Это все? А как же насчет менингита? – она слегка улыбнулась. Улыбнулась! Но глаза оставались по-прежнему серьезны.

– Нет, с этим все в порядке, – решительно заверил я. – Надо разобраться в другом вопросе...

– Это уже интереснее, – заметила девушка, не останавливаясь. – Только вы уверены, что именно сейчас и со мной?

Черт возьми! Я почувствовал себя полным идиотом и не нашелся, что сказать, а она удалялась, удалялась! Бывает же такое!

Я возвратился в отдел под ехидным взглядом остряка-курильщика, свет был не мил. Уткнулся в газету, не видя, что Клавдия Федоровна, пышногрудая коллега-блондинка, строит мне глазки из-за соседнего стола. Утреннее приветствие явно ввело ее в заблуждение и вселило какие-то надежды на мой счет.

– Володечка, вы пойдете сегодня в столовую? – проворковала она, украдкой заглядывая в спрятанное в сумочке зеркальце.

– Нет, спасибо, – угрюмо отрезал я, не предпо-

лагая, что мое теперешнее состояние она полностью относит на свой счет.

Вернувшись после очередной отлучки, когда я в который раз пытался дождаться на лестнице не то Любу, не то Галю, я услышал обрывок телефонного разговора:

– ...Только он такой стеснительный, просто ужас! Я даже не знаю... – Клавдия Федоровна заметила мое появление и, мило покраснев, прервала доверительную беседу. Бросилось в глаза, насколько увеличились в диаметре накрашенные губы в мое отсутствие.

Кроме нас в комнате никого не оказалось, и я с мрачной решимостью остановился перед отделовской красавицей.

– Клавдия Федоровна, можно вас пригласить сегодня в кино? Прошу вас... – это было произнесено отрывисто и хрипло, но прозвучало как откровение.

На лице Клавдии отразилась гамма эмоций.

– Но...

Я взял нотой ниже.

– Никаких «но», Клавдия Федоровна, Клавочка, моя судьба зависит от вашего слова, – я наклонился и поцеловал ей руку, сам себе поражаясь.

– Вы шутите, Володенька? Играете, да?

Дверь распахнулась, и ввалились наши сослуживцы.

– В парфюмерии импортную шампунь дают! – поспешила поделиться Белла Александровна, наша коллега, советчица и профорг.

– Хорошо! – шепнула Клавдия. – Только не исчезайте, коварный! Ждите после работы.

Весь остаток трудового дня она бросала в мою сторону трепетные взгляды, а я был сам себе противен и думал о не то Любе, не то Гале.

III

– Вот здесь моя пещера на третьем этаже, – объявил я, когда мы остановились возле знакомого дома в вечерних огнях.

– Ха-ха-ха! – натянуто рассмеялась Клавдия. – Я и не знала, что вы, Володенька, такой веселый. Только мне кажется не совсем удобно... Как-то сразу так...

– А что здесь неудобного, мы кол-ле-ги! – после нескольких бутылок сухого языка ворочался явно не в той плоскости. – Вы зайдете в гости к своему старому сослуживцу, товарищу по работе. Я – клерк... Кстати, как будет клерк в женском роде, Клавочка?

Поглощенная этим вопросом, она забыла на время об этических проблемах, только на третьем этаже спохватилась, пробовала запротестовать, но дверь квартиры распахнулась, и я, обняв, вовлек ее внутрь.

Нашарить выключатель сразу не удалось, его словно не оказалось на обычном месте. Пока я продолжал настойчивый поиск, тревожное дыхание Клавдии Федоровны раздавалось совсем близко, она неожиданно притянула меня к себе, бормоча:

– Володька, черт вы этакий!

Ее губы промахнулись и мазнули меня в подбородок, затем я ощутил ее лицо на своем плече.

– Подожди, Клавочка, – мягко отстранил я ее и сосредоточенно зашарил обеими руками по стене – выключателя точно не было там, где положено. Внезапно я почувствовал знакомый запах серных испарений.

– Ты ничего не чувствуешь?

– Что? – встрепенулась моя коллега.

– Ну, запаха какого?

– Горит что-то, – равнодушно молвила Клавдия и добавила со вздохом: – Что ты со мной делаешь?

Полный нехороших предчувствий, я заглянул на кухню, вроде все было в порядке, если не считать, что и там исчез выключатель.

– Я пока не буду зажигать свет...

– Как романтично! – снова оживилась Клавдия Федоровна, ища меня в темноте.

Я увернулся, проклиная себя и свою дурацкую выходку с ней, но отступать было поздно.

– Пошли в комнату, что мы здесь...

– ...Что мы здесь... – эхом откликнулась Клавдия.

Она внезапно поймала мою руку и прижалась к ладони влажными теплыми губами. Я подумал, не взять ли ее на руки, но, вспомнив габариты сослуживицы, воздержался. В обнимку, как двое слепых, натыкаясь на все подряд, мы проникли наконец в комнату. Запах здесь ощущался гораздо резче. Я провел гостью к тому месту, где всегда находилась тахта, и бережно опустил вниз. Неожиданно с глухим стуком ее тело брякнулось на пол, почему-то не найдя опоры.

– Ох, Володенька, что ты делаешь со мной?! – томно простонала Клавдия Федоровна. Интересно, что она ожидала услышать в ответ?

У меня шевельнулась ужасная догадка: квартира не моя, мы попали по ошибке к соседям! А может, меня обокрали, существенно обеднив об-

становку жилища? Говорят, такие вещи нередко еще случаются. Я зажег спичку, что давно следовало сделать, и в ее недолгом свете с облегчением увидел знакомые кирпичи на обоях и Клавдию Федоровну, сидящую на ковре, она закрывала лицо руками. Кирпичи-то были на месте, зато мебель оказалась зеркально переставлена! Спичка погасла, но я уже включил обнаруженный торшер.

– Привет! – проскрипел знакомый голос.

Мой ночной призрак восседал на серванте в серебристом комбинезоне. Видимо, это была его любимая поза – нога на ногу или лапа на лапу, не знаю, как точнее, и хвост по боку. Но нижние конечности, поросшие такой же короткой шерстью как тело и верхние лапки, на самом деле заканчивались небольшими копытцами. Мои вчерашние предположения блестяще подтвердились, только это совсем не обрадовало.

– Красавец, ну просто красавец! Посмотри на себя в зеркало, это она так тебя разукрасила? – вибрации его голосовых связок отдавали восторгом. Подозреваю, он имел в виду следы помады на моей физиономии.

После столь неожиданного приветствия последовала короткая пауза, затем квартира, а возможно, и весь дом, наполнились визгом Клавдии.

– Успокойся, Клавочка, ну успокойся. Что соседи подумают?

Я не без труда поднял ее и усадил на тахту, сбегал на кухню за стаканом холодной воды, заставил выпить. Только тогда она затихла, но продолжала трястись, с ужасом глядя на сервант.

– Зачем же вы так? – укоризненно заметил чертик, сокрушенно разводя лапками. – Берегите себя. Вы работники сферы умственного труда, а нервные клетки никогда не восстанавливаются...

Я молчал, лихорадочно проигрывая в голове дальнейшие варианты.

– Что это, Володя? – слабо спросила Клавдия Федоровна, судорожно хватая меня за руку похолодевшими пальцами.

– Это говорящая австралийская обезьяна, – соврал я первое, что взбрело на ум. – Мне ее привезли из загранплавания.

– Сам ты говорящая обезьяна из загранплавания! – возмутился чертик и обиженно смолк.

– Почему у него... у нее... копыта? – по ее расширенным глазам я понял, что сейчас начнется новый виток истерики.

– Это такая порода. Брысь! – махнул я на чертика. – Просто забыл предупредить...

– Удивляешь ты меня, дружище, – грустно заметил чертик. – И вкус твой я не одобряю. Да, она тебе совсем и не нужна. Зачем вообще ты притащил сюда эту метелку?

Прежде, чем я успел что-нибудь сказать, до Клавдии дошло. Истерика не состоялась. Гнев неузнаваемо преобразил мою коллегу, такой я ее и представить не мог.

– Это кто метелка? Кто? Ах, ты чучело гороховое! – Она энергично вскочила и бросилась к серванту, норовя ухватить чертика вытянутыми руками. Но он ловко извернулся и, пробежав по потолку, прыгнул на колонку стереопроектора.

– Не только крашенная метелка, но и старая кочерга! – пискнул он восторженно и показал нос.

– Заткнись! – заорал я, но Клавдия перекричала меня...

Этих слов я от нее никак не ожидал, не знаю, как чертик...

– ...А вы, Володя... Век вам не прощу, что подстроили такое!.. – закончила она, оборачиваясь в мою сторону, и, гордо запрокинув голову, прошествовала к входной двери. Надо было бы, хоть из вежливости, догнать, успокоить, объяснить. Но что я мог объяснить? Да и догнать после ее криков не очень-то хотелось. Щелкнул злобно дернутый английский замок, хлопнула дверь, и наступила тишина. Я хотел излить свой гнев на чертика, но гнева не было. Более того, я испытывал явное облегчение от развязки. Посмотрел туда, где сидел мой избавитель, и увидел, как тот ухмыляется, скаля свои зубищи:

– Ты же разрешил мне тут пожить. Скажи спасибо, что я вовремя поспел. Что бы ты без меня делал с этой шваброй? Неужели она тебе нравится? Или не можешь найти себе самку лучше? Впрочем, если ты на меня в обиде... – и он сделал вид, будто собирается уходить.

Мне вовсе не улыбалось остаться после всего одному, да к тому же он был, в общем-то, совершенно прав. Только, как теперь вести себя с Клавдией Федоровной на работе?

– Ладно уж, оставайся, только верни все предметы на старые места, – примирительно бросил я.

– То-то! – обрадовано махнул хвостом чертик. – Я тебе там яичницу приготовил – для одного самого раз. А то бы она всю ее слопала.

Я внезапно ощутил голод. После стольких-то переживаний и выпитого с Клавдией вина! Яичница оказалась аппетитной на вид глазуньей из пяти яиц, действительно очень вкусной. Я ее моментально «слопал», по выражению моего мохнатого постояльца, и только потом понял, что она слегка припахивала жженой серой.

IV

Вообще-то я никогда не верил ни в летающие тарелки, ни в загадку Бермудского треугольника, ни в другую тому подобную дребедень. О нечистой силе и говорить нечего. Если бы кто мне сказал... Но вот он сидит передо мной – объективная реальность. Неприятный эпизод с Клавдией – убедительное доказательство, что он существует независимо от моего воображения.

– Как тебя зовут, приятель?

– Ты же зовешь про себя «чертиком», ну и продолжай! – скалится мой квартирант из-за сотворенной им бутылки финского ликера.

– Ну, давай за знакомство!

Мы выпиваем по рюмке, и во рту долго держится сладкий и терпкий сливовый привкус. Уровень в фигурном флаконе почти не уменьшился, но мой новый друг категорически против употребления ликера большими дозами. Что ж, в конце концов, дареному коню...

– Хватит, Вова, – укоризненно замечает чертик после моих односторонних действий, резко снизивших уровень янтарной жидкости. – Я вовсе не собирался потакать твоим порочным наклонностям.

Миг, и бутылка пустеет, хотя он к ней не притронулся. Я уныло жду объяснений.

– Телекинез, – как бы оправдывается он. – И вообще, хватит на сегодня.

– Послушай, – внезапно осеняет меня. – А почему ты выбрал для местожительства именно мою фатеру?

– Фу, – морщится чертик. – Наберешься от тебя жаргонных словечек.

Я терпеливо жду ответа, с острым сожалением ощущая на языке воспоминания ликера.

– А разве ты недоволен возможностью пообщаться с необычным новым лицом?

– Дурацкая манера отвечать вопросом на вопрос, – укоряю его, а внутренне усмехаюсь: не лести себе, брат, не лицо у тебя, а морда, самая разная!

– А сам-то! А сам-то! – смеется чертик. Кажется, он немного пьян.

– Не увиливай. В конце концов это просто невежливо.

– Ладно, Вова. Ты мне подошел, и ты, и твоя жилплощадь. Мне необходима вот такая квартира. К тому же ты один, все меньше беспокойства... А потом ты мне понравился, и знаешь, чем?

Ну, точно, он спьянел, вон как разболтался! Не хватало мне еще гомосексуальных излияний с его стороны. Впрочем, его пол оставался для меня до сих пор загадкой. Хотя скорее я воспринимал его почему-то в среднем роде.

– Ты вот уже спокойно, как само собой разумеющееся, принимаешь мое существование...

А это он зря сказал. Я ударяю кулаком по столу, его недопитая рюмка опрокидывается, и блестящие капли янтаря выскальзывают на клеенку с нарисованными арбузами

– Ну нет, чертей я не считаю само собой разумеющимся!

Мой собеседник обеспокоенно подпрыгивает на табуретке и сворачивает кольцом хвост.

– Вовка, не буйня!

– Да какое право ты имеешь так меня называть? Кто ты вообще такой? – возмущение клокочет во мне, требуя выхода. И вдруг чертик исчезает. Я жду некоторое время, он не появляется. Я успокаиваюсь, одновременно начиная ощущать одиночество. Сразу становится тоскливо.

– Ладно, вернись, я больше не буду, – выдавливаю я через силу.

– Честно? – пищит откуда-то издали спокойный голосок.

– Сказал: не буду, значит, не буду.

Иду в комнату и вижу его сидящим на серванте в излюбленной позе. Я улыбаюсь, стараясь вложить в мимику побольше дружелюбия. Чертик неуверенно отвечает, постепенно улыбка его разрастается до ушей, но огромные зубы придают его морде по меньшей мере странное выражение.

– Сгоняем в шашки? – предлагаю я для окончательного примирения.

– Не... лучше в покер – самая чертовская игра.

Я соглашаюсь, мир восстановлен...

После этого мы стали коротать вечера вдвоем.

Утром и днем мы не виделись. Исчезал он рано, а вечером, когда за стенкой раздавалась песня из телепередачи «Спокойной ночи, малыши», чертик появлялся в квартире.

Все-таки не покидали меня сомнения. А что, если у меня внезапно появился талант гипнозера и я внушил Клавдии свою галлюцинацию? Вероятно, возможно и такое.

Где-то на третий день знакомства с чертиком повстречались с одноклассником Буровым, я едва не прошел мимо. Мы не виделись лет десять, и где было признать в столь почтенном бородаче живого подростка, любившего почудить, каким он помнился. Но он сам остановился, загораживая дорогу:

– Здорово, Вовка!

– Привет!

Кажется, Сашей его звали.

– Сколько лет, сколько зим! – последовал обычный при таких встречах разговор, в ходе которого выяснилось, что мой однокашник – врач, и не простой, а психиатр. Его густая черная борода (я почему-то думал раньше, что носить такие – привилегия исключительно геологов) и задумчивые глаза внушали доверие.

– Как ты думаешь, – все-таки не помнилось, точно ли Сашей его зовут. – Может у меня быть талант к гипнозу? Могу я загипнотизировать, к примеру, человека, женщину, скажем?

– Ты что, серьезно? – захохотал он.

Я обиделся.

– Конечно, серьезно.

– Как сказать... хотя теоретически у большинства имеются врожденные способности к внушению. Только без долгой подготовки, обучения подобное вряд ли возможно. Впрочем, женщину можно загипнотизировать и без всего этого, – последовало скабрезное подмигивание. – Ну ты даешь! – заключил он, хлопая меня по плечу.

– Я-то, в общем, вот к чему, – и я как на духу изложил ему вкратце историю появления чертика.

Однокашник (теперь я точно вспомнил – Саша, мы еще в школе, когда он часто, раздражая всех, задавал учителям любознательные вопросы под конец урока, урезонивали его некрасовской строкой: «Вырастешь, Саша, узнаешь!») слушал внимательно, пощипывая густые заросли на лице. Наверное, это профессиональная черта, вот так, не перебивая, уметь выслушивать бред больных. Я опустил эпизод с Клавдией Федоровной, зато очень подробно описал внешность мохнатого знакомого.

Когда я закончил, Александр чудно поморгал, подумал, потом хитро посмотрел на меня и погрозил пальцем:

– Разыгрываешь ты меня, Володимир! Зачем тебе это понадобилось? Хочешь посмеяться надо мной? Еще в школе...

– Но я могу его тебе показать.

– Как? – растерялся Буров.

– Ну в натуре, конечно! Говорю тебе, он ночует у меня дома.

– Так ты что же, его в кармане спрячешь, как кузнец Вакула? – недоверчиво улыбнулся Александр.

– Надежнее будет, если ты ко мне зайдешь сам. Вечерами он обычно дома обитается.

– Так ты что, серьезно? – Саша начал как-то странно косить левым глазом. – Или это предлог? Моднo теперь так что ли приглашать?

– Куда еще серьезнее! Не до моды мне...

– Хорошо, давай телефон, я предупрежу. В ближайшие дни я очень занят, ты уж извини. А где-то в конце недели буду обязательно, – взгляд его сделался пронзительным.

Я начиркал в протянутой записной книжке номер телефона отдела. Он убрал ее в карман пиджака, окинул меня еще раз недоверчивым испытующим взглядом и пожал на прощанье руку. На том и расстались.

V

Как всегда, в неурочный час явился ко мне старший брат Николай. Был он в шумном возбуждении, несколько небрит и чрезвычайно сквернословил. Из бездонного кармана кожаной его куртки возникла и шмякнулась на стол поллитровая бутылка «Пшеничной».

– Не могу я больше, Вовка. Извела она меня...

Она – это его жена Машутка, с которой у них периодически возникали разногласия из-за несовпадения характеров.

– То ей то не так, то это не так... Чему, грит, дети от тебя научатся? А я работаю, работаю... А все не так ей, понимаешь...

Николай смолк и засопел, сосредоточенно откупоривая бутылку. Речи эти слышал я не впервые, ничего нового не ожидал, но пить водку не хотелось. Брат искал поддержки и сочувствия, отказать родному брату, да еще старшему, в тяжелую минуту я не смел. Жена у него неплохая, просто, значит, он сегодня опять с друзьями задержался.

Коля привычно по-хозяйски достал стаканы, выгреб колбасу и сыр из холодильника и приступил к ритуалу разлива. Вдруг я отчетливо услышал скрипучее хихиканье.

– Ты чего? – подозрительно посмотрел на меня брат, и рука его с наклоненной бутылкой зависла на полпути к стакану.

– Ничего-ничего, кхе-кхе, – закашлялся я, украдкой шаря глазами по сторонам. За стеной приятный мужской голос запел: «Спят усталые игрушки...». Время моего чертика настало.

– А ну их, баб! Давай вмажем, братуха, за нас! – и, поднимая стакан, Николай с надрывом затынул: – Раскинулось море шир-р-рока...

Мы чокнулись и, морщась заранее, я поднес стакан ко рту, но странно, ожидаемого противного запаха не чувствовалось. На стенках стакана отчетливо виднелись пузырьки газа, они отрывались, неслись к поверхности и лопались. Вроде бы опять послышалось знакомое хихиканье. Я осторожно попробовал содержимое, по вкусу напоминало боржомом. Николай опрокинул в себя стакан, схватил огурец и оторопело уставился на меня. Потом посмотрел на бутылку, и челюсть его отвисла.

Я проследил за его взглядом и увидел выглядывающую из-за бутылки уменьшенную копию моего постояльца. Блестящий комбинезончик, маленький хвост, непропорционально огромные зубы во рту, растянутом в улыбке. Показалось, он подмигнул.

– Чшт-то такое? – произнес наконец Николай и принялся усиленно тереть глаза, не выпуская огурец из руки. – Ты видел?

Чертик опять подмигнул и покрутил головой.

– Ладно, Вовка, извини уж, пойду я. Машутка беспокоиться будет, поздно уже. Все-таки она у меня, сам знаешь... Сколько раз говорила: не пей, дурачок, не пей. И вот на тебе, допился до... – он осекся, испуганно взглянул на меня, пришлось принять как можно более безмятежный вид.

– Ладно, давай, братан. Спасибо за все. Извини, если что не так, – он покосился на бутылку, чертика на месте не оказалось. – А ты ничего не видел?

– А что-нибудь должен был? – наивно поинтересовался я.

– Да, не... Я просто так... – торопливо засобирался брат, стараясь не смотреть на стол.

Мы простились, и я пообещал навестить их с Машуткой в ближайшую субботу. Едва за ним хлопнулась дверь, я засмеялся и вернулся на кухню. Чертик сидел на табуретке в своем обычном размере и потягивал жидкость из стакана.

– Давай, хлопни минералочки – полезно для желудка, – великодушно предложил он, указы-

вая на бутылку. Вместо прежней этикетки на ней красовалась новая с надписью: «Боржоми».

Ей-богу, мне хотелось поцеловать его в макушку, но я только заметил:

– А ведь ты ведешь себя не по-чертовски. Ты же должен делать разные пакости, портить мой моральный облик, а выходит как-то наоборот.

– Вот еще! – фыркнул чертик в стакан. – Что касается твоего морального облика, то он и так порядком испорчен.

За окном на фоне черного неба в жестком свете уличного фонаря одинокий тополь уныло кивал сухими искривленными ветвями. А мне было спокойно и уютно на розовой кухне в обществе мохнатого приятеля. Перед сном мы теперь частенько беседовали. Мой квартирант облюбовал местечко под радиатором парового отопления, где ложился на постеленном одеяле. Я же лежал на тахте и, глядя в потолок, слушал или, в свою очередь, высказывался на затронутую тему. Чертик оказался сообразительной, довольно эрудированной личностью, часто понимал меня с полуслова, а то и вовсе без слов, но временами поражал неосведомленностью в простейших вещах.

Так, он долго не мог постичь современную трактовку семьи и брака. Пришлось раздобыть работу «Происхождение семьи, частной собственности и государства», благо, он умел читать. Надо было видеть, как мой постоялец с очками на носу серьезно изучает классический труд. Старые круглые очки-велосипед, невесть где им заимствованные, и книга в руках придавали без того фантастическому портрету заземленный будничный вид. Я даже не изумлялся бредовости картины: черт-очкарик с книгой Энгельса в лапах. Вскоре он к месту и не к месту начал произносить различные цитаты, вроде: «Надо избавить людей от необходимости брести через ненужную грязь бракоразводного процесса», которая вставлялась им особенно часто и звучала в его устах довольно своеобразно.

Я привыкал к нему все больше и больше. Дошло до того, что уже торопился попасть домой ко времени его появления. Каждый вечер меня поджидал нехитрый ужин, сготовленный неведомым мне чертовским способом. Неизвестно откуда брались продукты, уточнять не хотелось, во всяком случае, необходимость рыскать по гастрономам и стоять в очередях отпала. Как он сам питался и нуждался ли в грубой пище материальной, тоже оставалось загадкой.

Я начинал подумывать, а может, он вовсе не черт (ну, как это так – «черт»! Из пекла что ли? Дико и нелепо), а какой-нибудь пришелец из другой звездной системы? Только слишком буднично обо всем он брался рассуждать, если бы не самый его внешний вид и не проявление иногда чудесных способностей, я бы и голову перестал ломать над его сущностью. Все-таки в «звездное» происхождение как-то проще было поверить... Как бы то ни было, я к нему привязался, и, кажется, он отвечал тем же. В его присутствии больше не хотелось курить, я испытывал спокойствие и умиротворение, только иногда вспоминал не то Любу, не то Гаю. Он действовал на мою психику весьма благотворно.

– В чем смысл жизни? – задал я однажды вопрос, наиболее часто употребляемый в фантастических романах при общении с пришельцами, но это и самого всегда очень интересовало.

– По-моему, – авторитетно проскрипел он из своего теплого угла, – главное – глубоко и свободно дышать.

Дальнейших разъяснений не последовало. Я спросил еще о чем-то, но ответа не получил, тихий посвист засвидетельствовал, что чертик уже спит.

VI

Так он и жил у меня, вернее, ночевал, никаких глобальных изменений это пока не повлекло. Ходить на работу совсем не хотелось, подозреваю, не без участия ночного постояльца.

Живешь-живешь, работаешь как все, квартира есть, и вдруг является этакое лохматое-хвостатое в комбинезоне, и все летит к чертям. Сразу видишь свою жизнь совсем под другим углом и насквозь, как под рентгеном. Понимаешь внезапно, что все не то и не так. Работа ни к черту, и существование никчемное. Умри я сейчас, исчезни – что изменится? Ну пожалеют несколько человек, повспоминают иной раз и забудут. А в бумагах на моем месте сможет рыться любой другой.

Нет, понял я, надо бросать все к черту и начинать жизнь сначала. Может быть, уехать куда-нибудь, завербоваться на перспективные стройки Сибири? Но если не найти себя здесь, то где гарантия, что в другом месте это получится? Ведь от себя-то не убежишь, как говорится в книжках. Только работать на старом месте стало неумоготу, впору пойти пирожками торговать или карточками «Спортлото».

К тому же внезапно на службе я сделался объектом всеобщего интереса. За каждым моим жестом пристально следили. За моей спиной стали слышаться таинственные шепотки. Приходя с перерыва, я успевал уловить туманные обрывки разговоров:

- ...Вот тебе и тихоня!
- Кто бы мог подумать?
- Не ожидала, не ожидала...

И тому подобное и не менее загадочное и многозначительное. При моем появлении тема резко менялась на нейтральную: о кинофильмах, об импортных вещах, семейных новостях и прочем. Личность моя приобрела столь сомнительную популярность, что посмотреть на меня начали заходить любопытные из соседних отделов. Приходили, болтали о каких-то пустяках с моими сослуживцами, а сами ехидно косились на меня: знаем, мол, знаем, что ты за фрукт! Не обошлось ли здесь без козней мстительной Клавдии? Что же такое она могла распространить? Пока я еще не мог понять, в чем дело, но, надо сказать, начал чего-то побаиваться и с трепетом ждал, когда к буму вокруг персоны скромного служащего проявит интерес начальство.

Такой случай не заставил себя ждать. На второй или третий день нездорового ажиотажа меня вызвал шеф отдела. Скучный полноватый мужчина с плавающими зрачками за толстыми линзами, он внушал мне необъяснимую робость.

– Послушай, гм... голубчик, – он побарабанил пальцами по крышке стола, – это правда, что ты завел у себя дома какую-то любопытную живность, да еще говорящую?

Я судорожно кивнул. Он погладил свою величественную плешь, нечто вроде пустыни Сахары, только без оазисов.

– Это, конечно, твое личное дело, но нельзя же вызывать такой резонанс на работе... К тому же, говорят, ты обучил его матерным выражениям? Подумай, дорогой, на досуге, не увлекайся слишком. Ведь всему должен быть предел, тем более ты работник нашего учреждения. Какой пример другим подаешь? Ты согласен со мной?

Разговор вроде клонился к концу. Мне бы кивнуть, признать, пообещать, мирно уйти, что я и собирался сделать. Ведь начальник – он и есть начальник, плетью обуха не перешибешь. Но вдруг в боковом кармане моего пиджака что-то зашевелилось. Я с ужасом сунул туда ладонь и наткнулся на нечто шерстяное и копошащееся,

рука непроизвольно отдернулась. Наружу показалась и тут же спряталась уменьшенная мордочка моего постояльца. Теперь я точно походил на кузнеца Вакулу.

– Что там такое? – спросил шеф сурово, перегибаясь ко мне через стол. – Ты никак и на службу приносишь эээ... каких-то животных?

Внезапно робость моя улетучилась, я ощутил решимость и поднялся.

– Во-первых, попрошу вас не тыкать мне! Я с вами «на ты» не пил. Во-вторых, я вам не «голубчик» и не «дорогой». Что за манера разговаривать с подчиненными?! – голос самому себе показался неестественно высоким, и я сбавил тон.

– Да как вы смеете?.. – неуверенно спросил начальник, тупо тараща на меня глаза.

– Смею! – радостно рубанул я ладонью по лировку стола. – Хватит, натерпелись!

Из кармана послышалось довольно противенькое хихиканье.

– Вы еще и смеетесь надо мной, – внезапно уныло констатировал начальник. – Вы, часом, не больны?

– Не ваша забота! – отрезал я, прижимая рукой дергающийся карман, что-то мой чертик очень развеселился. – Хочу – болею, хочу – не болею, вас нисколько не касается. А в-третьих, я с детства люблю животных, и вы, – мой палец обличающе указал прямо на пустыню Сахару, – не имеете права вмешиваться в мою личную жизнь в свободное от работы время. Вы не заставите меня изменить жизненным принципам, – я с энтузиазмом помахал кистью руки над столом начальника.

– Я понял, – внезапно осенило шефа. – Вы пьяны!

– А вы меня поили? – выпалил я дежурную фразу. – Впрочем, пожалуйста!

Я наклонился над столом и резко дохнул на шефа, он затравленно разглядывал меня, нервно покусывая большой палец.

– А вы? – спросил я, наивно глядя в глаза, только теперь осознав, насколько мне неприятна эта физиономия.

– Что я? – удивился шеф.

– Раз вы утверждаете подобное, значит, судите по себе. Что, у самого рыльце в пушку?

– Да как вы смеете?! – привстал было шеф.

Как там это делал Вакула? Я хлопнул себя по оттопыренному карману.

– Ой! – сказал чертик.

– Быстро! – процедил я сквозь зубы. – Накачай его пивом!

– Но... – еще хлопок, и карман покорно затих.

Шеф тяжело опустился в кресло, глаза его осоловели, даже не приближаясь, я с торжеством уловил порочный запах.

Прежде чем начальник успел что-то понять, я доставил в кабинет старейшего работника отдела Егора Павловича.

– Палыч, рассудите, кто из нас двоих под шафе? – официально обратился я к испуганному ветерану производства.

Шеф вяло махнул рукой. Егор Павлович недоверчиво обнюхал меня, затем виновато с долей подобострастия зашел за стол и густо покраснел.

– Того, Алексей Петрович...

– Ну? – угрюмо посмотрел на него шеф.

– Кажись, вы того, пивка немного пригубили, рижского вроде, по-моему...

Шеф моментально налился багрянцем, раньше я и не предполагал в нем способность к таким метаморфозам. Палыч мгновенно просочился за дверь.

– Фокусы устраиваете, товарищ Владимир... эээ...?

– Владимирыч, – услужливо подсказал я.

Шеф внезапно успокоился.

– Вы понимаете, что после такого нам вместе...

– Да сам не хочу с вами работать, и работенка-то довольно дерьмовая, сыт я ей по горло! – весело перебил я и, хлопая по карману, прошептал: – Заявление! Быстро!

– Оп! – движением факира я поймал над столом материализовавшийся из пустоты листок, конечно, не без помощи обитателя моего кармана и сунул его под нос шефу.

– Я окажу вам услугу, можете не отрабатывать положенного срока, это формальность, – шеф торопливо наложил резолюцию.

– Что вы, что вы, это мое законное право, я ни за что не откажусь.

– Но...

– Нет и еще раз нет. Положенные дни я отработаю в отделе.

Шеф достал клетчатый платок и вытер пот со лба.

Я закрыл за собой дверь с чувством небывалого облегчения. Что ж, а сейчас в отдел, я им покажу своего черта в натуре! Но, увы, карман опустел. Палыч успел что-то рассказать, и на меня теперь смотрели, точно собирались по

меньшей мере просить автограф. Все же я решил поставить точки над «и».

– Что случилось, леди и джентльмены, милые коллеги, чему обязан столь почтительным вниманием?

Наступила тишина, затем отдел взорвался.

– Володечка! Вы, оказывается, держите у себя говорящую обезьянку! – восхитилась вслух Белла Александровна.

– А вы сердцеед к тому же, – шепнул сбоку Егор Павлович.

– Ваши знакомые не могли бы привезти мне из загранки джинсы «Дзен»? – кто-то из молодежи.

– Шутник! – буркнула Клавдия Федоровна совсем не сердито под общий гам, в который слились голоса остальных.

Я демонстративно склонился и, взяв Клавдию за пальцы, прижался к ним губами, тихо бормоча что-то вроде: «Я полностью в вашей власти, госпожа, всегда располагайте мною».

– Клоун! – фыркнула она, довольно краснея.

Кто-то хлопнул меня по плечу. Атмосфера явно разрядилась. Ах, был бы со мной чертик, я бы выколотил из него ящик шампанского и упоил бы напоследок отдел...

– Ну уж нет! – проскрипел знакомый тенорок, и служебная обстановка растворилась, как в тумане, я очутился в родных кирпичных стенах. Голова даже не закружилась, только непонятно, каким образом свершилось столь мгновенное перемещение в пространстве?

VII

– Ну уж нет! – чертик в натуральную величину сидел на торшере и казался рассерженным. – Хватит на сегодня.

Я лишь теперь почувствовал, как устал, и послушно кивнул. «Хватит, так хватит! Стоп! – подумал я. – А почему это он объявляется в нерабочий час, да еще в моем кармане?»

– Окончил я свои дела и на днях отбываю, – ответил он, смягчаясь и помахивая хвостиком.

– Что же все-таки за дела такие, или это настолько секретно? – любопытство к его дневной деятельности не покидало меня все время нашего знакомства.

Чертик, казалось, немного смутился.

– Ну, в общем, я закончил собирать кое-какие сведения...

Былые подозрения встрепенулись во мне.

– Словом, я теперь гораздо больше знаю о лю-

дях, о том, как вы живете... Могу, как говорится, «уйти не с пустыми руками».

– Так кто же ты все-таки на самом деле? – спросил я сурово в лоб моего мохнатого друга. Друга ли, впрочем?

– Ну, скажем, представитель или посланник иных существ...

– Слишком уж туманно... Пришелец, что ли? – продолжал я вопрошать пристрастным тоном.

– Скажем так: посланник.

Мне захотелось курить.

– Ты же мог обратиться в официальные органы.

– Люди еще не готовы к восприятию нас. Лишняя суматоха только бы повредила. Да и не каждый смог бы поверить.

– А я, что же, по-вашему, более восприимчив к чертовщине, что ли?

Чертик помолчал.

– У твоего пси-излучения подходящий индекс по Каргу. И, в общем, внешний вид, в котором я предстал перед тобой, им и объясняется.

Не очень-то понятно. Может, он биоробот какой? Впрочем, какая разница? Самая большая чертовщина заключалась в том, что я к нему привык и боялся его внезапного исчезновения. Я не решился расспрашивать сейчас дальше, хотя на языке вертелись десятки вопросов.

Чертик выглядел грустным. На столе передо мной из ничего появилась утка, фаршированная яблоками с черносливом, с аппетитно поджаренной кожицей, огромная гроздь белого бескосточкового винограда, бутылка коллекционного шампанского. Пришлось встать и принести фужеры.

– За что пьем? – осведомился я, хлопая пробкой.

– За вас, за людей, – серьезно ответил чертик, не меняя позы.

«А стоит ли? – чуть не усомнился я, – может, лучше за вас, за чертей?» Но промолчал и махнул рукой. По мере того как утка с хрустом таяла у меня на зубах, настроение мое быстро улучшалось. Чертик же, напротив, оставался мрачен и недвижим, даже шампанское не изменило видимо его состояния.

Только когда я расправился с виноградом и прикончил остатки игристого напитка, мой благодетель встрепенулся:

– Эх, гулять, так гулять!

Я волей-неволей насторожился: не замечалось за ним прежде такого ухарства. В лапах у

чертика внезапно появилась небольшая, как раз по его размерам, гитара. Скрюченные пальцы-цапки пробежались по струнам, издавшим протяжные жалобные звуки. Всю жизнь я мечтал научиться игре на этом инструменте, да усидчивости не хватало, это же вам не бумаги за зарплату разгребать, поэтому неожиданно открывшийся у чертика талант вызвал у меня благоговение. Я ожидал, что сейчас он изобразит нечто скрипуче-писклявое, типа дворового фольклора, но под задумчивый напев струн раздался сочный голос Муслима Магомаева: «У рыбака своя звезда...»

Чертик пел с воодушевлением, закрыв глаза и покачиваясь, аккомпанируя себе на гитаре. Я не мог понять, поет ли он сам, имитируя знакомый баритон, или же только открывает рот, воспроизводя каким-то образом запись. Но в любом случае это впечатляло.

Он оборвал пение так же резко, как и начал, гитара растворилась в пространстве.

– А не прошвырнуться ли нам по броду, Вова?

– Это как же? – поинтересовался я с подозрением. Уж, не собирается ли он перед убытием затащить меня на шабаш нечистой силы?

– Но в карман я к тебе больше не полез, уволь. Это я, что называется, дурака сваял, пошалить захотелось на радости. А давай-ка изобразим из меня домашнее животное на прогулке!

– Это как же? – повторил я тупо.

– А вот сам увидишь!..

И мы отправились гулять.

Вдоль желто-зеленых кустов за коротким штaketником, мимо одинаковых домов с распахнутыми настежь дверями подъездов, мимо кусочков неба в зеркально вымытых окнах шествовал дядя в черной кожаной куртке. На поводке он вел нечто среднее между домашней собакой неизвестной породы и сиамской кошкой. Чертик обзавелся намордником, только кошачьи ушки торчали наружу, копыта он тоже как-то замаскировал. А комбинезон... что ж, мало ли декоративных собак в наше время щеголяет в комбинезончиках, скроенных по фантазии хозяек.

Теплое по-осеннему солнце, выглядывающее из-за домов, и выпитое шампанское создавали радужное настроение. Но я все же нет-нет да и оглядывался по сторонам: не заинтересовался ли моим спутником кто посторонний? Словом, чувствовал себя несколько скованно.

Мы шли и тихо беседовали о мировых проблемах. Я снова и снова поражался его смекалке, совершенно неожиданному восприятию привычных истин, а сам думал, где-то сейчас не то Люба, не то Галя? Давно ее что-то не видно на работе. Вот бы здорово было повстречаться просто так на улице и заговорить. Я сказал бы ей все, что столько раз проговаривал про себя, представляя нашу случайную встречу...

И тут я увидел Ее. Она подошла уже совсем близко (странно, как я сразу не заметил!) и неторопливо двигалась, будто плыла, прямо на нас. А под ногами у нее суетился белый комочек с черными бусинами глаз и носа. Синий джинсовый костюм хоть и придавал ей отчужденный заграничный вид по сравнению с прочими, но очень шел к цвету глаз.

– Здравствуйте, – сказал я неожиданно тускло, в горле сразу пересохло.

– Здравствуйте, – она удивленно посмотрела на меня, не сразу узнавая.

– Гуляете, – догадался я, понимающе улыбаясь.

– Гуляем.

– Погода сегодня хорошая, – поспешил поделиться я. Она промолчала, скорее всего, пораженная глубиной моего заключения.

– А это, значит, ваша болонка?

– Нет, это волкодав, – она чуть улыбнулась.

– Это он или она?

– Снежок. А что это у вас за зверь?

Тем временем ее песик сделал самоуверенную попытку обнюхать моего спутника и, внезапно взвывая дурным голосом, отпрянул назад и принялся скакать до колен хозяйки.

– Что ты, Снежок? Успокойся, ну! – удивилась не то Люба, не то Галя, подхватывая его на руки. – Какая странная у вас... собачка!

– Гав! Гав! – торопливо сказал чертик, подтверждая свою породу.

– Что-то вас на работе не видать, – переменял я сомнительную тему.

– В институт поступала.

Я молчал, проклиная свою неловкость и взывая к чертику о помощи.

– Мы пойдем... – неуверенно заметила не то Люба, не то Галя, поглаживая кипенно-белую собачью шерсть.

– Подождите, – заторопился я. – Знаете, я даже не знаю, как вас зовут, да и вы тоже...

– А это обязательно? – она улыбнулась гораздо теплее, чем первый раз.

И меня прорвало, я заговорил как телетайп, из меня посыпались анекдоты, которых мне никто не рассказывал, случаи из жизни, никогда со мной не происходившие, стихи, которых я до сих пор не знал. Искренний смех слушательницы воодушевлял на новые и новые излияния.

– Меня зовут Юля, – сказала она, протягивая на прощание ладонь, и я понял, мы еще непременно встретимся.

– А меня Володя, – растаял я и только тут с беспокойством заметил, что «домашнего животного» со мной нет.

– Куда ты подевался? Не мог предупредить! – накинулся я с попреками на чертика, колдовавшего на кухне. – А если бы у меня не получилось? Если бы я не знал, что дальше говорить? Бросить меня в такой момент!

– В этих делах, – вздохнул мой приятель глобокомысленно, – чертовщины хватает и без нас.

– Но ты же мне помог сначала?

– Только чуть-чуть, самую капельку, – и чертик хитро подмигнул круглым желтым глазом.

VIII

На следующий день я на работу не пошел. За окном природа сходила с ума: лило не переставая, на душе тоже было паршиво. Я лежал, смотрел в потолок и думал. Кажется, никогда за всю жизнь столько не думал. О работе, о чертике, о том, как жить дальше. И, признаюсь, последнее место в мыслях занимала не то Люба, не то Галя, оказавшаяся на самом деле Юлей. Я представлял, как встречу ее, что скажу, что она ответит, и... сомневался, сомневался. Может, она меня не захочет видеть, может, не помнит вовсе? Временами я, забывшись, начинал говорить вслух, будто с ней, сам же отвечал на свои вопросы, ловил себя на этом, удивлялся. Словом, чертовщины хватало. А почему, собственно, не обратиться к чертику с просьбой действительно помочь в самом главном? Чего я хотел, я толком и сам еще не знал. Ну, чтобы жизнь моя переменялась, чтобы работа нашлась подходящая, чтобы Юля ко мне хорошо относилась, чтобы я стал ей нужен. Такие вот расплывчатые были желания. Как сказать о них чертику, не упустив ничего? Поймет ли он и сумеет ли помочь? Может, стоит попросить у него чего-то такого необыкновенного... Но, чего именно, я пока не знал. Что-то сейчас творится у меня в отделе, как я теперь там появлюсь? Невесело мне было.

Чертик заявился под вечер. Сразу запахло жженой серой, не мог он все-таки обходиться без этих дурацких эффектов, а может, механизм у него какой работал? Как бы то ни было, выглядел он совершенно сухим и бодрым, дождь на улице ему, разумеется, нипочем.

– Как жизнь, Вовка? – бросил он фамильярно, но меня не покорило от такого панибратства, я искренне обрадовался его появлению.

– Плохо, Черт Иванович, плохо. Жить даже не хочется.

– Да ты что? – встревожился мой друг. – Может, это от тунейдства?

И я выложил ему все свои безрадостные рассуждения о жизни, о работе, о Юле.

Он внимательно слушал, сидя на серванте, и, выдавая свое смятение, грыз сухарик, чего за ним прежде не замечалось.

– Брось, Вовка. Все будет хорошо, Жить всегда стоит. Безвыходных положений нет. Завтра ты пойдешь на службу. Раз я вмешался в твои дела – мне и расхлебывать. Все забудется: и разговор с шефом, и приход Клавдии, все будет по-старому...

Он успокаивал меня своими радужными обещаниями, даже начинало хотеться спать, но я строптиво возразил:

– Я же не могу так продолжать, понимаешь? Я не вижу пользы от своей работы.

– А это уж ты, друг ситный, сам решай, когда меня не будет. А то, что не так получится, меня же недобрим словом помянешь. Он, мол, стервец, подначил.

Я почувствовал успокоение, все оказывалось не столь уж мрачно. Голос чертика баюкал меня как маленького ребенка.

– А Юля? – капризно спросил я. Он показал свои огромные зубы.

– Тут моя помощь не потребуется. Она и так неплохо к тебе относится. Все будет как надо.

Я недоверчиво покачал головой, но как приятно было от его слов, точно слушаешь сказку со счастливым концом. Я верил каждому слову мохнатого оракула, даже мгла за окном, казалось, понемногу рассеялась.

– Покидаю я ваши края, – внезапно с грустью сообщил чертик.

Я широко раскрыл глаза, он перестал грызть сухарик. «Неужели прямо сейчас?» – хотел спросить я, и еще какие-то ускользающие вопросы завертелись в голове, но вслух лишь попытался отшутиться:

– А ты так и не заполучил мою бессмертную душу. И даже не сводил на свой чертовский шабаш...

– Ты часто несешь подобную ерунду, – сердито выговорил чертик. – Но мне все равно жаль с тобой расставаться.

– Мне тоже, – вздохнул я согласно.

– Не могу больше задерживаться, пора в другие места, меня ждут... – он говорил и говорил еще что-то очень важное о себе, обо мне, о людях вообще, но я едва понимал сквозь побеждающую дремоту. То ли чертик действительно признался, что он биоробот, посланный на Землю издалека, то ли это мне приснилось...

Не знаю, сколько продолжалось мое забытие, только проснулся я внезапно, словно ударило током. Чертика не было видно, серой в квартире больше не пахло. Будильник показывал восемь часов, за окном повисла темнота.

Разрушая вечернюю тишину в дверь позвонили, сначала робко, затем настойчивее. Я открыл, застегивая рубашку. В комнату неуверенно вошла молодая светловолосая женщина в мокром красном плаще.

– Можно, Вова? Здравствуй.

– Да, конечно, чего спрашиваешь?

– Ну-у... Может, у тебя кто есть, – она лукаво прищурила карие глаза. Такой счастливой я не видел жену брата, пожалуй, и в день свадьбы. Лицо ее прямо-таки светилось.

– Глупости, сестренка, я в единственном числе, как видишь, садись. Чаю разогреть?

– Я только на минуточку и раздеваться не буду, знаешь. Чего там крутить! Просто пришла сказать, что была не права насчет тебя, короче, неправильно к тебе относилась. Думала, вот сам шалопай и моего Коленьку сбивает. Ты уж не сердись, чего греха таить, думала, спаиваешь ты его...

Конечно. Я посмотрел в потолок. Братан, наверняка, частенько использовал меня для прикрытия своих походов.

– ...Ан нет, оказывается. Знаешь, как был он у тебя последний раз, так, поверишь, пить вчистую завязал. Все, грит, шабаш, Машутка. За столько времени первый раз в кино сводил, представляешь? И завтра опять на индийский фильм новый идем, двухсерийный! И это ты, благодаря тебе, Вовочка!

Она всхлипнула и смахнула слезинку. Я только пожал плечами, не рассказывать же ей про чертика.

– Вов, тут я тебе подарочек купила, – она растроганно засуетилась и протянула сверток, – рубашечка импортная, модная, в клетку, с планочкой и приталенная, твой размер как раз. Бери же, я от чистого сердца, чтоб старое не поминал.

Она потянулась и неловко чмокнула меня в щеку. Я забормотал слова благодарности и что-то опять про чай.

– Нет, я побегу. А то мой рано теперь приходит, ждет поди, сам ужин сготовил, наверное. Да ты заходи, Вов, в субботу заходи, просто так, горяченького поест, родные ведь. Я тебе тортик испеку, «Наполеон», – она видимо сдержалась, чтобы снова не всхлипнуть. – Ведь один живешь, бобыль бобылем. Как можно? Жениться тебе давно надо. Время будет, я вот ужю подберу невесту подходящую.

«Да не один, а с чертиком!» – чуть не сорвалось с досадой с языка, однако я вовремя его прикусил. Безусловно, Машутка бы меня не поняла правильно.

– Ладно уж, ладно, – проворчал я с деланной строгостью. – Как-нибудь сам разберусь. А тебе спасибо за беспокойство.

Она с тревогой заглянула мне в глаза, поняла, что я не всерьез рассердился, улыбнулась облегченно и заторопилась к выходу.

– Пока, сестренка, – захлопнул дверь и покачал головой: ай, да чертик, мимоходом наладил брату семейную жизнь. Где же он, герой дня, пора бы уж и заявиться. Я попытался дословно припомнить наш сегодняшний разговор, но не смог и лишь ощутил смутное беспокойство.

Раздался новый звонок, может, это его шуточки? Решил объявиться с помпой, на коне, так сказать? Но нет, на пороге стоял мой одноклассник Буров.

IX

– Проходи, Сашок, – приветливо пригласил я. – Будь по-свойски.

– Ну-с, где же твой черт, Вольдемар? – игриво осведомился он, усаживаясь поудобнее в мое единственном кресле.

– Пока нет, но с минуты на минуту ожидаю.

Он натянуто рассмеялся, критически осмотрел кирпичные стены, но от замечаний воздержался и только хитро подмигнул черным искрящимся глазом:

– А лимончик найдется?

На столике перед ним волшебным образом образовалась трехзвездчатая бутылка с горою

Арарат в кружочке. Этим фокусом он вполне мог поспорничать с моим чертиком.

Нашелся в холодильнике лимон, но и только. Квартирант-снабженец не обеспечил сегодня припасами.

– Извини, закусить больше нечем, – виновато сознался я, ставя на стол блюдце с присыпанными сахаром кружками.

– Ладно-ладно, не суетись. Лучше рассказывай, как и что. Не женился?

Хотя коньяк приятно согрел внутренности, не было у меня настроения откровенничать с психиатром, пусть даже и одноклассником. Да он и не нуждался в ответе на свой вопрос.

– А у меня уже двое, – не ожидая ответа, самодовольно похвалился Александр, не спеша смакуя лимон. – Мальчик и девочка. Жена – медсестра, квартирка двухкомнатная...

– Ну, и как? – поинтересовался я, кивая на ополовиненную бутылку. – Деньжат хватает? Я слышал, врачи-то не больно шикуют...

– Да, в общем-то... При нашей специфике ведь процент идет за вредность, ну и полторы ставки, разумеется. За двести рэ выходит. Хватает пока, только времени свободного маловато.

– А работа нравится?

– Лечить, брат, нашу клиентуру, – это да! Тайны мозга, так сказать, актуальнейшая проблема века, передний край науки.

– То есть сходят с ума потихоньку?

– Ну уж термин твой, Володимир... – поморщился гость.

– И как успехи?

– Всяко бывает, – уклонился Буров.

– Кандидатская светит?

– Есть кое-какой материалец. Но это вопрос будущего... – он подозрительно пробурлил меня черными глазами. Вероятно, ему пришла мысль, что разговор все больше напоминает профессиональную беседу, где я своими расспросами взял на себя роль психиатра, а он поневоле оказался пациентом. Такое распределение вряд ли для него могло показаться справедливым. – Сам-то как? Признавайся, не от хорошей жизни в чертовщину ударился? Все мы когда-то чего-то хотели... Нда... Что молчишь?

– Сейчас, только чайку заварю, или психиатры кофейком балуются?

– Чаю, так чаю, – потер руки Александр. – Только скажу тебе, это ты здорово насчет чертика придумал. Завидую я тебе.

Я уже заваривал чай «Бодрость» на кухне и чуть не выпустил чайник из рук.

– Как это?

– Да так. Это твоя отдушина, вроде аутотренинга. Надо уметь противостоять разрушительному натиску современной жизни. Может быть, лучше было бы каждому завести своего «чертика», а то, знаешь, марки собирают, зверушек разводят, кактусы. Это все не то. Скажу откровенно, я не считаю этот твой бзик, назовем его так, патологией. Я тщательнейше все проанализировал.

Я принес чашки и разлил по ним чай.

– Можешь с блюдца, как купцы.

Александр отхлебнул, посасывая кусочек сахара.

– Конечно, я вовсе и не думал, что ты предъявишь мне настоящего черта. Просто давно хотелось пообщаться, тем более эта твоя идея весьма любопытна.

Я начал злиться понемногу, становилось обидно за моего чертика, почему его до сих пор нет, уж он-то идеей не был.

– А знаешь, – разоткровенничался Александр, едва бутылка опустела. – Однажды в юности я видел огромных фиолетовых тараканов на белой стене, то есть в действительности их, разумеется, не было, это случилось от переутомления.

– Иди ты к черту! – разозлился я вконец и громко отхлебнул горячего чаю. За стеной запели: «Спят усталые игрушки...»

– Ты всегда был резким парнем, – заметил Александр обиженно, но излияния прекратил. – Не сгонять ли нам партийку по старой памяти?

Я пожал плечами и достал шахматы, результат был заранее известен. Он дважды разделал меня под орех, чертик так и не появился.

Мало-помалу Буров снова разговорился. На него нахлынули воспоминания о незабвенных школьных годах, об учителях, одноклассниках. Он говорил без умолку, прямо-таки словесный понос его прошиб.

– А разве тебе не хотелось бы увидеть нашего завуча Еремея Петровича? – приставал он, хватая меня горячими руками и заглядывая в глаза.

Воскресла и погасла в памяти тень далекого прошлого – удручающий разговор в учительской, противная дрожь в коленках...

– Нет, не хотелось бы, – решительно отсек я. – Совсем не хотелось бы.

Он еще говорил и говорил, и я понял, как он мне надоел. Очевидно, это прочлось по моему лицу. Александр сложил шахматы.

– Спасибо тебе, Вова. Развеялся я с тобой, старое помянул. Спасибо.

– Заходи, буду рад, – пообещал я, унося чашки на кухню.

– Ну, прощай, – засобирился Буров. – И знаешь, твой чертик – это твоя удача, тебе даже алкоголя или транквилизаторов не требуется, как прочим, чтобы снимать стрессовые состояния.

Я не стал его разубеждать в правильности концовки последнего утверждения. Что ж, будем надеяться, несмотря на это, я не попадусь вам в качестве пациента, дорогой доктор Буров, думал я, машинально пожимая руку Александра в прихожей. Наверное, чертик действительно моя удача.

Эту ночь я спал в квартире один, мне снились тревожные сны. Буровские пронзительные глаза и борода, развеселый брат Николай, появляющаяся и тут же исчезающая Юлия, насмешливые лица сослуживцев. Я видел моего мохнатого друга, он улыбался, скаля зубы, и бодро махал хвостом, как бы прощаясь.

X

Я отправился на работу с ожиданием бури, но странно, все пошло как обычно. Слово и не было рокового объяснения с шефом, заявления об уходе, таинственных слухов о моей персоне. Меня окружало привычное равнодушие и бумаги, бумаги, бумаги на столах. Видимо, чертик сдержал свое слово. Даже Клавдия Федоровна вела себя непринужденно, вновь снабжая меня интересными журнальчиками. Я пробовал тактично намекнуть ей об одном нашем хвостом знакомце, но ответом послужило искреннее недоумение.

Чертик не появился ни на следующий вечер, ни на другой. А может, его и не было вовсе? Снова жизнь вошла в наезженную колею. Перебирая макулатуру на столе, я убеждал себя, что завтра же уволюсь, попробую изменить свое существование, сделать его как-то интереснее, осмысленнее... Но дни идут, а все остается по-старому, не хватает, что ли, духа? Каждый день одно и то же, только мысли о Юле дают какое-то просветление, надежду, прибавляют сил.

Дня через два после возвращения на круги своя, когда я почти перестал ждать вестей от чертика, произошел еще один удивительный

случай. Вернувшись с работы с мечтой о теплой ванне, я разочарованно убедился, что в кранах нет воды. Спать не хотелось, оставаться в четырех стенах тоже. Я собрался было уходить, как в дверь позвонили. Короткий звонок, затем требовательный перезвон. Может быть, пионеры собирают металлолом? В таком случае они не по адресу... Я открыл и с удивлением воззрился на огромный картонный ящик у самого порога. Двое деловитых молодых людей в синих болониевых робах разминались на площадке.

– Квартира тринадцать? – осведомился один из них, сверяясь по бумажке.

– Д-д-да... – ошеломленно подтвердил я.

– В таком случае, пожалуйста, распишитесь в получении, вот здесь.

И у меня перед глазами оказался заполненный бланк.

– Но я ничего не заказывал... – попробовал возразить я.

– Не беспокойтесь, все уже оплачено. Вам остается только расписаться.

Опасаясь подвоха, я внимательно осмотрел квитанцию на получение и установку цветного телевизора и расписался дрогнувшей рукой в указанном месте.

Через пятнадцать минут извлеченный из коробки монстр светился в углу моей будто сжавшейся комнаты. Молодые люди ушли, оставив меня наедине с внезапным приобретением.

Я совсем не любитель глазения в ящик, да и денег лишних не находилось на покупку. Вспомнилось, как-то чертик поинтересовался об отсутствии этого обязательного атрибута жилища XX века. Я отшутился тогда: мол, брат, так уж цветной, чего мелочиться! Не его ли это проделка? Откуда еще взяться дорогому телевизору... Что мне оставалось делать? Как говорится, дареному коню...

По первому каналу передавали новости сельского хозяйства. Золотые хлеба колосились на фоне синего-синего неба. А потом появились красные комбайны с загорелыми механизаторами. Очень эффектно смотрелось, но когда перед камерой возникла студия, и диктор за круглым столом принялся задавать вопросы знатным хлеборобам, я переключил канал. Через пять минут стало ясно, что речь идет о техническом творчестве молодых, но краски, краски были не те. На последнем канале шла учебная передача на неведомом языке, то ли испанском, то ли итальянском, впрочем, для

меня без разницы. Я покрутил переключатель еще, просто так, на всякий случай, и едва не подпрыгнул на месте. Мне показалось... Да нет, этого никак не могло быть, я бешено завертел колесико назад. Так и есть! Прямо на меня уставилась слегка искаженная помехами физиономия моего чертика!

– Привет! – раздался сквозь шум и треск знакомый скрипучий тенорок. – Не ожидал?

– Это ты? Это действительно ТЫ? – заорал я, стараясь отрегулировать настройку звука.

– Как видишь! – подтвердил, знакомо скалясь, бывший постоялец.

– Где ты находишься?

– Собственно говоря, я уже вне вашего пространства. Мы видимся, скорее всего, в последний раз...

Мне показалось, его мордочка приняла удрученное выражение.

– А телевизор?

– Ну, тебе же нужно какое-то общение, ведь, признайся, сейчас тебе не достает наших разговоров, а?

– Уж не хочешь ли ты сказать, что телевизор может заменить черта? – съязвил я.

Мой друг радостно захихикал, вернее закрипел.

– Да-да, в точку, самая чертовская штуковина! – закивал он.

– За что же мне такое?

– Видишь ли, Вова, захотелось оставить что-то тебе на память о незабываемых часах, проведенных среди твоих фальшивых кирпичей. Да и в хозяйстве сгодится, – торжественно, даже напыщенно пояснил чертик.

– Ну так прилетай еще! – радушно пригласил я. – Слушай! – осенило меня. – А ты можешь выполнить мою просьбу, одну-единственную и больше ничего не надо, даже телевизор возьми назад.

– Это же подарок, – укорил он, – впрочем, говори, я слушаю тебя, Вова, – желтые понимающие глаза смотрели на меня с большого экрана на внимательно и печально.

– Слушай! – торопливо заговорил я, боясь, что он совершенно растворится в набежавшей ряби помех. Черт возьми! Именно сейчас я внезапно отчетливо понял, что он действительно могущественный и добрый Пришелец. Подумать только, может, это единственный случай за всю историю, а уж в моей жизни точно, такого шанса больше не представится. – Слушай, ты знаешь

теперь, как мы живем, ну мы, люди, человечество, знаешь, что у нас происходит?

– Более-менее, – неопределенно согласился чертик.

– Неужели ты или те, кто тебя послал, не можете повлиять на нашу жизнь, сделать так, чтобы не было войн, чтобы все стали счастливы?

– Нет, изменить ход событий мы неспособны, – твердо произнес чертик. – Это невозможно. Люди сами должны разобраться в своих делах. Ты просишь неосуществимого. Прости, но я ничем не могу помочь.

– А будет ли она – война? – спросил я с отчаяньем.

– Ты думаешь, мне ведомо будущее? – чертик грустно улыбнулся, показав напоследок еще раз несоразмерно большие зубы. Помехи смяли вконец его физиономию, и сквозь усилившийся треск до меня донеслись из динамика последние слова:

– Будь счастлив, Вова, я рад, что узнал тебя и вашу жизнь, все будет хорошо. Прощай!

– Подожди! – закричал я, не знаю, что на меня накатило, только я понял, это все, больше чертика мне не видать. – Сделай хотя бы так, чтобы я был счастлив, чтобы жизнь моя не прошла зря! Ну что тебе стоит, сделай так, пожалуйста, ну сделай! Умоляю тебя!

Не помню, как я очутился на коленях перед подернутым цветной метелью экраном. Чертик не появился, скорее всего, он меня уже не слышал. Зато на экране возникло трио бандуристов, певших на украинском языке. Эх, какого дурака я сваял!

Я ждал довольно долго, затем поднялся и выключил телевизор, за который даже забыл благодарить. Осенние сумерки вливались в окно, окутывая меня таинственным полумраком. Я зажег торшер, и его зеленоватый свет принес в комнату ясность и успокоение.

XI

В гастрономе продавали яйца. Странно, очередь набралась сравнительно небольшая. Теперь без чертика я вынужден был восполнять свои запасы сам, пришлось встать в хвост. Оставалось каких-то несколько человек до прилавка, когда сердце мое тревожно и радостно забило: к отделу подходила Юля. Сегодня она была в синем плаще, который очень шел к ее глазам. Неуверенно оглядев стоящих, она двинулась назад, намереваясь занять место в

конце. Взгляд ее скользнул по моему лицу, будто не узнавая.

– Юля! – я протянул руку и вовлек ее в очередь. Старушки сзади возмущенно зашумели. Я поцеловал девушку в щеку и с негодованием обернулся: – Это моя жена!

Ропот тотчас умолк. Юля даже не отстранилась, только покраснела и опустила глаза.

– Зачем вы так? – спросила она, когда мы, уже нагруженные, вышли из магазина. Приветливо светило солнце, желтеющая листва на ветках не шевелилась, а с ее белого полиэтиленового пакета подмигивал ушастый Майти Маус. Я подумал, что портрет моего чертика пришелся бы уместнее, и не мог не улыбнуться.

– Конечно, спасибо, что избавили меня от стояния, но я же не просила... – видимо, Юле не хотелось чувствовать себя в чем-то обязанной мне.

– Не надо, – взмолился я, и девушка покорно замолчала. – Теперь всякий раз, когда будете жарить яичницу, вы будете вспоминать меня.

Мы медленно шли по бетонным плиткам тротуара, Юля молчала. Ее черные волосы послушно лежали на плечах, только челка сбилась на глаза, она поправила ее и как-то внимательно на меня посмотрела. Я сделал вид, что не заметил.

– Знаете, Юля, ведь я вас обманул в прошлый раз, – виновато признался я, глядя под ноги.

– Да? – изумилась девушка. – Это как же?

– Дело в том, что со мной была вовсе не собака, а маленький говорящий чертик.

– Похож, вы знаете, действительно похож. Только я слышала от него что-то вроде «Гав-гав». В самом деле, поразительно необычное животное...

– Да не животное он вовсе, а исключительно даже разумное существо. И неизвестно откуда взявшееся.

– Как-то все-таки не верится, – вежливо усомнилась моя собеседница. – Вы, наверное, сочиняете, пишете что-нибудь?

– Да нет же, никакой я не писатель. Мы с ним на самом деле общались и теперь мне его чертовски не хватает.

– А куда же он подевался?

– Он улетел... – поделился я с элегическими нотками. – Хотя, впрочем, не знаю, просто исчез. Но дело не в этом. Мне так хотелось попросить его об одной услуге! Думаю, он мог реально помочь. Я дико жалею, что не успел сделать это-

го... Впрочем, еще раньше он заверял, что его вмешательства даже не потребуются.

– Я не понимаю... – Юля остановилась и с тревогой посмотрела на меня. Ну ни капельки она мне не верила. Да и странно было бы ждать другого.

– Это не бред. Он мог исполнять желания. Но мне не хотелось бы остаться его должником.

– Кажется, начинаю понимать... Он служил вам вроде живого талисмана? Да? Вы, наверное, суеверны? Что же такое важное вы хотели попросить у него?

Я вобрал в легкие побольше воздуха, как перед прыжком в воду, и выпалил:

– Видеть вас почаще, говорить с вами, слушать вас, стать необходимым для вас...

Я перевел дух, Юля задумчиво молчала. Я ждал со страхом, когда же она заговорит. Синие внимательные глаза изучали мое лицо. Наконец она медленно разжала губы:

– Но ведь это зависит совсем не от чертика, Володя... – Она помнила мое имя! – Вы, правда, не шутите? Впрочем, здесь не место для такого разговора. К тому же мы еще так мало знаем друг друга. Позвоните мне, хорошо? Завтра вечером сможете?

Она назвала номер телефона, оказывается, мы давно стояли возле ее подъезда. Все происходило как во сне. Она улыбнулась на прощание и ушла, и в огромных глазах ее на этот раз я не увидел прежней грусти.

«Эх, чертик-чертик, кто знает, может, несмотря на обещание, приложил ты свою мохнатую

лапку? И то, как она посмотрела, лишь твоя заслуга? Но вдруг в один прекрасный миг кончится твое колдовство, и она поглядит на меня совсем иначе? Что если это так?»

На следующее утро я шел на работу не спеша. И было отчего. Будто впервые разглядывал золотые подвески на ветвях, слушал шуршание листьев под ногами, ощущал запах осени. Казалось, передо мной открывалась новая, совершенно иная жизнь.

На остановке троллейбуса подошел к щиту с приглашениями на работу. Среди прочего требовались ученики мездрильщиков с очень приличным окладом. Что это за специальность? Почему бы мне не избрать профессию со столь звучным названием? В кармане плаща лежало заявление об уходе, написанное вчера. Хватило бы духу выложить его перед шефом...

XII

Много раз позже в затруднительные моменты жизни я часто сокрушался: эх, был бы со мной чертик! Неужели теперь постоянно придется рассчитывать только на себя, самому брать ответственность за принимаемые решения? Все чаще и чаще ловил себя на мысли, что мне очень не хватает его, частенько не хватает. И не знал, что делать дальше? В голове все чаще появлялась непривычно новая мысль: жениться, что ли, в самом деле? Однажды я набрался решимости и поделился своими сомнениями с Юлей.

Давно это было, очень давно...



**Андрей
ФРОЛОВ**

ВИСЕЛИ ДОМА НА ВЫСОКИХ ДЫМАХ



БАБЬЕ ЛЕТО

*Богом посланная милость –
Теплый солнечный денек.
Это лето зацепилось
Паутинкой за пенек.*

*Продолжает труд тяжелый
Забубенная пчела.
Пацаны бегут из школы
На окраину села,*

*Промелькнут по кособору –
Мимо пасеки, на брод.
А пескарь в такую пору
И на голый крюк берет!*

ПОЛИВАЛЬЩИК

*Картину детства в сердце берегу я:
Володька Рыжий, дворничихин внук,
Схватив за шею радугу тугую,
Над головою чертит полукруг!*

*Широкий веер радужных осколков
С шипением врезается в газон.
А мы поодаль, хмурые, поскольку
К Володьке подходить нам не резон.*

*Штанины клеш – такая нынче мода,
Над синяком сверкает хитрый глаз...
Что говорить, он старше на три года –
Почти эпоха разделяет нас!*

СЪЕМКИ

*Глухое рывканье мортир,
Дым в поле, как стена...
Снимают фильм «Война и мир» –
Сейчас как раз война.*

*Гороховецкий полигон
Теперь – Бородино.
Наш взвод в массовку приглашен...
Такое вот кино!*

*На десять дней ворвался свет
В армейский серый быт!..
Жаль, во француза я одет
И должен быть убит.*

*Красиво падать учит нас
Известный каскадер.
И вот грохочет, как приказ:
«Внимание! Мотор!»*

86

ФРОЛОВ Андрей Владимирович родился в 1965 году в Орле. Окончил Орловский строительный техникум, после чего два года служил в рядах Советской армии, работал – от плотника до инженера. Автор книг стихотворений «Старый квартал» (2000), «Над крышей снова аисты» (2004), «Над туманом сад плывет» (2011) и сборника рассказов «Конечная остановка» (2006). Стихи и рассказы публиковались в альманахах «Поэзия», «Невский альманах», журналах «Наш современник», «Роман-журнал. XXI век», «Простор», «Родная Ладога», «Молодая гвардия», «Литературный Омск», «Огни Кузбасса», «Подъем», «Бийский вестник» и др. Произведения включены в антологию современной литературы «Наше время» (Москва – Нижний Новгород, 2009, 2010) и антологию «Русская поэзия XXI век» (Москва, 2010). Член Союза писателей России. Живет в Орле.

Кино – серьезная игра:
Бежим в атаку, но
Лихое русское «ура»
Кричать запрещено.

Штабной московский генерал
Безмерно горд за нас,
А я бы русского играл
Правдивей в десять раз!

ИЮЛЬСКИЕ СТИХИ

1. НОЧЬ

Вышла из-за облака луна,
Озарив округу бледным светом.
Крикнешь, и ночная тишина
Выстрелит раскатистым дуэтом.

Ото сна встряхнет речную гладь,
Распугав ватагу юрких бликов,
И сомкнется наглухо опять –
До зари, до первых птичьих криков...

2. УТРО

Старый пруд, затерянный в глуши.
У воды ракиты прикорнули.
Браво в три шеренги камыши
Замерли в почетном карауле.

Резкий взмах пружинистой удой –
Чуть с оттяжкой влево, как учили, –
Снасть несется пулей над водой
И, блеснув, скрывается в пучине.

Гаснет рябь от легкого шлепка.
Жду, волнуясь, первого успеха.
Тишина настолько глубока,
Что не возвращает даже эха.

* * *

Линялый август...
Встать до солнца,
Когда еще в ознобе сад,
И пересуды у колодца
Вчерашние еще висят;
Набросив – так, на всякий случай, –
На плечи дедовский бушлат,
Хрустя антоновкой пахучей,
Пробраться мимо спящих хат
За край села, где по-над лугом

Туман раскинулся ковром;
Брести в нем, влажном и упругом,
На колокольчики коров;
Ступить в дымящуюся реку
И плыть заре наперерез...
Каких же нужно человеку,
Помимо этого, чудес?

СЛУЧАЙ

...На глупость сетуя свою,
Стоял возница, мокр и зол.
А конь, попавший в полынью,
Не шел ко дну...
Никак не шел!

Острее бритвы кромка льда
Кромсала выпуклую грудь,
И черно-бурая вода
Зияла, как последний путь.

А своеволие реки
Влекло безудержно под лед.
И говорили мужики:
– Такая сила пропадет!..

АГРОНОМ

Может, вы о нем слышали, –
спорить не возьмусь, –
просыпался с петухами,
брился наизусть.
Ставил мерина в оглобли,
отводил плетень,
понукал – вороны глохли
за пять деревень.

Вдоль дорог стога мелькали,
ежилась стерня.
Впереди всходили дали
в свете трудодня.
Громыхая на ухабах,
вслед за ним неслошь
необъятного масштаба
бодрое «авось».

СТРОЙКА

Домишко скромный –
стена в кирпич
полгода строил
старик Кузьмич.

Село ворчало:
 не тот, мол, пыл,
 у Кузьмича, мол,
 не хватит сил,
 ровесник века –
 не совладать...
 Кузьмич кумекал,
 где тес достать.
 Залил фундамент
 и начал класть
 на камень камень,
 перекрестясь.
 Стропила, кровля –
 не на авось.
 Забил к Покрову
 последний гвоздь.
 Приладил двери
 и вытер пот:
 – Ну, кто не верил?
 Смотрите – вот...
 Присел в сторонке
 и вдруг... чихнул.
 Как о приемке
 акт подмахнул.

ВОРОЖЕЯ

Ходили слухи: бабка – ведьма,
 Мол, ей и глазазить – плюнуть раз.
 Давно пора ей помереть бы,
 Да ведьмам слухи – не указ.

Вот и жила неторопливо,
 Мирясь со злобой языков,
 И взглядом жгучее крапивы
 Стегала души земляков.

Скупа на ласковое слово,
 Копной волос белым бела
 И подозрительно здорова...
 До той поры, как померла.

С кончиной каверзной старухи
 Утихомирилась молва...
 А на девятый день округе
 Хватать не стало волшебства.

ХРАМ

Храм рождался тяжело,
 Туже истины.
 Собиралось все село
 Возле пристани.

И стучали молотки
 Лето целое.
 Поднималось у реки
 Чудо белое.

В небеса взметнулся крест
 Ярким всполохом.
 Долгожданный Благовест
 Грянул колокол!

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Висели дома на высоких дымах –
 Отчаянно печи чадили в домах,
 И в каждой четвертой по счету печи
 Румянили к Пасхе бока куличи.
 Клубился ванильный над крышами дух,
 Творились молитвы устами старух,
 И вздох колокольный летел до небес,
 И верили люди:
 – Спаситель воскрес!..

* * *

В период коротких закатов
 Кусается злее недуг.
 Туман под деревьями матов,
 А воздух холодный – упруг.

Ночная тревожная птица
 Визгливо ругает росу...
 И очень легко заблудиться
 В себе, как в дремучем лесу.

ПОСОХ

В зоревых, тяжелых росах,
 В стылой сумеречной мгле
 По земле блуждает посох,
 Дыры делая в земле.
 Свет смуту и раздоры,
 И судачат старики:
 – Бродит в поисках опоры,
 Твердой, праведной руки...

**Александр
САВЧЕНКО**

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Рассказ



– Здравствуйте, бабоньки! – Леха мимолетом посмотрел на троих завсегдатаек скамейки около своего подъезда и попытался проскочить в незакрытую дверь.

– Коли не шутишь, тоже не кашляй! – ответила бойкая Селиверстовна, женщина в годах, но с молодецким блеском во взгляде. Петриха что-то невнятно буркнула и полезла в карман за носовым платком. И только рыжая Феша скривила свой рот:

– Пить меньше надо!

Леха хотел было схватиться с Фешей – вот уж точно противное существо. Да плюнул. Только время да нервы тратить ни на что...

Леха жил в этом доме с незапамятных времен. А незапамятные времена относились к тому году, когда после строительства дом стали заполнять жильцы.

Подъезд, в котором жил Леха, заселялся по городской очереди. Поэтому новоселы были в основном с разных окраин, из частного сектора, из перенаселенных бараков и обветшалых квартир.

Местная молодежь не помнила, как их папки и мамки толкали из грузовых машин жиденький скарб. На свои этажи доставляли его обычным

пехом – хоть и была девятиэтажка с лифтом, но эти механизмы специально отключали, чтоб народ глубже чувствовал радость своего переселения...

А кто-то уже потом родился здесь... А кто-то и помер тут, недолго понаслаждавшись горячей ванной и сортиром, встроенным аккурат у входа в кухню...

89

Только Леха жил и жил здесь. Ушел он с шахты рано, придавило его однажды в забое, помяло здорово, а правую ногу раздробило так, что ее чуть хирурги не обрезали по самое колено.

Спасибо супруге Таисии, царство ей небесное, – прорвалась она до горкомовского начальства, и Лехе заменили обрезание конечности длительной и кропотливой сборкой раздробленных костяшек с двумя операциями.

Стал ходить потом Леха сначала с костылем, а после – так на своих двоих. Правда, заметно прихрамывая.

Было в семье у Лехи двое сыновей – пацаны разные и по внешности, и по замашкам.

Старший Сергей, невысокий такой, тихомирно окончил школу, потом как-то незаметно поступил в институт, выучился на строителя, женился и жил своей семьей в другом конце города. Иногда навещал родителей, по весеннему

САВЧЕНКО Александр Карпович родился в 1937 году в рабочем поселке Любино Омской области. Получил специальность инженера-гидротехника, по распределению из Омска был направлен молодым специалистом в Кузбасс. Работал в Мариинске и Кемерове, с 1967 года – в Новокузнецке. Печатался в альманахе «Литературный Омск», журналах «Юность», «Крокодил», «Шмель», «Огни Кузбасса», «Кузнецкая крепость», в «Литературной газете», участвовал в коллективном сборнике «Музыка победы». Автор книг «СОВ ПАДЕНИЕ» и «В плену времен». Лауреат журнала «Огни Кузбасса» за 2012 год. Живет в Новокузнецке.

теплу привозил знакомиться с дедом и бабкой новое поколение. И опять до следующего года...

– Серега-то мой – клепальщик. Во! – показывал Леха соседям большой палец с пожелтевшим от курева ногтем.

Второй сын Ивашка был рослым красавцем. Парень неглупый, обходительный, за что его уважал весь двор, но рано спутался с дурной компанией. Школу забросил, не доучившись в девятом классе. Поставили его в милиции на учет – попался с дружкой на воровстве мотоцикла. Потом он стал исчезать на день-два. Где, с кем пропадал – ничего от него не добьешься.

Леха спокойно относился к выкидонам Ивашки, надеялся, что со временем парень исправится. А вот Таисия сильно переживала за сына. Она вообще была женщина с большой жизненной тягой. Больше думала о других, чем о себе. И это же ее скосило.

Как-то на иномарке привезли дружки Ивашку еле живого. Старший из прибывших шепнул Таисии:

– Хана, мать. Переширялся Иваха.

– Че-че? – побледнела Таисия.

– Дозу не рассчитал, – задумчиво пояснил гость, отводя взгляд в сторону.

К вечеру Ивашке стало совсем плохо, мать вызвала скорую. Увезли младшего с пеной у рта. А забирать Ивашку пришлось уже из морга.

Но беда не приходит в одиночку. Таисия на глазах таяла, извелась от горя и тоски. Ровно на сороковину, как не стало сына, снесли на кладбище и ее.

Вот и остался Леха бобылем, одинёшеньким на весь белый свет.

Ни дачи, ни огорода у Лехи никогда не было. От всего этого он с большой радостью сбежал в молодости из таежной деревеньки. Конечно, подался в город. Пошел на шахту. Там и остался, как прикованный. Сходил в армию. Отдал Родине два заветных года жизни. Остались безликие воспоминания об острове Русском да о тамошней солдатской службе впроголодь. Вернулся опять на ту же шахту. Втюрился в бойкую девку из своего общежития, а вскоре сыграли свадьбу.

Таисию он любил нутром. Никогда не говорил ей слов о любви. Но женщина быстро уловила характер мужа и знала, что она у него одна-единственная и до других баб у него просто нет никакого интереса. За это и рожала от него с охотой.

Правда, была у Лехи тайная склонность к сочинительству. Но ничто ему не удавалось, кроме простеньких частушек. Сами по себе лезли они в голову. И все были, как говорится, на злобу дня. Он и не понимал, как это происходит. Вроде езды на велосипеде. Если уж научился ездить, то не думаешь, каким образом двигаешь ногами и как сам по себе поворачивается руль, чтоб ты не опрокинулся наземь...

Строчки приходили неожиданно – то в вахтовке, то в душевой, а чаще под землей – прямо в забое. Иногда по две, а бывало и сразу четыре.

Леха никак не мог понять, откуда это и зачем оно ему дано...

Он и петь-то никогда не пел их, а при случае произносил слова скороговоркой, каким-то нарастающим речитативом. Парни шахтовые знали Лехину слабину. Кто-то подтрунивал над ним, но большинство уважало его за это. Было в Лехиных частушках много правды и соли. Только не сочинял он никогда и ничего с бесстыжими и матерными словами...

Домой приходилось добираться с пересадкой на крупной остановке, которая называлась «Березка». Там проходил почти весь городской транспорт, останавливались даже электрички.

Ребята, успевшие уже сбросить с себя основную долю усталости, человек по пять шли к ближайшему киоску, брали по паре бутылок пива и медленно переливали содержимое в себя.

– Как там у нас про нас? – вопрошал Леху толстоносый Селиван.

Леха медленно ежился. Это было не от наигранности и не от смущения, а от холодящего пива «Балтика». Он декламировал, стараясь побыстрее закончить свое четверостишие:

*После шахты мы, как рыба,
Полминуты спим с женой...
И за то от нас «спасибо»
Нашей партии родной!*

Кочнев, человек идейный и проверенный компетентными органами, поднял глаза, похожие на очки:

– Щас, Леха, не та обстановка, чтоб нагнетать. Щас важно поддержать курс на стабилизацию...

– Иди ты к лешему! – вмешался снова в разговор Селиван. – Леха говорит по уму. Я лично подписываюсь под его словами всеми девятью пальцами.

Селиван был не только мудр, но и точен: у него с давних пор не было мизинца.

Молча допили пиво.

– Ну че? По коням? – заторопился самый молодой в бригаде Рожков.

– Не по коням, а по домам! – наставительно порубил воздух ладошкой Селиван.

Вчера Леха столкнулся у универсама с Колей Рожковым – когда-то они работали в одной бригаде. Коля был на десять лет моложе, но тоже уже давний пенсионер. Поговорили о том, о сем. О погоде, о здоровье. Потом Коля показал на ближайший магазин – там круглосуточно можно было выпить пивка или чего-нибудь покрепче.

Коля заказал по соточке «Губернаторской», четыре кружки пива и по бутерброду с сыром.

Вспоминали о былых временах.

– Да, гремел когда-то наш брат. Шахтеры были в цене, – сдул пену к краю пластикового стакана Рожков.

– Было, было, – поддержал его Леха, – кадровый состав был вроде как солдат в роте. А сейчас кто он – шахтер? Наемный рабочий. Вошь на гребешке. Не больше.

От выпитого лицо Лехи побледнело, осунулось.

Вспомнили о тех, кого уже нет.

– Селиван-то, помнишь, казалось: износу не будет. А рачок в считанные недели съел... – Рожков снова сдул пену. – Земля ему пухом!

– Че Селиван?.. Никитин – тот вообще...

– Знаю, знаю... Сосед мой по даче был... Человека ни за что уложили подонки. Замечание сделал всего лишь – чего, мол, к девахе принародно пристааете. Его принародно и пырнули ножом...

...Леха шел домой, чуток пошатываясь, вдобавок прихрамывая. На душе было мерзко. Вот встретил Рожкова, калякали вроде долго, а никакого проблеска света.

От скорой ходьбы начинало жечь грудь. Леха вошел в свой двор и увидел сидящую на скамейке Фешу.

«Ну, мать твою, – подумал Леха. – Змеюка опять на своем посту. Нет у нас других забот: лишь бы был открытым рот».

Лехе захотелось чем-то ответить на пакостный вызов Феши в виде нахального сидения в середине белого дня. Он молча подошел к ней и приютился с другого конца скамейки.

– Давно, сосед, не видала тебя. Хоть бы поздоровкался...

Замечание Феши окончательно добило Леху. И он не удержался:

*Во дворе обматерил
Бабу всенародно я...
И обиделась она –
Какая благородная!*

Леха хотел было завернуть что-нибудь похлеще, но Феша замахала руками и заговорила скорым-скорым текстом, будто запричитала:

– Ты че, сосед, пакостничаешь? Была б Таисия жива – она бы с тобой быстро управилась... Иди проспись лучше...

Леха молча посидел еще минутку. Потом встал, переложил вес своего тела с больной ноги на здоровую и закончил разговор:

*Не мужик я был бы, кабы
Не стерпел упреки я...
Эх вы, бабы, бабы, бабы –
Люди недалекия!*

А потом дня через два сам сидел на скамеечке. Спускался со своего этажа и – надо ж: заныла больная нога. Леха видел, как из подъезда вынырнула рыжая Феша. Точно заметила его, но демонстративно запрокинула нос к небу и засеменила куда-то по своим делам. Даже не поздоровалась... Эх ты, язва неугомонная!

А время бежало. Как собака, которая торопится куда-то и не знает, зачем это ей надо... Начались первые зимние морозы, хоть и был только конец ноября. Леха занемог. Как поднатужится – в глазах круги и огонь за грудиной. Леха направился в поликлинику. Там его сразу же взяли в оборот. Кардиограмма, укол, таблеточка. И наконец краткое резюме докторши:

– Я отвечать за вас не хочу. Маша! – это молоденькой сестре, – вызывай скорую! Думаю, что тяжелый случай стенокардии...

Так Леха попал в больницу. Как кур в оцип.

Он ни разу не был в подобном лечебном заведении, если не считать, конечно, травматологии. Тут свои устои и порядки. Своя разноликая и по виду здоровая клиентура. Общее лишь одно – все сердечники. В палате их набралось ровно по числу коек – восемь человек. На второй день под вечер долговязый мужик из Сосновки завалился набок и стал заходиться тяжким хрипом. Прибежали сестры. Пришагал дежурный

доктор в махоньких очечках. Но, видать, бедняге уже было помочь нечем.

Остались от мужика потертые шлепанцы, которые по наследству получил Леха.

Леха лежал на кровати, отвернувшись к окну.

В голову лезли воспоминания о прошлой жизни. А жизнь его, оказывается, сводилась только к работе.

Дома что? Поел. Поспал, что-то сказал Таисии, она тоже что-то в ответ... Ребята росли, получается, около матери, а не рядом с ним. Отец и не заметил, как один сын отдалился от семьи и от родителей, а второго они не уберегли, потакая ему во всем... Да и Таисия, вроде шумливая, даже озорная женщина, ушла в иной мир тихо, как будто нажилась на свете больше, чем отпущено Богом.

– Володеев, к тебе пришли! – квакающим голосом произнес новичок Чупин, входя в палату.

– Серега, что ли? Наверное, кто-то передал, что отец загремел в больницу.

Леха, поправляя перекошенное трико, вышел в коридор. Никакого Сереги тут не было.

В свете окна он увидел Фешу.

«Змеюке-то чего тут?» – хмуро подумал Леха о соседке.

Он подошел к ней медленно-медленно, готовый в любую секунду развернуться и уйти прочь.

Но его смутило улыбочивое и в то же время с каким-то болезненным налетом открытое лицо женщины.

– Здравствуй, соседка, – вымучил из себя Леха.

– Здравствуй, Алексей! – будто спохватилась Феша. – Вот прослышала, что ты в больнице...

– Я вовсе не Алексей, – смягчил душу Леха. – Я по паспорту Леонтий.

И он улыбнулся. Улыбнулась и Феша.

– Тогда, значит, ты Лева. А то все: Леха да Леха... Будто у человека настоящего имени нет.

Лехе показалось, что болезненность с лица Феши потихоньку сошла, и теперь оно было радостным и даже приятным его взору.

– Я ведь, Лева, знаю, как человеку одному жить. А в беде, не дай бог, тройне тяжко.

– Это да, – Леха поправил слезавший с ноги большущий тапок, память о сосновском бедолаге.

– Вот возьми. Поешь на здоровье! – Феша достала из кожаной сумки полиэтиленовый пакет – три яблока, три апельсина и фасованный ломтик сыра.

– Много-то зачем? – обмяклым голосом спросил Леха.

– Ты чудной человек, Лева! – засуетилась Феша, вроде как испугалась, что Леха откажется от ее гостинца. – По два нельзя – не на похороны же. А по одному яблоку да по апельсинке – это уж срам совсем. Да и ты – мужик, а не дитенчишко... Тебе надо поправляться... Я здешнюю еду знаю...

Леха с теплым любопытством рассматривал лицо Феши. И тут их взгляды скрестились. Где-то в груди Лехи вдруг щебетнуло. Ему показалось, что из глаз Феши изошло невидимое сияние, осенившее его всего. И больное сердце трепыхнулось по-другому, вроде как сказало: «Жить будешь. Надо жить». Леха протянул свою крюковатую руку к руке Феши, взял ее запястье:

– Спасибо тебе! Не ожидал я, елки-моталки. Иди... Я скоро выпишусь.

Не оглядываясь и прихрамывая, шоркая чужими, не по размеру тапками, Леха пошел в свою палату.

Сердце ворочалось и покалывало сильнее, чем утром, а в грудной клетке накапливался тугой жар. Но все это было не продолжением его болезни, а результатом неожиданного визита Феши. Леха поочередно мотнул ногами. Чужие потертые со всех сторон тапки уехали под его кровать.

Он оставил Фешин пакет на тумбочке и завалился на левый бок, упершись взглядом в облупленный подоконник.

– Елки-моталки! Че такое со мной?

Леха остановил взгляд на какой-то случайной капельке засохшей краски.

Он всю жизнь чувствовал себя одиноким и даже любил это состояние одиночества. Может быть, потому так страстно относился к своей горняцкой работе. Он уходил от людей на сотни метров под землю и там, как разъяренный бык на корриде, врезался в бесноватую стену угля и долбил ее, рушил на куски, сплевывая в сторону черные сгустки слюны...

Леха в такое время думал о несправедливости жизни, о Таисии, о сыновьях, о деревне, в которой родился и вырос, о родителях, на могилу которых он не заглядывал много лет...

Неожиданный приход Феши выбил его из привычной колеи. Леха тяжело вздохнул.

– Может, доктора позвать? – осведомился краснолицый Чупин.

– Не-е, – покачал головой Леха. – Сейчас таблетки мне не помогут...

...Леху выписали за неделю до Нового года.

От больницы до дома было всего три пролета на троллейбусе.

День был, как по заказу – не холодный, без ветра, и только редкие снежинки слетали с небес, благостно тая на лице. Леха отправился домой пешком. Около подъезда валялись остатки елового лапника – народ уже начал наряжать елки. От праздников, как и от болезней, не убежать. К ним надо готовиться заранее.

Леха поднялся на свой третий этаж, открыл дверь и впервые после больничной палаты по-настоящему почувствовал себя одиноким. Он сел возле кухонного стола, начиная осознавать, сколько ж ему надо провернуть в ближайшие часы.

Холодильник был почти пуст. Остатки старого супа Леха слил в канализацию, в мусорное ведро отправил начатую когда-то буханку хлеба.

Вот уж точно: без хозяина дом – сирота...

Резко, как тупая дрель, заверещал звонок.

Леха открыл дверь. За порогом стояла Феша.

– Я тебя в окошке приметила, – будто оправдывая свое появление, сказала она.

Леха даже растерялся, не знал, что сказать, но дверь растворил шире – мол, проходи.

– Ты, Лева, плохого не подумай. Все цело-сохранно будет, я человек такой... После больницы-то несладко входить в старую жизнь. Пришла помочь тебе, прибраться по дому... Увезли-то тебя тогда враз и одуматься не дали. Так что ты сердись-не сердись на меня, а пол я тебе помою...

Не гора скатилась с Лехиных плеч, а поплыл вдруг он сам с этой горы, да так быстро и круто, будто на американских горках в Сокольниках в Москве, куда его давным-давно возили в качестве передовика-горнорабочего...

– Я, Феша, до магазина слетаю. А то стыдоба. На столе – хуже, чем у бомжа. Ну, а ты тут сама разберешься...

Он видел, как в секунды еще больше помолодело лицо гостьи. Проступивший румянец впитал в себя рыжие крапинки на щеках и скулах, и даже в морщинках вокруг глаз появился лукавый оттенок.

Леха по-мальчишески сбежал вниз. Но на крыльце почувствовал, что сердце от такой прыти часто заколотилось. Он медленно обошел свой дом, магазин был тут же, но только со стороны улицы.

С закупленной провизией зашел в аптеку – та располагалась в доме по соседству.

С полной сумкой продуктов и лекарств Леха появился в своей квартире.

– Ну, сумасшедшая женщина! – то ли с похвалой, то ли с недовольством проговорил Леха.

Пол был вымыт, кое-где еще на линолеуме виднелись капельки воды. Побрякушки на полочке, вделанной в стенку, блестели и размещались совсем по-другому. А на самом виду стояла в рамке фотография Таисии. Ей всегда Леха не мог найти подходящего места.

– Ты оставайся, Феша. Сейчас какой-нибудь обед сварганим. Картошка у меня есть, а остальное я купил...

– Не-не, Лева. Тебе надо одному побыть. А меня ждет своя стирка. Так что я уж побежала...

– Спасибо тебе!

Леха хотел сказать Феше в благодарность не только эти два слова. Но не успел. Феша торопливо надела бордовую куртку с темно-малиновой опушкой и оставила его одного.

Предновогодний день удался. Солнце щедро струило свой свет через пелену легкой изморози, насытившей городской воздух.

Часов около трех Леха взял заготовленный с утра торт «Чародейка», купленную поздравительную открытку и направился на четвертый этаж, где жила Феша.

Звонок вякал недолго, металлическая дверь приоткрылась, и показалось улыбочивое лицо Феши.

– А... Лева! Заходи, заходи!

Феша, видать, не была готова к такому неожиданному гостю. Но в то же время во всех ее движениях Леха увидел радостную суету.

– С Новым годом тебя! – подал он торт, крепко перевязанный голубой крученой синтетикой. Под нее Леха умудрился просунуть открытку с медвежатами.

– Ты проходи, садись, – Феша показала на стул около круглого стола, покрытого цветастой клеенкой.

Леха снял зимние ботинки, в носках прошел в зал. Пол был теплый, аккуратно устланный разноликими половиками.

– А у меня нынче холодец... Да еще пирожков напекла с осердием и с изюмом.

Феша хлопотливо, почти бегом, заторопилась на кухню.

Когда угощение было выставлено на стол, Феша присела на край стула, как раз напротив Лехи.

– Я уж не наливаю водочки. Тебе с твоим сердцем нельзя...

– А ты плохо обо мне не думай!.. Медицина говорит, что по тридцать граммов – это лечебная норма.

– Тогда и я полечусь, – поддержала совет докторов Феша. Она быстренько извлекла из серванта неначатую четвертинку.

– Открывай сам!

Леха не умел долго колупаться с такой заразой. Тут же скovyрнул ей шляпку. Потом разлил водку в выставленные Фешей рюмки и достал из кармана вторую открытку, небольшую, еще советских времен, с маркой в четыре копейки.

– Ну, давай, Феша! За наступающий Новый год. Я придумал такие слова... Прости, если не по душе... Или не так... – Леха понял, что начал от волнения говорить совсем не то, что хотел сказать хозяйке квартиры. И, как загнанный в угол конь, резко остановился. Успокаивая себя, Леха пальцем погладил лощеную поверхность открытки. Увидел несходящую с ногтя желтизну, подумал: «Все! Сегодня с этим завязываю».

Потом, чувствуя в себе прилив новых сил, зачитал слова, написанные не привыкшей к письму рукой:

*Понапрасну нос не вешай,
Не пасуй перед бедой!
Оставайся доброй Фешей,
Боевой и молодой!*

У Феши намокли уголки глаз. Она долго держала в руке рюмку и, как бы спохватившись, выпила зелье в два глотка. И ничем не закусила. Зато уставилась на Леху своими кошачьими пронзительными глазами:

– Я так рада, так рада, что ты назвал меня Фешей. Я ей родилась и умру ею. Спасибо, Лева! Большое тебе спасибо. За слова и за чувство твое!

«А волосы-то у нее другие, – подумал Леха, – какие-то каштановые с искорками... Я и не видел раньше таких...»

Леха сытно поел холодца с горчицей, съел влет полтора десятка усыпанных перцем пельменей. Хороши были и пироги, но больше всего ему понравился сделанный руками Феши хворост. Когда-то в селе маманя Лехина стряпала точно такой же – и не жирный, и со сладинкой. Это было у нее коронное блюдо. Вот и Феша

оказалась большим молодцом, напомнила ему мать и детство.

Так, почти не перебрасываясь словами, они просидели около часа. Наконец Леха вытер бумажной салфеткой губы и произнес:

– Пора и честь знать. От души благодарен за угощенье. Не знаю, Феша, что и добавить еще.

– Сиди ты! – помрачнела Феша. – Там что у тебя – семеро по лавкам?

– Не-е. Надо к насесту. Ночью, может, телевизор погляжу. Президент к своему выступлению уже готовится... И я должен быть готов.

И Леха поковылял в коридор к своей обуви.

– Ты хоть доволен? – спросила на прощанье Феша.

– А как ты думаешь? – вопросом на вопрос ответил он. Вот и весь его комплимент.

Ну, настоящий министр иностранных дел!..

Леха выключил телевизор. За окном хлопало и взрывалось, от чего постоянно взвизгивала сигнализация расставленных по двору легковушек.

Разноцветные огоньки петард подбирались прямо к окну и, не касаясь стекла, растворялись в дымящейся синеве.

Шел второй час ночи. Москва еще только готовилась встречать Новый год.

– Ну, с праздничком, Леонтий! – Леха грустно глянул на свое отражение в зеркале. Давно он не видел себя таким – похудевшим, остроносым с копной седых волос. Он щелкнул выключателем, в темноте залез под теплое одеяло. Уснул как убитый.

Но сквозь глубокую отрешенность от мира в Лехе засверлило ноющее чувство тревоги. Он тут же очнулся. Сначала подумал, что в квартире что-то горит. Нет, никакого запаха. За окном периодически сияли разноцветные всполохи. Размеренно отбивал такты будильник: нтик-нтик-нтик...

И тут до Лехи дошло: в подъезде слышался не просто шумливый топот загулявших соседей, а звуки спешных шагов и отрывистые, непонятные на слух слова. Верно – там что-то случилось...

Леха надел шерстяные штаны, накинул на себя домашнюю теплую рубаху, осторожно натянул носки и засунул ноги в осенние ботинки.

Он вышел на площадку своего этажа. Сверху спускался подвыпивший Михеич, проживающий у внучки на самой верхотуре.

– Че случилось? – спросил Леха.

– Ай, – махнул рукой Михеич, – пятнадцатую затопило. – и кое-как перебирая ноги продолжил путь дальше.

Леха быстро сообразил, что в пятнадцатой живет Феша. Он оставил незапертой дверь своей квартиры и, как мог, рванул вверх.

В коридоре у Феши толпилось человек пять, в основном мужики с нижних этажей. Мокрый, с полотенцем на шее и с розовыми пятнами на лбу выскочил к ним из-за простенка Гриша Шнайдер – он жил на одном этаже с Лехой, но аккуратно под Фешиной квартирой.

– Ну, блин! Хлещет как из фонтана. Сплошной кипяток.

Леха протиснулся вперед. В проеме кухни, словно икона, со страдальческим лицом стояла Феша.... Руки ее безвольно висели.

На полу скопился заметный слой воды, от которой исходил вонючий пар.

Леха видел, как из щели лопнувшего дюймового стояка била в стену упругая горячая струя...

Он вернулся в прихожую.

– Надо ж перекрыть воду! – не зная, к кому обращаясь, со злом сказал Леха.

– Ключа от подвала нет, – доложил Шнайдер, ощупывая обожженные части тела, – до аварийки не дозвониться. Хоть под колеса ложись...

Леха, ковыляя, побежал к себе в квартиру. Он вспомнил, что в тумбочке лежит ключ от замка, поставленного сантехниками на технологическом проеме. Через проем в подвал затаскивали жэковцы трубы для ремонта. Эту дыру в доме всю жизнь держали открытой. Но через нее в подвал стали наведываться бомжи и другие личности, которые отвинчивали там любую железяку или латунную детальку. Вот и поставили металлическую дверцу, а к ней приладили самодельный замок с секретом. Один из сантехников оказался сыном Володьки Никитина, работавшего в былые времена в лехиной бригаде.

Ну а Леха на всякий пожарный случай выпросил себе заветный ключ.... Мало ли что может случиться. Вот и случилось...

Он немедля достал этот ключ, а заодно и старенький китайский фонарик и поковылял на улицу.

Минут через пять Леха был около трубы, от которой вверх уходило несколько патрубков меньшего диаметра. Леха не знал, какая из труб идет через квартиру Феши. Все они были теплые. Но одна оказалась нестерпимо горячей.

– Ага! Значит, через нее уходит весь поток кипятка. Точно, через нее!

Леха с первого раза не смог крутануть барашек на почерневшем от времени вентиле. Наконец прикипевший и обжигающий руки кран поддался. И Леха, тяжело дыша, совладел с трубой – она перестала мелко вибрировать, а шум прогоняемой через нее воды прекратился.

Когда Леха вернулся в квартиру Феши, народ уже разошелся. Только она одна заканчивала складывать в ванну пропитанные водой половики.

– Слава Богу, хоть кто-то перекрыл этот поток! – сокрушенно сказала Феша.

– Слава, слава... – подтвердил угрюмо Леха.

Он молча составил на стол и на диван стулья и табуретки, чтоб не намокали и не потрескались потом ножки ее неказистой мебели, перенес жиденький торшер и еще кое-какие вещи, находящиеся на полу. Взял швабру и стал сгонять воду к двери, где Феша собирала жидкость большой тряпкой и тут же выжимала ее в таз.

Так, проделывая нехитрые операции, молча и кропотливо они почти через час закончили всю работу.

Лехе нещадно хотелось курить. Вот если бы кто подал ему сейчас сигаретку – он без раздумий спалил бы ее до конца. Но Леха вспомнил про свой зарок и почти вслух произнес:

– Нет, нет!

– Чего ты? – не расслышала Феша.

Леха улыбнулся:

– Значит так, дышать этой баней тебе нельзя! Открывай форточки, выключай свет и ко мне! Поняла?

– Как же так? Люди-то че подумают? Я ведь не девочка...

– Вот именно! Не девочка она, люди че подумают, – передразнил ее Леха. – Пусть все сохнет теперь... Ты тут больше ничем не поможешь...

– Твое место на диване, а я пойду к себе, – вроде как распорядился Леха.

Он долго ворочался в постели. Даже впадал в дрему. Но каждый раз просыпался, словно от постороннего толчка. Он чувствовал, что время идет к утру. Народ, конечно, будет спать долго – почти до самого обеда. Наверное, спит крепко и Феша, намаявшись в неожиданной беде. Леха случайно глянул в сторону двери. Там в самом низу, где должен быть порожек, лежала узенькая полосочка света.

– Не спит баба, – подумал Леха.

Он натянул на себя штаны, босиком без майки вышел в коридор, встал у открытой настежь двери зала.

Феша сидела у стола, подперев голову руками. Она была в вязаной кофте, в которой пришла сюда. Выходит, даже не сомкнула глаз, уж тем более не прилегла.

Лехе стало жалко этого ставшего ему уже близким человека. Захотелось утешить, чем-то приободрить Фешу. Он чуть было не решился подойти к ней и просто положить руки на женские плечи.

Но Леха сел молча напротив нее. Точно так они сидели совсем недавно за праздничным столом, с того времени не прошло и суток. А сколько воды утекло...

Леха улыбнулся при мысли: «Сколько утекло воды!..»

– Значит так, – он снова почувствовал, как нестерпимо ему хочется курить. Леха пересилил это желание.... И повторил:

– Значит так... – в груди его от переизбытка чувств трепыхалось нездоровое сердце.

Феша испугалась, подняла глаза. В них Леха не увидел былой кошачьей силы. Казалось, женщина обречена на новый неожиданный удар.

Леха набрал воздуха в грудь. К сердцу пошел оживляющий поток кислорода, от чего тугая боль стала ослабевать.... Народ точно окрестил эту болезнь жабой да еще грудной.

– Ты помолчи. Пока помолчи, Феша. Я думаю, что решил толково.

Слова Леха произносил вразрывку – волнуясь, будто при большом скоплении народа, где ошибаться никак нельзя.

– Мы стали близкими людьми. Дальше нам надо быть вместе. Переходи, Феша, ко мне. Будешь жить здесь. Не у меня, а со мной! Короче, давай сойдемся! Вот тебе моя рука!

У Феши от Лехиных слов набухли покрасневшие глаза. Совсем поблекли ее рыжие ресницы.

– Ты не шутикуешь, Лева? Я ведь взаправду могу принять твои слова. Хотя и не готова к такому повороту...

– Ты с домоуправом посоветуйся или к гадалке сходи, – радостно подковырнул ее Леха. – Мы же, Феша, люди – одинокие, пожилые.... За нас никто решать не обязан...

Леха говорил и говорил, а Феша молчала – во слушала. По ее лицу он видел – она согласна с ним, но еще какие-то сомнения грызут ее душу.

– Пенсия у меня хорошая – хватит на нашу жизнь, а свою будешь тратить только на себя. Ты ж, Феша, еще молодая.... Это мне в радость!

С женщины постепенно сваливалась ночная морока. Она сидела, ровно положив руки перед собой.

– А с квартирой как? – успокаивая себя, спросила Феша.

– Да не заклинивай ты свою голову!.. Поживем, рассмотримся... Пол бы не покорило – это главное. Без ремонта, конечно, не обойтись... А потом пустишь нормальных квартирантов – тоже будет тебе не лишняя копейка...

Они сидели долго, оба усталые и радостные, обговаривая свое будущее житье-бытье.

...Сквозь оконное стекло, разгоняя утреннюю дымку, просачивалось светло-розовое утро. Впереди был первый день нового года. Как говорят: жизнь начиналась с чистого листа.



**Валентина
ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ**

**ОКУРИВАЙ,
ЧЕРЕМУХА, ВЛАДЕЙ!**



* * *

*Промозглостью и стилой синевой,
Скупым дождем и колокольным звоном...
Кипящий город, названный Москвой,
Встречал меня туманом и озоном.
Но дождь прошел, и вечер заалел.
Душа качнулась, в поднебесье взвившись,
Освободившись от насущных дел,
В единое с церковным звоном слившись.
И, в невесомой благости паря,
Душа моя и плакала, и пела.
Сочельник. Служба. Слякоть января.
Огонь свечи...*

и нежность без предела...

* * *

Внуку
Ванечке Ерофееву

*Уютно обвивают руки
Сопящий кокон дорогой.
Легко младенца убаюкать.
Еще легко!
Но, Боже мой,
Все впереди еще туманно...
Душа моя вперед спешит:
Какие страсти ждут Ивана,
Каким и где он будет жить?*

*С кем и какие отраженья
Он будет в зеркалах ловить,
Какие принимать решения,
Как ненавидеть, как любить?
Какие дали помаячат,
Какие кликнут города...
Все впереди, уснувший мальчик –
Моя сверхновая звезда.*

* * *

*Незабвенное детство –
Мир желаний и грез.
Мне достались в наследство
Стылость русских берез,
Гонор зимнего ветра,
Шаловливость проказ,
Косы русого цвета,
Серость дедовых глаз.
Пусть лукавинка дремлет
В уголках моих губ.
Я пророчеством древним
Согреться могу –
В нем я черпаю силы
Для любви и добра...
Из загадок России
И меня не убрать.*

ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ Валентина Юрьевна родилась в Омске. Образование высшее. Автор восьми поэтических книг, изданных в Омске, Москве, Екатеринбурге, Орле. Лауреат ряда региональных и всероссийских премий. Стихи публиковались в периодике, российских и международных журналах, хрестоматиях, альманахах, антологиях, коллективных сборниках. Переводились на немецкий и болгарский языки. Член Союза писателей России. Живет в Омске.

* * *

Вдоль ясной опушки лесных берегов
 Рекой одуванчиков солнце просыпалось.
 Упругие крылья лесных ветерков
 Играют полянными пестрыми ситцами.
 По летнему руслу стекают цветы
 Ромашково-бело и синь-незабудково,
 Волнующий шепот кудрявой листвы
 Перекликается смехом и шутками.
 Пьянит ароматом сплетенный венок,
 Свернувшись в корзинке веселой улиткой.
 Июльский, веселый и светлый денек
 Прольется закатом за старой калиткой.

* * *

Окуривай, черемуха,
 Владей,
 Коснись дымком
 Всех уголков заветных!
 Пусть в мареее твоём
 Растает день...
 Черемух дым –
 Запреты и ответы,
 Причем всегда –
 Под майский холодок.
 Прислушайся,
 Тебе нашепчут ветры,
 Летящие за сотни
 Километров, –
 Как восхваляет сакуру
 Восток...
 Но нет нежнее запаха,
 Чем этот,
 Что наполняет души
 Ясным светом,
 Любой российский
 Дальний уголок!
 Окуривай, черемуха!
 Иных –
 Томи желаньем
 Несоизмеримым...
 Ни у Парижа нет
 И ни у Рима
 Летящих дней,
 Как облако, паримых,
 Черемухово-белых
 И хмельных.

* * *

Я уезжала в электричке
 от Павелецкого вокзала
 И наблюдала, как на небе
 звезда таинственно мерцала.
 Окно вагонное светилось,
 звезду держало в зазеркалье.
 Дня уходящего осколки
 неумолимо мелькали.
 Стремись, душа, к звезде на небе,
 вдвоем не будет одиноко.
 Она, мигнувши, намекнула,
 что сверху видно сотни окон.
 За ними – грусть, за ними – радость,
 а где-то, буднично и просто,
 Немые сцены, ссоры, драмы –
 у взрослых, стариков, подростков...
 За ними – свет и обаянье,
 и тысячи в любви признаний...
 Там, за одним из этих окон, –
 мой самый близкий,
 самый дальний...

* * *

Ты не жди – мне не стать покорною,
 Понапрасну твои старания.
 Как гуляет сквозняк по комнатам,
 Так душа моя бродит странницей.

Быть, конечно, могу покладистой –
 Пирог да варенье разные,
 А сама не любитель сладостей,
 Даже горькую пью по праздникам.

Глубина за семью печатями.
 Не разгадывай – не получится.
 Под звездой родилась отчаянной –
 Мне по жизни она попутчица.

Вскину голову – взгляд туманится:
 Бездна неба неодолимая.
 Мне покорною быть не нравится,
 Больше нравится быть любимую.

* * *

«Я осенняя женщина»

Так незаметно закончилось лето...
 Вызрела, убрана рожь.
 Иволгой летняя песенка спета,
 В роще волнение и дрожь.

Остановлюсь на краю листопада
И провожу журавлей.
С грустью нагрывавшей вовсе нет слада,
Слада нет с песней моей.

С ней мне тоскуется, с ней и смеется,
С ней холода нипочем.
С ветки рябиновой плавно сорвется
Птицею лист на плечо.

Мне никогда не привыкнуть к утратам
В час при вечерней поре.
Осень уходит и манит куда-то...
Вечно бы жить в сентябре.

* * *

Первый лучик неяркий...
Выйдем в тишь полусонную.
Видишь, ветви боярки
Держат в пригоршнях солнце.

Над Даниловым озером
Запах хвои томится.
И росинками оземь
Расставанье стучится.

Зорька ранняя, летняя
Темень рвет поперек.
Это слово последнее:
«Уезжаешь?» – в упрек.

А туман – точно вата
В космах елей и сосен.
Разве я виновата,
Что предчувствую осень?

* * *

Слова в полемике терзали
И, чувства низведя к нулю,
Любовь в ничью переиграла.
Ну, что, сразимся в «не люблю»?

* * *

(ЗАПЕВ ИЗ ПОЭМЫ
«ТИХИЕ УЛОЧКИ ДЕТСТВА»)

Вроде хвастаться мне нечем...
Без родни в пятнадцать лет.
Разве только русской печкой,
где готовила обед,
милым домом, серой кошкой,
черной Жулькой в конуре,
в синих ставенках окошком,
огородом во дворе,
где и яблоня, и груша
по весне цвели всегда...
В те года меня Валюшей
звать не звали никогда.
– Горемыка, сиротина, –
часто слышала я вслед.
Очень редко
– Валентина, –
окликал хромой сосед.
Сердобольные мамыши
мне несли кто соль, кто хлеб...
Всех родней считала нашей
в те свои пятнадцать лет.
Я обид не накопила,
недругов не завела...
Удивительная сила
мне завещана была
старым домом, русской печкой
и теплом соседских душ,
чтобы жить по-человечьи
я могла без горьких дум.

Под иконой гаснет свечка,
Золотятся образа...
Господи, даруй им вечность,
дай покой на небесах!



**Вадим
МАКШЕЕВ**

ДВА ЮМОРИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗА



ПРОБА

Брагу Степанида завела на сухих дрожжах. Всыпала в лагушок муки, сахару, пол стакана прошлогоднего сухого боярышника, пригоршню хмеля и вывалила чашку тертой картошки. Все это разведенное водой теперь пенилось и вырывалось пузырьками газа из-под грязной тряпки, обертывавшей для плотности широкую деревянную втулку стоявшего на печи лагуна.

В крепости браги Степанида не сомневалась, однако немного беспокоило, что по совету соседки бабки Лобчихи она положила туда же столовую ложку иранского стирального порошка, а под лагуном рассыпала пачку махорки, чтоб сквозь дно натянуло табачного духу. Теперь она не знала, что из этого получилось, а интерес у нее был большой.

Сама Степанида брагу не пила и только, потчюя мужиков, порой для виду пригубливала стакан. Однако бражка у нее не переводилась, и после гулянок многие деревенские мужики забегали к ней поправить тяжелые с похмелья головы. Мзду Степанида получала натурой – утенными от жен возами сена, свежей и соленой рыбой, березовыми дровами. Впрочем, за свое беспокойство она не отказывалась и от наличных, а посему, несмотря на свои неполные пол-

ста лет, в колхозе почти не работала, да и по домашности себя особенно не утруждала.

В этот день, позавтракав, она села к окну и, подперев ладонями пухлые щеки, стала глядеть на улицу. Был самый разгар сенокоса, и никого нужного ей не виделось. С удочками и консервными банками под червей пробежали к речке трое босоногих мальчишек, да две бабенки с лопатами прошли заправлять силосную яму возле коровника. От цветочных горшков наносило геранью, Степаниду клонило в сон, и даже неохота было встать, чтобы прихлопнуть жужжащую на другом окне муху.

Но неожиданно ее лицо изменилось. Из переулка, держа подмышкой несколько поломанных граблей, вышел колхозный кладовщик Тихоныч. Выждав, когда он поравняется с ее домом, Степанида шире раздвинула оконную занавеску и легонько постучала по стеклу пальцем. Тихоныч приостановился и, утерев рукавом стекавший из-под кепки пот, мотнул головой, указывая на грабли. Но Степанида беззвучно пошевелила губами и тем же указательным пальцем настойчиво поманила к себе. Поколебавшись, Тихоныч прислонил грабли к городье и отворил бороздившую по земле калитку.

– Ну? – словно не понимая, чего от него хотят, спросил он, переступив порог. – Не видишь,

МАКШЕЕВ Вадим Николаевич родился в 1926 году. Родители были белоэмигрантами, детство прошло за рубежом, в Эстонии. Трудовую деятельность начал во время войны. В шестидесятых годах стал журналистом, работал в районной и областной газетах. Автор двенадцати книг. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премий Союза писателей РФ, журнала «Октябрь», премии им. В. Я. Шишкова. Член Союза писателей России. Живет в Томске.

спешу? Сено надо грести, а граблей половина изломана. Ломают почем зря, ничего не берегут... Говори, да я побегу к деду Абросему налаживать.

– Давно бы уж наладил, поди с прошлого лета валяются. Хватился когда.

– Не твое дело, сиди помалкивай, – окрысился Тихоныч.

– Ладно-ладно, – сказала Степанида миролюбиво. – Я тебя бражку отведать зазвала. Наладила, а пробу снять некому. – Может, снимешь?

– Раз такое дело, сниму, – согласился Тихоныч и выжидательно присел на табуретку возле двери.

Став босыми ногами на приступок печи, Степанида сунула руку за закрывавшую лежанку цветастую занавеску и взялась разматывать обертывавшую втулку лагуна тряпку.

– Давай побыстрее, – поторопил Тихоныч, – сказал тебе, что мне недосуг.

Ступив с приступка на пол, Степанида протянула ему стакан неопределенного цвета жидкости:

– Вот попробуй-ка, че она тебе скажет. Закусить только нечем. Не ждала.

Тихоныч кивнул:

– Ниче, можно и без закуси.

Выпил полстакана, поморщился и допил остатки.

Степанида испытующи посмотрела на него:

– Ну как?

– Воняет. Не пойму чем.

– А ничего, батюшка, кроме дрожжей и сахару, здесь ничего нет. – Степанида почерпнула второй стакан. – Покушай еще.

В душе она имела некоторые виды на Тихоныча, который был вдовцом. Скупая для других, для него она делала исключение. Тихоныч посмотрел брагу на свет, опять поморщился, выпил и сделал вид, что собирается уходить.

– Постой, постой, – заторопилась Степанида. – Бог троицу любит...

Третий стакан Тихоныч пил небольшими глотками.

– Сладости маловато, – сказал он, поставив недопитый стакан на стол. – И вроде туалетным мылом или тряпкой отдает... Ну, я побег, а ты тоже сходила бы на покос, растрясла жирок.

– Как жа, полетела на твой покос, – проворчала Степанида, затворяя за Тихонычем дверь, впрочем с удовлетворением заметив, что на ногах он вроде держится нетвердо.

Слив из стакана оставшуюся брагу в лагун, погляделась в зеркало и снова присела к окну.

Через полчаса Тихоныч опять появился на пороге. Одной рукой он держался за дверной косяк, второй – за расстегнутый брючный ремень. Кепки на голове не было, помутневшие глаза дико блуждали.

– Наливай бражки, – хриплым голосом попросил он.

«Ишь, как тебя разобрало, – подумала Степанида, засуетившись. – Не надо было подавать третий. Теперь не отвяжется...»

К ее изумлению, Тихоныч стакана не взял.

– Выпей, – отрывисто приказал он ей.

– Нашто, я же не пью, – замахала она руками.

– А ты выпей, сними пробу, – он поднес к Степанидиному носу кулак. – Закусить только нечем.

– Тошно мне, прибьет! – взвизгнула трухнувшая Степанида и, перекрестившись, начала судорожно глотать брагу.

– Еще наливай, – прохрипел Тихоныч.

– Из ума его вышибло...

Трясущимися руками она протянула Тихонычу почерпнутый стакан.

– Сама, – хрипел Тихоныч.

– Караул! – выдавила Степанида, но увидев, что Тихоныч потянулся к лежащему у чувала ухвату, обливая брагой фартук, выпила еще.

Тихоныч показал три пальца.

Мелко дрожа, Степанида снова почерпнула из лагуна. Продолжая держать поднятые вверх три перста, Тихоныч потряс зажатый в другой руке ухватом.

– Бог троицу любит, – донесся до Степаниды шипящий шепот.

Давясь и кашляя, она выпила третий стакан. И тогда, дотянувшись ухватом до лагуна, Тихоныч изо всех сил толкнул его. Брага, булькая, хлынула на печь, захлестнув дремавшую кошку, и полилась на пол.

Охнув, Степанида села в желтую лужу.

Придерживая брюки, следом за метнувшейся к двери кошкой Тихоныч выскочил на улицу.

– Изверг, ахмадей, – причитала Степанида, ползая на коленях по полу с тряпкой. – Сколько изъяну...

Но вдруг глаза ее округлились, она схватилась за живот и выбежала за дверь.

Во дворе кудахтали напуганные куры.

Степанида бросилась к небольшой дощатой постройке в углу ограды, но, услышав оттуда оханье и кряхтенье Тихоныча, подобрала в руки юбку и, перепрыгнув через картофельную ботву, побежала к росшим у городьбы густым зарослям крапивы.

НА СЕЛЬСКУЮ ТЕМУ

– Я стихи на... Умня... – замямлил, бочком протиснувшись в сельскохозяйственный отдел областной газеты, неоперившийся поэт.

– Со стихами на второй этаж, – послал занятый зав.

– Так я... Умня, мя на сельскую тему.

Прикрыв за собой дверь, поэт вытащил из кармана вместе с носовым платком вчетверо сложенную бумажку.

– Туда, туда, – не поднимая головы, сказал зав. – У нас экономический отдел.

– Обожди, старик, – вмешался литсотрудник Мошкин, еще недавно бывший здесь заведующим. – А если его частушки в подборку «Земля и люди»? Там же дырка осталась.

– У меня не частушки, у меня лирика на сельскую тему, – обиженно сказал поэт.

Зав оторвался от чтения гранок:

– На сельскую? Давай сюда, почитаю.

– Я сам, – обрадовался поэт и, присев на краешек стула, начал с подвыванием:

*Синий снег и сумрак синий
Подо мной и надо мной,
Провода электролиний,
И окошек вид резной...*

Зазвонил телефон, и зав поднял трубку:

– Привет... На первую полосу? Да замолчи ты со своим резным видом... Не, я не тебе, поэт тут в отдел зашел... Так Мошкин же тебе вчера трудовую вахту в папку положил. С думой об урожае...

– С заботой, – поправил Мошкин.

– В смысле – с заботой. Сто пятьдесят строк. Да, – зав положил трубку. – Ну, валяй дальше.

*Светит месяца подкова,
И мороза легок звон,
В стайке бурая корова
Увидала летний сон... –*

закончил поэт и выжидательно посмотрел на заведующего отделом.

– А что? – одобрил Мошкин. – Что-то есенинское: «Светит месяца...»

Зав наморщил лоб:

– Месяц у них у всех светит. Нужен сегодняшний день.

– Там у меня электролинии, – робко напомнил поэт.

Зав задумчиво посмотрел на него:

– Начало и конец возьмем, а середину можешь куда-нибудь еще толкнуть. Хвост переделаешь. В смысле, конец... Почему корова в стайке? Стаек давно нет.

– Это личная корова, – слезно пояснил поэт. – У меня тетка в деревне. Можно и так: «В стаде бурые коровы...»

– Почему зимой в стаде? И бурые. У нас черно-пестрая порода.

Поэт взял стихотворение и, отрешенно глядя в пространство, зашевелил губами.

– Думаешь, думаешь, – поощрил зав. – И чтоб без патриархальщины.

– Так можно? – спросил через минуту поэт не очень уверенно. – В сене пестрые коровы увидели летний сон?

– Коровы не должны стоять в сене, – хмуро возразил зав. – Помоги ему, Мошкин.

– Я же прозаик, – обиделся Мошкин

– А если коров заменить? Спит доярка, и ей снится летний сон? – с надеждой спросил поэт.

– Доярок мы в другом аспекте показываем. Летний сон – тоже не ясно. Надо то, что корове конкретно может присниться.

– Бык, – подсказал Мошкин.

– Ну-ну, – строго произнес зав. – Без натурализма. Что еще корова может во сне увидеть?

– Этого... техника искусственного осеменения.

Зав молча взял у поэта стихотворение, зачеркнув строчку, написал что-то сверху и удовлетворенно откинулся на спинку стула:

– Вот так: «Спят совхозные коровы, видят тучные луга».

Поэт по-гусиному потянул шею и расстегнул верхнюю пуговичку рубашки.

– Ничего, – ободрил зав. – Нас тоже правят. И Пушкина правили. Искусство требует, знаешь, чего? Дальше сочиняй, в смысле рифмуй самостоятельно.

– Луга, пурга, – забормотал вспотевший поэт.

– Рога, – подсказал Мошкин. – Светят месяца рога.

– У меня подкова, – жалобно пискнул поэт.

– Подкову убери, – сказал зав. – Луга, рога – нормально.

– А легкий звон? – спросил поэт плачущим голосом и стал хлопать себя по ляжкам. – Мня легкий звон...

– Кури, кури, – сказал Мошкин. – Здесь можно.

Поэт продолжал похлопывать себя.

– Выдохся, – покачал головой зав. – А ведь первый абзац тоже придется править. Почему снег синий?

Поэт замотал головой, пятась, отворил полированную дверцу встроенного шкафа и, не находя выхода, по-коровьи замычал.

– Нет у тебя, старик, опыта, – промолвил Мошкин, когда они остались вдвоем с завом. – Зачем было при нем править? Они же нервные – поэты.

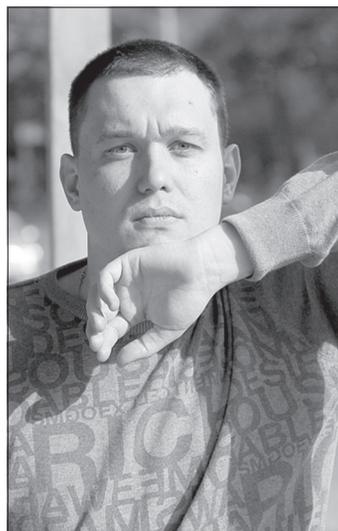
Зав хотел что-то сказать, но опять зазвонил телефон. Вздохнув, Мошкин поковырял ручкой в ухе и взялся писать обзор о вывозке на поля органических удобрений.

Взмокший поэт осторожно приоткрывал двери другого отдела редакции.



Александр Дьячков

Я ВЫЖИЛ, ЧТОБ БОГ МЕНЯ СПАС



* * *

Как сорванные пластыри – растяжки на ветру. Холодной пылью фонари завалят двор к утру. Но месяц маленький висит... отстриженным ногтем. Глаз от усталости косит: двоится мир кругом. Один невидимый бросок (поднял ковбой коня), – и вот на мне сидит лассо дешевого ремня. Иду – вращаю, обхватив, в кармане пять рублей. Как неотвязный лейтмотив – соленый вкус с полей.

Тащусь усталый и больной, и душу в храм тащу. Я буду плакать на ночной и всех врагов прощу. Придет один, другой прилог, начнут меня смущать. И буду страшно, видит Бог, томиться и страдать...

* * *

Но причастившись Таин святых, я стану сам
святой.

Спокоен, радостен и тих пойду пешком домой.

Жаль, эта святость – лишь на миг,
по правилам игры
то лезем на духовный пик, то вниз летим с горы.

Я думал, если в храм войду, – поэзия прощай,
что, мол, динамика в аду и что статичен рай.

Дьячков Александр родился в 1982 году в Усть-Каменогорске (Казахстан). В 1995 году семья переехала на Урал, в Екатеринбург. Окончил Екатеринбургский театральный институт и Литинститут им. Горького в Москве.

Автор трех поэтических книг, вышедших в Екатеринбурге: «AD» (2004), «Некий беззаконный человек» (2007), «Перелом души» (2013). Живет и работает преподавателем в Екатеринбурге.

Вошел дрожа. Побыл чуть-чуть. И заявляю всем,
что Церковь – не итог, а путь, путь новый,
новых тем.

Да, патриот и либерал, новация не в том,
какой ты рифмой рифмовал, каким писал стихом.

Два клона или близнеца, вы равно далеки
от Бога нашего Творца, а значит, от строки.

Прорыв, новинка, чистый лист – писать
про благодать.
Новатор или архаист, боюсь вам не понять.

Увы, я только в тридцать два нащупал
этот путь.
Но, может быть, мои слова расслышит
кто-нибудь...

* * *

Метели нет. Утихло все.
Сугробы, как ковер.
Ремня китайское лассо –
смиренья тренажер.

Растяжки новые висят.
Луна плывет в эфир.
Глаза... нет, очи не косят.
Един, устойчив мир.

Я пять рублей подал бомжу,
свободно дышит нос,
и улицу перехожу...
Вопрос –
ответ –
вопрос...

ЕДЕМ С ПАПОЙ НА МАШИНЕ

На небе монтажная пена,
и дует, как будто из фена,
мы гоним по самой жаре.

Обочь проплывают сирени,
под ними чернильные тени,
как пятна на чистом ковре.

Береза от легкого бриза
рябит, как рябит телевизор.
Мы с маху проехали съезд.

Я даже горжусь нашей «Волгой»,
летим над железной дорогой –
над лестницей, брошенной в лес.

Несемся потом в темном боре,
как в длинном, глухом коридоре;
ободраны бора бока.

Но газу! И вот мы на воле:
в зеленой иллюзии поля –
три рощи, как два островка.

* * *

Она приехала ко мне
в надежде «залететь».
Я не любил ее и не
хотел ее хотеть.

У ней не вышло с мужиком,
а годы все идут...
И мне казался не грехом,
а милостыней блуд.

Есть женщины, их целый рой,
на них лежит печать:
ни матерью и ни женой
не суждено им стать.

Верна теория, верна,
да практика верней.

И вот она моя жена
и мать моих детей.

Всего на пару дней...

Пускай судачат люди, пусть
ругает духовник.
Оправдываться не берусь.
Но в тот проклятый миг,

когда она вошла в мой дом,
как под венец идут,
мне показался не грехом,
а милостыней блуд.

УРАЛМАШ

Когда говорят о России,
я вижу свой синий Урал...

Л. ТАТЬЯНИЧЕВА

Район деревянных бараков – империя сгнивших балконов. Кредит долговечнее браков, но все-таки пропасть влюбленных. Держава не бедных, а нищих: в домах не найти домофонов. Суфлерские будки на крышах, трамваи и голуби – фоном. А трубы на крышах – кинжалы, что всажены вместе с эфесом. Июнь, и кайфуют бомжары, вольготно лежат под навесом.

Пьют пиво. В подъездах, на клумбах, бордюрах, аллеях и лавках. Иду мимо окон и крупно: бухает мужик в синих плавках.

И можно глотнуть газировки, сточить пару пачек пломбира и рэппера на остановке уделить сонетом Шекспира. Потом, заедая паленку конфеткой со вкусом шампуня, попробовать склеить девчонку... Стою в эпицентре июня!

Меня оккупируют страсти. Вот-вот и стрельну сигарету, опять побегу вслед за счастьем, хоть знаю, что счастье не в этом.

Но благословляю бараки, кредиты, измены и драки, отсутствие подлого счастья и даже греховные страсти. Всю плоскую эту минуту, всю пошлую нашу эпоху... (Не верю тому, что все круто, не верю тому, что все плохо.)

Да, время и глухо, и слепо, смешно толковать о свободе. На каждом углу вход на небо, а люди почти не заходят. Но храмы открыты святые, и вечером исповедь в храме, и служат с утра литургию, и Чашу выносят с Дарами. И можно подняться над пивом, над бытом, над бредом, над модой, – и стать постоянно счастливым, и быть наконец-то свободным!

* * *

Восьмидесятые. Примерно, третий класс.
Природоведенье ведет Светланыванна.
«Вода важна, цель каждого из нас –
беречь ее...» И капает из крана.
Я руку поднял. «Что тебе, Дьячков?»
«Мы говорим... а кран... закрою, можно?»
Злой, удивленный взгляд из-под очков,
понять его тогда мне было сложно.
Большая пауза и будто приговор:
«Иди закрой, не создавай проблему!..»
Так я, закрыв, открыл большую тему.
Я этой теме верен до сих пор.

* * *

Ни «звонят», ни «ложат» я не говорю,
но вымазал ложью я душу свою.

Не знает простец о пороках таких,
в которых я спец, будто выдумал их.

Велик меж людьми, перед Господом – мразь,
нет в сердце любви, только блудная
страсть.

Велик меж людьми, перед Господом – нуль,
нет в сердце любви ни к кому, ни к чему.

Пустой человек, но читаю Золя,
зачем интеллект, если в сердце зола?

Зачем два диплома, раз веры нема?
Дошел до дурдома, видать, от ума.

А глупые люди: народ, мужики –
и верят, и любят, и к Богу близки.

Но только не ропот! И только не сплин!
Позвал на работу меня господин.

Да, поздно я вышел: двенадцатый час.
Но верю: я выжил, чтоб Бог меня спас.

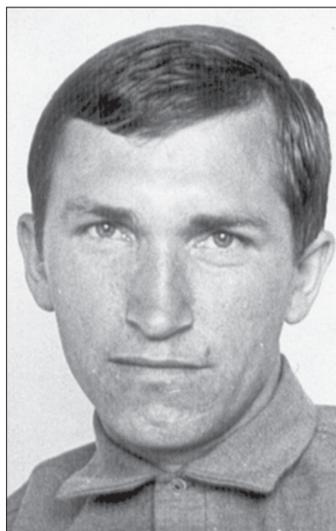


Василий Степанович, поздравляем Вас, нашего давнего коллегу и автора журнала «Огни Кузбасса», с 75-летием! Желаем крепкого сибирского здоровья, желания жить и писать согласно возрасту и богатому опыту!

Василий ФЕДАНОВ

ВОЙНА НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА

(документальная повесть)



ЗНАКОМСТВО

В киселевскую Первую городскую больницу я попал летом 1968 года. В палате нас оказалось четверо. Он лежал у стены на соседней кровати, отвернувшись.

Прошло три дня. Мне с работы приносили целую гору газет и журналов. Потихоньку ему их подкладывал. Он постепенно оттаивал. Мы подружались. Звали его Алик. Приехал из Грозного навестить маму. Мама русская, а отец чеченец.

Когда чеченцам разрешили уехать на Родину, отец уехал и взял с собой сына. Мама не поехала, осталась в Киселевске.

Алик поправлялся. Он рассказал, что в Грозном учится в художественном училище. Алику было лет четырнадцать.

Он попросил лист ватмана и набросал минут за тридцать мой портрет в больничной рубашке. Мама принесла акварельные краски. К выписке Алик вручил мне свой подарок. Позже я сделал простенькую рамочку и повесил портрет в своей квартире.

РАЗВАЛ

Когда развалился Советский Союз, заместитель генерального директора объединения «Куз-

бассмебельбыт» Теодор Брендель срочно собирался на пенсию.

Фабрики, входящие в объединение, а их было пять по всему Кузбассу, были на грани остановки. Заканчивался строганный шпон, без которого мебель делать нельзя.

Поставщиками строганого шпона были Хабаровский мебельный комбинат и Ермоловский ДОК, находящийся в поселке Алхан-Кала. Это недалеко от Грозного. Теодор много раз бывал у обоих поставщиков, а так как я у него принимал дела, он перед уходом на пенсию обещал познакомиться меня с поставщиками на месте.

Мы уже выбрали было Хабаровск, так как с Чечней связи не было, но наш маршрут изменило ТВ.

ПРИЕЗД ВАХИ

Как-то вечером в конце «Пульса» на экране телевизора появился чеченец. Он сказал, что его зовут Ваха. Ваха сказал, что приехал из молодой, только что созданной Чеченской республики, переживающей тяжелые времена.

На дворе был декабрь 1991 года. Население Чечни замерзло. Им нужен был уголь. Ваха приехал от имени председателя комитета по оперативному управлению народным хозяйством Чеченской Республики и встретился с

ФЕДАНОВ Василий Степанович родился 1 октября 1939 года в селе Сарабалык Новосибирской области. Окончил Красноярский технологический институт в 1961 году. Работал в киселевской городской газете «В бой за уголь», в мебельной промышленности Кузбасса. Публиковался в областных газетах «Кузнецкий край» и «Кузбасс», журналах «Литературный Кузбасс», «Огни Кузбасса», «Наш современник», альманахе «Горицвет», в коллективных сборниках. Автор шести сборников стихов и прозы, трех киносценариев. Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

председателем областного Совета Аманом Гумировичем Тулеевым. Чечня просила отгрузить пятьдесят вагонов угля, а взамен она отгрузит в Кузбасс винно-водочные изделия, продукты, бензин.

А я подумал, что неплохо бы к этому списку добавить и строганый шпон. Утром эту идею подсказал генеральному директору Виктору Подкину. Позвонили в приемную Тулеева, узнать, где Ваха. Его на месте не оказалось – уехал в Прокопьевск по своим делам. Договорились, что нас примет Аман Гумирович. И он нас поддержал, подписав письмо председателю комитета по оперативному управлению народным хозяйством Совмина Чеченской Республики Яраги Мамодаеву: «Уважаемый Яраги Мамодаев! При согласовании объемов взаимных поставок между облсоветом Кемеровской области и вашей республикой не была учтена поставка строганого шпона с Ермоловского ДОКа в количестве 200 тысяч квадратных метров. Прошу рассмотреть возможность включения в объем поставок 1992 года строганого шпона Кемеровской фабрики».

Заканчивался декабрь 1991 года.

ПРИМЕТЫ РЕВОЛЮЦИИ

Сразу же после новогодних праздников мы с Теодором вылетели в Грозный через Москву. Когда зашли в салон самолета, улетающего в Грозный, там пассажиров было больше, чем сидений. Наивно подумали, что это провожающие, но взревели моторы... До сих пор с содроганием вспоминаю, как мы тогда долетели!

Чеченцы, в основном молодые, с мешками и баулами, загромождали весь проход салона, сидели на полу и на подлокотниках кресел.

Но вот и Грозный. Было шестое января 1992 года. Небольшой морозец. Встали на автобусной остановке. Ждем. Автобуса нет. Какой-то мужчина сжалился над нами и объяснил, что в Чечне произошла революция. Предприятия не работают, автобусы не ходят, такси нет. Сговорились с частником. Он оказался русским.

Мы его начали расспрашивать, мол, как жизнь? «Никак, – сказал он. – Чеченцы ежедневно с утра до вечера митингуют. Вот недавно снесли памятник генералу Ермолову, кстати, имя которого носят железнодорожная станция и ДОК, куда мы направлялись». Хозяин москвича еще добавил: «Понять можно, что они снесли памятник генералу Ермолову – он их завоевал, но зачем они убрали памятник Чехову?»

Гостиница «Кавказ». Мест для нас не оказалось. Администраторша посоветовала обратиться в Управление гостиничного хозяйства неподалеку. Там мы назвали себя уже не сибиряками, просто: «Мы от Тулеева».

К нашему изумлению, начальник гостиничного комплекса выскочил из-за стола, усадил нас в кресла, все время приговаривая: «О, Тулеев! Он нам как брат!». Тут же позвонил и распорядился оказать нам всяческую помощь.

ПОДДЕРЖКА

Утром отправились в здание Совмина, чтобы вручить письмо Яраги Мамодаеву и получить визу с его поддержкой. Но без специального пропуска к нему попасть было нельзя.

Чтобы не терять время, решили поехать в Алхан-Калу, в Ермоловский ДОК. Директор Ермоловского деревообрабатывающего комбината Ахьят Сапаев сразу разочаровал нас плохой новостью. Их строго предупредили – не отгружать ни одного вагона за пределы Чеченской Республики.

«Ничем помочь вам не могу, так как не хочу терять работу», – сказал Ахьят. «Пойдем хоть поздороваемся с Валентиной Николаевной», – предложил Теодор.

Валентина Николаевна Джалалова возглавляла отдел сбыта готовой продукции комбината. Ей было около семидесяти лет. Познакомились. Валентина Николаевна потихоньку шепнула Теодору, что нам сможет помочь только начальник цеха Сайхан Дубаев. Теодор удивленно посмотрел на нее.

– Да-да, – повторила она, – ведь он двоюродный брат Джохара Дудаева.

– Его авторитет выше директорского, – подчеркнула Валентина Николаевна.

Сайхан Ахтаевич Дубаев был у себя в кабинете. Когда мы зашли к нему, то поняли, что ему про нас уже доложили.

Это был крепкий, среднего роста, седовласый мужчина около шестидесяти лет. Мы ему рассказали о Вахе, о письме к Мамодаеву, подписанном Тулеевым. Он согласился нам помочь, сказав, что уважает сибиряков. Пообещал, что поможет достать пропуск на прием к Яраги Мамодаеву. Может, и потому Сайхан Ахтаевич согласился помочь нам, что более десяти лет его цех отгружал строганый шпон (буковый и ясеновый) на фабрики нашего объединения в Киселевск, Кемерово, Осинники, Новокузнецк, и никогда проблем с оплатой не было.

108

– Утром, в девять часов, встречаемся на крыльце здания Совмина, – сказал Дубаев.

Оказывается, племянница Сайхана работала в приемной Джохара Дудаева. Она позвонила в бюро пропусков Совмина, и там записали наши фамилии.

В ДУДАЕВСКОМ СМОЛЬНОМ

Кто помнит фильм «Человек с ружьем» или «Ленин в Октябре», может представить революционный дудаевский «Смольный». Здание Совмина Чеченской Республики в январе 1992 года было копией Смольного революционной России. Люди в кожаных куртках, вооруженные пистолетами и автоматами, заполнили здание. Сотни посетителей атаковали бюро пропусков, куда пристроились и мы.

В приемной Яраги Мамодаева нам объяснили, что он нас не примет: занят арабской делегацией. Здесь же, в приемной, сидели чеченцы – старейшины, которых ежедневно показывало ТВ в программе «Время». Им тоже надо было попасть к Мамодаеву. Так как на прием в этот день нам попасть не удалось, то стали искать Ваху. Но почему-то никто о нем ничего не знал. А фамилию Вахи мы и сами не знали.

На правах хозяина Сайхан пригласил нас к себе в гости. Отказаться мы не могли. Жил он в добротном кирпичном доме за глухим высоким забором. Во дворе стояли грузовик и жигули. Когда были произнесены тосты, Сайхан рассказал о себе.

Он был пацаном, когда их, чеченцев, в одну ночь погрузили в товарные вагоны, увезли в Казахстан и выгрузили в степи. Многие тогда не выжили. После смерти Сталина вернулись в родные места. Трое взрослых сыновей Сайхана теперь учатся в Ленинграде, в институте. Сейчас двое старших взяли академические отпуска, потому что здесь они нужнее – революция, надо помочь Джохару.

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА

Утром мы снова были в приемной Яраги Мамодаева. Секретарша сказала нам, что его срочно вызвали в Москву, а когда вернется, неизвестно. Ждите.

Круг замкнулся.

Прошло еще два дня. Мы ежедневно отмечались в приемной Яраги Мамодаева. Его все не было. Не было и Вахи. Мы вышли в холл, не зная, что делать. Встали у стенки, чтобы ос-

мыслить наши дальнейшие действия. И тут я обратил внимание на небольшого худощавого мужчину, быстрыми шагами проходящего через холл. Я тихонько тронул Теодора и взглядом указал ему на уходящего мужчину, скрывшегося в одном из кабинетов Совмина. Это был Джохар Дудаев – президент Чеченской Республики (именно в те дни на государственной дудаевской даче скрывался сбежавший из соседней Грузии ее экс-президент Звиад Гамсахурдия).

Прошла неделя. В понедельник наш путь опять лежал в приемную Яраги Мамодаева. Бесполезно. И тут Теодор начал сдаваться.

– Едем домой, – сказал он.

Ему можно было ехать – он уходил на пенсию. А вот мне уезжать домой было категорически нельзя. Потому что без строганого шпона фабрики останутся.

И тут мы увидели, что в приемную зашел корреспондент радио (так он представился секретарше). А, была не была! Мы с Теодором сами вызвались на интервью.

Он согласился. Мы рассказали корреспонденту про Ваху, про уголь, который он просил для замерзающей Чечни, про шпон и что нас можно найти в гостинице «Кавказ». Стали ждать.

Радио выручило нас. Вечером в наш номер постучался Ваха с коньяком. Долго извинялся. Сказал, что он организует нам встречу с Асламбеком Гелагаевым – заместителем улетевшего в Москву Яраги Мамодаева.

На следующий день, когда вышли от Асламбека Гелагаева, настроение наше немного улучшилось. Мы имели письмо на официальном бланке комитета директору Ермоловского ДОКа с просьбой отгрузить вагон шпона.

ПОГРУЗКА

Ахьят Сапаев – директор комбината, прочитав письмо, восторга не испытал. Отложив письмо, он спокойным голосом сказал, что не может исполнить его. А не может потому, что ему уже целый месяц не дают вагоны. Запрещено грузить продукцию за пределы республики. Теодор начал глотать валидол. Я в то время обходился еще без сердечных таблеток. Мы снова пошли к начальнику цеха Сайхану Дубаеву.

«Нет проблем», – сказал он. Когда Джохар Дудаев стал президентом, он везде стал ставить своих людей. Председателем Алха-Калинского поссовета был их племянник Зелымхан Итаев.

Сайхан позвонил Зелимхану, чтобы он принял нас. Это был молодой красивый мужчина лет тридцати. Он расцеловался с Сайханом (старших в Чечне уважают) и пригласил нас к себе в гости.

...На следующий день вагон уже грузили.

На станции Ермоловская Северо-Кавказской железной дороги, откуда груженный вагон должен был уйти в Кузбасс, нас охладили в очередной раз – груз не пойдет в Россию без визы комитета.

Мы снова оказались у Асламбека Гелагаева с товарной накладной. Он удивленно посмотрел на нас и откровенно признался, что мы ему понравились своей настырностью: добиваемся того, что нам нужно. Едва переводя дух, мы пошли прощаться, от всей души поблагодарив Ваху Амаева (так была его фамилия), Зелимхана Итаева и особенно Сайхана Дубаева.

ОТЪЕЗД

Все. Надо было улетать из Грозного. В аэропорту проблем оказалось не меньше. Самолета из Москвы не было, как сказали в справочном бюро, вторые сутки. Может быть, предположили там, что вдруг залетит самолет транзитом из Еревана или Тбилиси. В Армении и Грузии проблемы с керосином, и они залетают в Грозный, *110*

заправляются и подсаживают пассажиров, если окажутся свободные места.

Сидим, ждем. Объявляют, что из Еревана вылетел самолет, будет заправляться в Грозном, а потом – курс на Москву. Пробриться к кассе было невозможно. Да простит меня Аллах за вынужденный обман. У нас осталась копия письма Асламбека Гелагаева. Оно было на официальном бланке. Перегнув его, я отрезал текст письма, а на оставшейся части авторучкой написал записку директору аэропорта, чтобы он оказал помощь двумя авиабилетами нашим друзьям-сибирякам. И расписался за Гелагаева. Тут же нас по радио пригласили к служебной кассе за билетами.

Никогда не забуду восхищенного взгляда Теодора.

...Тот вагон спас фабрику от остановки производства. Через полгода в Кемерово приезжал брат директора Ермоловского ДОКа Хамид Сапаев. Мы помогли ему мебельной фурнитурой.

ЭПИЛОГ

Признаюсь, когда я был в Грозном, ни разу не вспомнил об Алике. Не было повода и времени. Зато сейчас я думаю о нем постоянно. С кем он? С чем? С автоматом или с мольбертом в руках?



**Геннадий
ГОРЮНОВ**

ЖИТИЕ МОЕ...
(отрывок)



...У отчима была довольно неплохая библиотека. И в пятом классе я прочитал не только «Тараса Бульбу», но и «Войну и мир».

Когда я жил у тети Маруси, ее дочка Нина (вторая по старшинству, на четыре года старше меня) читала нам, малышам, еще не умеющим это делать, сказки, рассказы, вообще все, что сама учила в школе. Мне было шесть лет, первые стихотворения Пушкина я услышал из уст сестры. И сразу влюбился в этого поэта, потом оказалось, что навсегда...

Рифмовать я пытался уже в третьем классе. В восьмом, когда мне было четырнадцать, под воздействием песни В. Высоцкого «Про Нечисть» я «создал» свое так называемое «произведение». Сейчас, по прошествии стольких лет, мне, конечно, должно быть стыдно за него, нет, не за «технику исполнения», хотя и она была не на высоте... Стыдно за похабщину и матерщину, посредством которой я пытался утвердиться...

Однако успех был полный, друг, который был старше меня на три года, переписал мой опус и выдал за свой. Он учился в медучилище и посредством моей «бляки» стал популярным среди сокурсников.

111

А первое серьезное стихотворение я написал в канун своего семнадцатилетия. Посвященное любимой девушке, оно, увы, не сохранилось.

Жизнь шла своим чередом. Окончив восемь классов, я перешел в другую школу, прежняя была восьмилеткой.

Но проучился не больше недели. Решил, что пора самому зарабатывать свой кусок хлеба, а не тянуть последние жилы из матери. Она и так замучилась с пьяницей-отчимом, а тут еще сынок с возрастающими потребностями...

В общем, в пятнадцать лет я встал на полное гособеспечение, поступив в ПТУ.

Семье нашей стало легче, к тому же мы вырастили телочку, ставшую коровой.

Она давала молоко, которое повлияло на мой рост. За два года перед армией я довольно заметно вырос.

В 1971 году, окончив училище, я пошел работать слесарем на завод. Так что к армии был уже довольно подготовленным.

На работе крутил гайки, дома косил сено, копал землю. Играл в футбол, хоккей, дружил с девушкой...

И вот осень 1972 года, повестка на расчет, прощание, слезы и т. п. Обритый наголо, я ка-

Геннадий ГОРЮНОВ живет в Анжеро-Судженске. Просто и безыскусно он поведал в письме, озаглавленном им «Житие мое», о своей доле. Его судьба во многом схожа с судьбами тысяч наших земляков. Если бы не одно отличие: Геннадий пишет стихи. Искренние и непритязательные. «Самопальный поэт от сохи» – так он сам себя назвал. Эта страсть к творчеству вела его и поддерживала все годы, какие бы переживания ему ни выпадали. В Анжеро-Судженске как автор стихов он весьма известен. Потому что пишет о Родине, о природе, о нелегком шахтерском труде и простых людях, которые его окружают.

Геннадий Горюнов родился 19 сентября 1954 года в крестьянской семье, в поселке Яя Кемеровской области. И мы от души поздравляем его с 60-летним юбилеем.

чусь в эшелоне, набитом новобранцами, на восток. Хабаровск нас распределили по частям. Я попал в город Бикин, в танковую учебку. Учился на механика-водителя тяжелого танка.

Сначала трудновато, особенно городским маменькиным сынкам. Нам, рабочим парням, заметно легче. В армии пригодилось то, что дома я с детства не был белоручкой, в шестнадцать лет косил уже наравне с мужиками. Каждый день ходил пешком, сначала в школу, потом на работу не менее восьми километров по бурану и морозу.

Пошла боевая учеба, караулы, вождение, строевая, наряды и т. п. Где уж тут до стихов? Письмо домой бы успеть написать.

И вот я, новоиспеченный механик-водитель, еду в Хабаровск на постоянное место службы. С новыми надеждами и планами. Первое стихотворение, написанное в армии, лежит в кармане гимнастерки.

Из окна казармы виден остров Большой Усурийский. До границы рукой подать.

Отношения с Китаем были на грани... Но замполит подбадривал, и мы, молодые дурачки, даже мечтали немножечко повоевать, чтобы дома было чем похвалиться.

И, конечно, были стихи. Одно – «Парад» – в сильно измененном, правда, виде сохранилось. Оно было навеяно участием в параде. В ноябре 1973 нас посадили в грузовики, прицепили к ним пушки, дали в руки автоматы. И так мы проезжая мимо главной трибуны напротив штаба округа по команде, повернув голову, положили руки на автоматы. Вот и все...

Стихотворение, как мне тогда показалось, получилось гениальным. Я даже хотел послать его в окружную газету, но замполит категорически отсоветовал, найдя в моем опусе нечто «кромальное». Вот эти строки:

*...Здесь внуки тех, что пали жертвой,
Застыв в отчаянье немом,
От вражьей пули в сорок первом
И от своей в тридцать восьмом...*

«В общем, ничего страшного, только такие стихи будешь писать на гражданке», – сказал замполит.

А дембель – вот он, рядом, рукой подать! В самом конце сентября выходит приказ. Мне вешают лычки и командируют в распоряжение начальника строевой части. Капитан Лобковский

однажды, увидев меня на КВНе и послушав там мною сочиненное, прямо-таки «влюбился» в мои озорные стишки. И при первом удобном случае взял меня к себе в штаб, а услышав мой юношеский скабресный «шедевр» на тему сказок Высоцкого, пришел в восторг... И заставлял много раз повторять, как мне казалось, набившее оскомину. Свои стихи о любви ему читать я почему-то стеснялся.

Наконец прощание с сослуживцами, аэропорт, самолет, Новосибирск и, наконец, Анжерка. Шел пешком по центру города. Кругом никого. Город за два года нисколько не изменился. Что говорить о Мишихе. Полнейшее запустение, школу закрыли, правда, магазин еще работал...

Первые эмоции о встрече с родными быстро развеялись. И душу охватила тоска. Не знаю, почему, но именно тоска. Приятелей позабирали в армию, девчонка, с которой дружил до армии, оказалась не моей.

Благо, был у меня единственный, как потом оказалось, друг. Евгений Павлов, муж моей двоюродной сестры Нины. Он был на шесть лет старше меня. И в детстве меня по-своему опекал. И в армию провожал, и на вокзале мы с ним даже поменялись брюками. Он тоже баловался стишатами и не только. Пробовал писать рассказы, и даже куда-то посылал. Но, главное, он был великий организатор и великолепный, не побоюсь этого слова, рассказчик. В детстве, когда мы уходили с ночевкой на речку Китат, он мог часами рассказывать, порой на ходу сочиняя всякие фантастические страшные истории. При встрече мы обнялись и никогда больше не расставались надолго. Позже, когда я учился в Новосибирске и приехал домой погостить, мы, будучи на охоте, написали вместе стихотворение. Оно вошло в один из моих сборников. И потом стало песней, которую написал и исполнил анжерский композитор Павел Галковский, «Последний бой офицерского полка».

Я снова пошел работать на завод. Чтоб заработать побольше, переквалифицировался в штамповщики, потом во фрезеровщики.

Мне нужен был аттестат о среднем образовании. Я мечтал поступить в пединститут. Моя душа разрывалась между истфаком и филфаком, но судьба рассудила иначе.

Отчим умер, замерз по пьянке, и мы остались с мамой. В январе 1977 года завод мне дал турпутевку. Я побывал сразу в двух странах: Румынии и Венгрии. «Открыл», кроме «окна в Ев-

ропу», еще и столицу нашей Родины. Впрочем, она мне сразу не понравилась. По сравнению с Бухарестом и Будапештом, она мне показалась неким угрюмым монстром. Путешествие нашей группы кузбассовцев началось в Кишиневе, где мы сели на автобус и потом проехали через Румынию в Венгрию до Будапешта и обратно.

Была масса впечатлений, поразила разница между Анжеркой и, скажем, Брашовом или Дебреценом. Да что там говорить!

В конце весны 1977 года к нам на Мишиху приехали лесостроители из Ленинграда. Их поселили через дом от меня в домике лесника. Ребята были общительные, и я быстро подружился с соседями. Двое из них, Игорь Александров и Володя Архипов, были выпускниками лесотехнической академии. Саша Пешкичев – простой рабочий. Все хорошо играли на гитаре, пели, любили Пушкина, исполняли песни на его стихи («Жил на свете рыцарь бедный...», «Дорожные жалобы» и т. д.). Я поделился с ними своими планами. В ответ услышал: «Зря ты это затеял. Кто ты сейчас такой? Простой рабочий. Твоя махновщина никого не колышет. А вот станешь студентом. Шило в мешке не утаишь. В наших вузах полно стукачей. Хорошо, если после первого семестра просто выгонят из института, а может быть, что-то и похуже... Короче, бросай ты свои затеи. Иди к нам, в лесу из тебя вся блажь выветрится. И то сказать, не сможешь ты быть учителем литературы, тем паче истории. Об институте вообще речь идти не может. С твоими взглядами и твоим характером лучше быть от официоза подальше».

Так я стал лесостроителем, рубил просеки. Ставил квартальные столбы. Мок под дождем, спал в палатке, слушал песни. Когда ребята в конце сезона уехали, хотел снова идти на завод, но судьба повернула события по-другому.

Приехал друг детства. Он работал в топографической экспедиции и собирался учиться в топографическом техникуме, точнее в его филиале. И так мы поехали с ним в Новосибирск и безо всяких экзаменов были зачислены на ускоренный курс топографов.

Нас, прошедших армию бородачей, не хотели смешивать с желторотыми юнцами, и мы учились отдельно по отдельной сжатой программе целых две зимы. Летом, конечно, «работали в поле», простыми рабочими зарабатывая средства. Были в нашем заведении и девушки (фотограмметристки, вычислители, чертежницы), что делало наше ученье совсем даже нескучным.

Главное, что дал мне Новосибирск – это общение с новыми людьми. Попадались очень интересные, пишущие стихи, имеющие свой взгляд на действительность.

Один из них, Михайличенко, или как он себя называл «Михайлишеску» – полурумын-полухохол (имени, к сожалению, не помню). Мы звали его Михай. Оказавшись в Сибири случайно, он долго в ней не задержался, но остался в моей памяти. Я считал его сложившимся поэтом. Он был старше и опытнее, в свое время изгнан из института. От нас его тоже «изгнали», точно не помню за что. Так вот, не в пример мне, он был изрядным поэтом-самоучкой. Состязание с ним меня очень подзадорило.

Встречались, конечно, и другие хорошие ребята, пишущие и не пишущие, всех не упомянешь. Пробовались мои опусы и в качестве текстов, например «Братья Витальеры».

Моя полевая эпопея закончилась так же неожиданно, как и началась, по двум причинам. Во-первых, украли документы, но главное, стала прибалывать мама. Она по-прежнему жила на Мишихе с приехавшей из Тяжина бабушкой.

Вернувшись в родные пенаты, я пошел работать на шахту, сначала горнорабочим, потом проходчиком. Стихи, конечно, писал, но не придавал этому особого значения, до тридцати лет не хранил даже записей...

В 1981 году я встретил девушку. Будучи уже довольно опытным человеком, увидел в ней надежного товарища, хорошую жену и мать, к тому же человека, не равнодушного к поэзии. Предложил ей стать моей женой, получил согласие, и вот уже тридцать с лишним лет мы вместе. Делим наши радости и невзгоды пополам. У нас дочь и сын, внучка и внук. Надеемся дожить до правнуков.

В 1984 году мы купили домик на Руднике, переехали. Я пошел работать на ДОФ, где, увы, заработал заболевание – пылевой бронхит.

Конечно же, никогда не бросал писать стихи. Напротив, с годами увлечение переросло в некую потребность. Мои тетрадки ходили по рукам... Читатели, выступив на профкоме рудоуправления, выхлопотали мне средства на издание первого сборника. Директор дал добро, и я поехал с гарантийным письмом в Кемерово. Стоял 1993 год, время было смутное, но рот подобным мне уже не затыкали, хотя... В издательстве мне рекомендовали предоставить рецензию на мою писанину. Я, явившись в Союз

писателей, был там нормально принят и представлен на попечение опытному редактору, поэту Владимиру Ширяеву. Тот назвал меня талантливым и принялся за работу. Если ему что-то не нравилось в моих стихах, он выбрасывал целыми кусками. В общем, получилось далеко не то, что я хотел. И все-таки он увидел свет, мой первый сборник «Плач по родной земле» (1993). Через два года под редакцией того же В. Ширяева вышел второй – «Человек на острове». Творчество мое было встречено неоднозначно. Кое-кто говорил, что это вообще не стихи, лубочная поэзия, бодяга, «лобовые» стихи.

Но однажды совершенно случайно я услышал разговор двух корифеев Кузбасской поэзии, говорили обо мне. И один из них, Валентин Махалов, сказал: «...Есть очень сильные вещи». Я не бросился его благодарить (было бы глупо). Однако после услышанного уже ничуть не сомневался: Да! Я – поэт!

Пусть меня хвалят или наоборот, это уже не имеет значения. Я с головой погрузился в работу. Вспоминал и переписывал заново старые стихи, писал новые.

Жизнь текла, выходили сборники «Человек на острове» (Кемерово, 1995), «Поиск истины» (Анжеро-Судженск, 1999), «Траектория жизни» (Анжеро-Судженск, 2005), «Перипетии бытия» (Анжеро-Судженск, 2009), «Земли Кузнецкой уголок» (Кемерово, 2011).

Это, так сказать, настоящие сборники. Еще были самиздатовские. «Взгляд на трагедию» (2010) по рекомендации губернатора был передан в областную библиотеку им. В. Д. Федорова. Там же находится еще один мой подарок губернатору – сборник стихов «Земли Кузнецкой уголок».

За годы творчества было много выступлений перед любителями поэзии, удачных и не очень. Но все они были полезны. Близкие отношения среди профессиональных литераторов сложились пока только с Александром Катковым.

В свое время через Сергея Побоккина, председателя городской литературной студии, мне передали удостоверение члена Союза писателей Кузбасса...

...Надеюсь, что кому-то и мое творчество приносит радость.

Описывая, пусть кратко, свою жизнь, я просто не имею права не коснуться очень важного аспекта: мы все пережили очень непростое время.

При прежнем строе в силу многих обстоятельств я был таким, как все. Перестройка, гласность, конечно, повлияли на мое отношение к окружающему, однако, не так сильно, как постгорбачевская эпоха.

Совпали по времени два события: выход моего первого сборника и болезнь. Получив профзаболевание, я не мог работать по специальности. А быть дворником не позволяла гордость, навыки геодезиста за 15 лет я, увы, утратил.

Меня и мою семью спасли коровы. Да, коровы... Когда я ушел на регресс, а он был мизерный, у меня было две дойных, пусть не очень хороших, коровенки. И самодельный трактор, такая рабочая лошадка, мог везти около тонны груза. Еще, конечно, сыграла роль заложенная в генах тяга к крестьянскому труду, а также навыки, полученные в детстве и юности. В общем, я стал, нет, не фермером, скорей крестьянином. Как и мои предки.

Занимался исключительно молочным животноводством. Один год было даже три дойных коровы. А это, уж поверьте мне на слово, очень даже нелегкий хлеб. «Перезимков» я оставлял очень редко, накосить столько сена было мне не по силам. Покос, если его можно назвать таким, был очень плохим, неудобницы, кочки, коряги, камыш, косогоры, плохая трава. Спасибо тракторишке. Без него я бы не вытянул свою лямку. Во-первых, на нем я стрелевал и вывез лес, из которого срубил две стайки. Во-вторых, возил сено, накошенное в разных местах... И вообще, несмотря на то что я с ним намаялся (частые поломки), когда пришлось его продать, очень жалел. Но продал я его, когда нужда в двух, тем более трех коровах отпала.

Дети выросли, дочь окончила институт, вышла замуж, появились внуки. Сын пошел работать, закончив ПТУ. Мне была начислена пенсия.

За публикации в местной газете я стал получать небольшой гонорар. Иногда удавалось реализовать свои сборники.

Несмотря на бесконечные хлопоты – хозяйство, скотина, огород и т. п., я никогда не забывал о главном. О поэзии. Она меня все сильнее притягивала. И стала смыслом существования...

Кстати, фраза «Землю попашет, попишет стихи» кроме снисходительной улыбки у меня еще вызывает крепкое словцо. Пусть бы сам сказавший эти слова попробовал...

Меня неоднократно упрекали товарищи по перу и некоторые читатели за то, что я слишком

много внимания уделяю политике: возмущаюсь, обличаю, сетую. Говорят, надо быть терпимей. Но уж такой я человек, не могу молчать, когда вижу вокруг несправедливость, подлость, лицемерие, хамство! Мне говорят: «Чего ты хочешь? Ругал всячески коммунистов, теперь вот взялся за демократов. За кого ты?»

Отвечаю: «Я против зла, в какие цвета оно бы ни красилось. Я это доказал своим творчеством». Да, пусть я оказался между этими и теми, как между молотом и наковальней. Но от принципов своих не отступлю, не зря еще в юности меня называли «махновцем». Но я не «махновец». Я создал свою модель мироздания и отражаю, как могу ее в своих стихах! Тем и закончу. Геннадий Горюнов – «самопальный поэт от сохи».

РАССТАВАНИЕ

*Будто бы от сердца отрывала,
Так уж было старой тяжело.
Бабушка корову продавала,
Собираясь покидать село.
Уезжала к детям, в шумный город.
Управлять хозяйством не могла.
Что поделатъ, восемьдесят скоро,
Всю себя крестьянству отдала...
Дом скривился, стайка обветшала,
Да и у самой уж прйти нет.
Деда прошлой осенью не стало.
Натрудясь, покинул этот свет
Балагур, шустряк неугомонный.
Дети, внуки в разных городах,
И самой придется в дом казенный
Перебраться. Что ж, уже в годах,
Стало быть, пора определяться,
Хошь-нехошь, а к месту одному.
Трудно было бабке расставаться
С обогретым местом. Никому
Этакой беды б не пожелала.
Ведь всю жизнь в деревне прожила,
Если бы, конечно, не хворала,
Сроду б не покинула села...
Тут еще кормилица корова...
Оставлять не хочется, хоть плачь.
Снова передумала и снова...
Прям-таки задача из задач.
Долго убедить себя пыталась
(Вариантов не было других):
– Я б с тобою, Зорька, не рассталась,
Только сил впрямь нету никаких.*

*Ты уж на меня не обижайся,
Отдаю тебя чай не под нож.
Ну, иди-иди, не упираться.
Не на бойню – к людям ты идешь –
Будешь молоком поить их деток...
Над душой тоски нависла тень...
Обняла корову напоследок,
Вывела неспешно за плетень.
Там уже стоял хозяин новый
(Был, немного выпивши, кажись),
Хлеб в руке, под мышкой прут ивовый.
Вмиг глаза слезами налились
У отдавшей повод бабы Кати.
– Прощевай, кормилица, прости.
Разболелись ноженьки некстати,
Дальше не могу тебя вести, –
Отвернувшись, старая сказала,
И нетвердый дрогнул голосок.
Будто бы от сердца отрезала
Горькая судьбинушка кусок...*

РАЗДУМЬЯ СТАРОГО ШАХТЕРА

*Закончилась полным раздором
За лучшую долю война.
Сидевшим на рельсах шахтерам
Страна оплатила сполна...*

*Когда-то считались элитой
Герои подземных глубин.
А ныне собакой побитой
На новых хозяев глядим.*

*Чего мы вообще добивались,
С чиновничьей ратью борясь?
В полнейшем «пролете» остались.
Наивных, втоптали нас в грязь.*

*Давайте о пенсиях скажем
Всю правду, душой не кривя.
Пристало правителям нашим
Шахтера давить, как червя...*

*Поскольку размер наших пенсий
Приемлемым трудно назвать,
Здесь может быть несколько версий,
Но истину трудно скрывать!*

*Себе-то они «насчитали»
На старость деньжат ого-го...
А что за труды наши дали?
По сути сказать, – ничего.*

*Хоть долго еще будет помнить
Шахтерские бунты Москва,
Но миссию нашу исполнить
Мы были готовы едва...*

*Разводим сейчас тары-бары,
Злость в раненых душах кипит.
Но нет среди нас Че Гевары.
В нас батька Махно тоже спит.*

ОСЕННЕЕ

*Уж осень золото стряхнула,
А как ей был наряд к лицу.
Природа холодом дохнула,
Вот и октябрь идет к концу.*

*Лежат под снежною порошей
Осиротевшие луга,
Морозец выковал хороший
У тихой речки берега.*

*С покоса скучного, пустого
Свезли последнюю копну,
Земля сибирская готова
К довольно длительному сну.*

*Снега глубокие возложит
Ноябрь старательно на ней;
И пусть ничто не потревожит
Покой и сон на много дней.*

ЭЛЕГИЯ

*Я вернусь, непременно вернусь,
Когда мир одаряя цветами,
Молодыми прошепчет устами
Нам весна потаенную грусть.
Я вернусь, непременно вернусь,
Когда радуга небо расцветит
И по лужам скакать будут дети,
Вместе с ними я вновь рассмеюсь.
Я вернусь, непременно вернусь,
Когда осень леса зачарует,
Воплотившись в печальные струи,
Я дождем к вам в ладони прольюсь.
Я явлюсь в синь морозного дня
Или в звездность рождественской ночи,
Кто со мной расставаться не хочет –
Пусть всегда ожидает меня.*



Анатолий
ПАРПАРА

«ОН НАЧАЛ СРАЗУ
КАК ВЛАСТЬ ИМЕЮЩИЙ»

К 200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова

Так сказал о Михаиле Юрьевиче Лермонтове великий писатель граф Лев Николаевич Толстой, перефразировав стих Евангелия от Матфея («Ибо Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (гл. 7, ст. 29)). И действительно, не желавший печататься в журналах, молодой сочинитель настойчиво работал над своей поэмой «Демон», улучшал поэму «Боярин Орша», не переставал трудиться над драмой «Маскарад». В его архиве были уже десятки стихотворений, которые войдут в сокровищницу мировой лирики: «Русская мелодия», «Предсказание», «1831-го июня 11 дня», «Прекрасны вы, поля земли родной», «Настанет день – и миром осужденный...», «Я не унижусь пред тобою», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Парус», «Опять, народные витии...», «Бородино»... а читатель еще не знал, что уже живет и действует, что уже созрел для славы гениальный поэт, преемник знаменитого Пушкина. Это был не известный, не открытый миру поэт. А явился он России в горестные для нее дни, когда оплакивала она смерть Александра Сергеевича Пушкина, «солнца русской поэзии» по замечательному определению А. Одоевского.

Лермонтов был болен, когда до него дошли известие о гибели поэта, и светские слухи, и сплетни о причине дуэли. Он был возмущен тем, что «высший свет» оправдывал убийцу и, по его словам, «излил горечь сердечную на бумагу».

«Смерть поэта» заканчивалась строкой: «И на устах его печать».

Реакция на это гневное стихотворение в «высшем свете» была неожиданной: оно вызвало смуту, раздражение в адрес сочинителя и даже... похвалы Дантесу. Один из родственников поэта, дипломат, пришел к автору защищать убийцу. Лермонтов разгневался, выгнал его... и написал шестнадцать строк, ставшими знаменитыми. Этих крамольных стихов простить ему не смогли, и Михаил Лермонтов в первый раз был сослан на Кавказ: дерзкого корнета перевели прапорщиком в Нижегородский драгунский полк, действовавший там.

Но эта ссылка стала и переводом неизвестного никому стихотворца в знаменитые поэты. А мыслящая Россия поняла, что честь ее спасена, что зная, вы-

павшее из рук Пушкина, попало в надежные руки прапорщика-знаменосца. «...Я родину люблю. И больше многих...» – эти проникновенные слова семнадцатилетнего юноши прошли испытание временем и отзываются в сердцах многих поколений, радостно и светло, как слова молитвы в устах верующего.

Отныне на оставшиеся ему четыре года земной жизни и на всю вечность небесной – имена двух классиков русской литературы стали неразрывно ставиться рядом: Пушкин и Лермонтов, Лермонтов и Пушкин, в зависимости от влюбленности в одного или другого. Но родство этих двух любезных славянскому слуху имен уходит корнями в невиданную глубину, ибо мать их – Москва, а отец их – природный русский язык.

Очень красноречиво о значении этих родственных нашему сознанию поэтов поведал нам писатель и философ Дмитрий Мережковский: «С годами я полюбил Пушкина, понял, что он велик, больше, чем Лермонтов. Пушкин оттеснил, умалил и как-то обидел во мне Лермонтова: так иногда взрослые нечаянно обижают детей. Но где-то в самой глубине души остался уголок, не утоленный Пушкиным.

Я буду любить Пушкина, пока я жив; но когда придет смерть, боюсь, что это примирение:

*И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять, –*

покажется мне холодным, жестоким, ничего не примиряющим – и я вспомню тогда детские молитвы, вспомню Лермонтова» (Мережковский Д. С. М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. СПб.: Пантеон, 1909. С. 5).

И, конечно, младший брат, как и положено, в семье подражал вначале старшему брату. Достаточно прочитать его ранние работы «Олег», «Цыганы», «Кавказский пленник», позднее написанную «Тамбовскую казначейшу», некоторые другие стихи, чтобы сделать подобный вывод, но Лермонтов стремительно мужал, его ранний ум стал замечать многое из того, что не видели и о чем даже не догадывались его ровесники, окружающие его люди:

*Никто не дорожит мной на земле,
И сам себе я в тягость, как другим...*

Мотив одиночества в творчестве поэта не прихоть или каприз, а горестная необходимость. Ему было всего три года, когда его мать, Мария Михайловна, умерла от чахотки. «В слезах угасла мать моя» – так емко и горестно охарактеризует Михаил Юрьевич трагедию двадцатидвухлетней женщины, больной, разочарованной в жизни, осуждаемой за порыв сердца родной матерью Е. А. Арсеньевой, властной аристократкой, пережившей, в свою очередь, сердеч-

ную трагедию. Елизавета Алексеевна сразу невзлюбила своего небогатого зятя. И после смерти любимой дочери не захотела оставить внука, в котором не чаяла души, с его отцом Юрием Петровичем Лермонтовым, отставным капитаном, вынужденным уехать в результате ссоры с тещей в небольшое свое имение Кропотово (Кропотовка) Ефремовского уезда Тульской губернии (ныне Кропотово-Лермонтово Липецкой области). Ей удалось навязать Юрию Петровичу договор, по которому она брала на себя полное обеспечение внука и воспитание его, а взамен требовала одного: не встречаться с сыном. Какое это влияние оказало на впечатлительного ребенка можно судить по тому, как он описал в своей ранней пьесе подобную ситуацию, в которую попадает его герой: «У моей бабки, моей воспитательницы – жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадет» (М. Ю. Лермонтов. Акад. изд. Т. V. С. 149).

И все-таки редкие встречи их то в Кропотове в 1827 году, то в Москве были, вне сомнения, счастьем для мальчика. О них он помнил всю оставшуюся жизнь.

Не откажу себе в радости процитировать размышления Ивана Бунина о детстве Лермонтова в этом селении: «Вот бедная колыбель его, наша общая с ним, вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня некогда, томилась его младенческая душа, «желянием чудным полна», и первые стихи, столь же, как и мои, беспомощные... А потом что? А потом вдруг «Демон», «Мицыри», «Тамань», «Парус», «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...». Как связать с этой Кропотовкой все, что есть Лермонтов? («Жизнь Арсеньева»). Есть над чем подумать!

Об отношении отца к сыну можно судить по завещанию, в котором Юрий Петрович пророчески пишет: «...Ты одарен способностями ума, – не пренебрегай ими и всегда более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!.. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце... Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание...»

Ему не было и шестнадцати лет, когда его отец умер.

*О, мой отец! где ты! где мне найти
Твой гордый дух, бродящий в небесах... –*

восклицает юный поэт, тоскуя о нем.

Это «доброе сердце» помнит глубинным чувством и отца, и, конечно же, мать, иначе бы не были написаны такие строки: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал; не могу теперь вспомнить, но уверен, что если бы услышал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать».

Характерно, что тогда же, воссоздавая состояние, в которое приводила его песня мамы, он слагает замечательное стихотворение «Ангел»:

*Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.*

И память о матери осталась такой же живой и теплой. Это она подарила сыну дар небесный – слагать звуки. Это она вселила «жажду страшную песнопенья» в него. И снова мысль семнадцатилетнего юноши возвращается к отцу:

*Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть...*

Он уже предчувствует свой жребий и полностью подчиняется неодолимому. С этого времени оставшаяся жизнь поэта разделяется как бы на два уровня: один – для людей, для жизни среди них, а другой – для творчества, для жизни небес, ибо «небо учило меня любить, но люди учили меня ненавидеть». Два мира, две параллели, которые не пересекаются. Сам Лермонтов обозначил эти полярности в стихотворении «Небо и звезды» так:

*Люди друг к другу
Зависть питают;
Я же, напротив,
Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы желал.*

Остается только поражаться ранней мудрости этого юноши. Недаром Д. Мережковский, писатель и философ, назвал Лермонтова «поэтом сверхчеловечества». И он же верно подметил главное в творчестве его: «Не от «благословленного» Пушкина, а от «проклятого» Лермонтова мы получили этот «образок святой» – завет матери, завет родины. От народа к нам идет Пушкин; от нас – к народу Лермонтов; пусть не дошел, он все-таки шел к нему. И если мы когда-нибудь дойдем до народа в предстоящем религиозном движении от небесного идеализма к земному реализму, от старого неба к новой земле – «Земле Божией», «Матери Божией», то не от Пушкина, а от Лермонтова начнется это будущее народничество» (Д. С. Мережковский. Указ. сочинение. С. 87).

Размышляя о судьбах русских великих поэтов, В. В. Розанов, глубокий прозаик и оригинальный мыслитель, пишет: «Литература наша, может быть, счастливее всех литератур, именно гармоничнее их всех, потому что в ней единственно «лад» (у Пушкина. – Прим. авт.) выразился столь же удачно и полно, так же окончательно и возвышенно, как «разлад» (у Лермонтова. – Прим. авт.)... Лермонтов самым бытием лица своего, самой сущностью всех стихов своих, еще детских, объясняет нам, почему мир «вскочил и убежал».

Возможно, что Василий Васильевич знал, что о двадцатитрехлетнем Пушкине мудрый Карамзин,

предсказывая возможное великое будущее поэта, горько сказал: «Но нет лада в его душе». Не было «лада» и в душе Лермонтова. И мы знаем, почему...

Но все-таки страсть его к Небу, обращение его к Богу, которое напоминало отношения сына и отца, было уважительным и сквозным для всего творчества. Вспомним одну за другой все три (исключая шутовскую «Юнкерскую молитву» (1833) молитвы: «Не обвиняй меня, Всесильный...» (1829), «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» (1837) и «В минуту жизни трудную...» (1839). И, конечно же, стихи последних лет жизни, такие как «Оправдание»:

*Но пред судом толпы лукавой
Скажи, что судит нас иной
И что прощать святое право
Страданьем куплено тобой.*

Или «Выхожу один я на дорогу» с его «В небесах торжественно и чудно!». Или «Ангел» с его «По небу полуночи ангел летел». Такие божественные произведения В. В. Розанов называл гимнами: «Гимны его напряжены, страстны, тревожны и вместе воздушны, звездны. Вся его лирика в целом и каждое стихотворение порознь представляют соединение глубочайше-личного чувства, только ему исключительно принадлежащего, переживания иногда одной только минуты, но чувства, сейчас же раздвигающегося в обширнейшие панорамы, как будто весь мир его обязан слушать, как будто в том, что совершается в его сердце, почему-то заинтересован весь мир. Нет поэта более космического и более личного» (В. В. Розанов. М. Ю. Лермонтов. К 60-летию кончины). Как нет поэта, добавим мы от себя, так «любимого Небом» (В. Розанов) и привязанного страдающей любовью к земле, к своей родине более, чем Лермонтов.

Внимательный читатель может заметить в его творчестве нарастание страсти (стеснительной, даже робкой вначале, непривычной для такого самостоятельного человека как Михаил Юрьевич, к родной отчизне: год от года она росла – от юношеской, непосредственной любви:

*...среди ее полей
Есть место, где я горесть начал знать;
Есть место, где я буду отдыхать,
Когда мой прах, смешавшийся с землей,
Навеки прежний вид оставит свой.*

до зрелой и осознанной: «Люблю отчизну я, но странною любовью!».

(Кстати об эпитете! Сегодня многими воспринимается слово «странною» совсем не так, как оно звучало в середине девятнадцатого века. В словаре древнерусского языка И. И. Срезневского среди прочих значений слова «странный» есть и «удивительный», и «необыкновенный», и «непостижимый». – Прим. авт.)

Любовь поэта к родине исполнена достоинства и света. И подкреплена офицерской службой. Как известно, Михаил Юрьевич был храбрым воином, и неоднократно командиры его отмечали в своих рапортах отвагу офицера и представляли его к награждению орденами и золотым оружием. Но император Николай I, имевший свое представление о жизни и делах Лермонтова (вопрос отношений императора и поэта – очень сложный и требует особого, деликатного и глубокого, разбора. – Прим. авт.), вычеркивал его имя из боевых реляций.

Многие современники Михаила Юрьевича замечали идущую в его душе борьбу, из которой он должен был выйти к «ладу», к примирению с людьми, к пониманию обстоятельств, в которых живут они, но время не позволило сделать этого.

Творчество Лермонтова, и это отмечали многие его исследователи, в таких произведениях, как «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Бородино», «Два великана», «Завещание», «Атаман» становится наиболее народным. Недаром Достоевский, говоря о нем как народном поэте в идеале, горюет: «Остался бы Лермонтов жить, и мы бы имели великого поэта, тоже признававшего правду народную, а может быть, и истинного «печальника горя народного». Вместе с тем «Герой нашего времени» – летопись человеческих душ, исполненная суровой жизненной правды, лирических мечтаний и повседневной горечи. Нам жаль этого славного человека – Печорина, которого жизнь заставила так презирать людей, что он разучился любить и ненавидеть. Его трагедия была в том, что он призывался на землю для великих деяний, но предпочел поступкам резонерство и скуку:

*Как солнце осени суровой,
Так пасмурна и жизнь моя;
Среди людей скучаю я:
Мне впечатление не ново.*

Не менее трагична и судьба другого литературного героя, жителя небес – Демона». Если Печорин сменил любовь на презрение к людям, вследствие «душевной пустоты», то Демон, не замечавший ранее людей с их жалкими страстями, вдруг готов сам беззаветно полюбить. И слеза его, исторгнутая жаждой любви, «адская», немилосердно прожигает камень.

*Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой.*

Образ падшего ангела, мечтающего о земной любви, созданный поэтом, был настолько завораживающий, что в него влюблялись. Есть свидетельство разговора петербургской красавицы М. П. Сандомирской с Лермонтовым, в котором она не скрывала

того, что «могла бы полюбить такое могучее, властное и гордое существо».

Да и сам Лермонтов, дитя чистого неба, знал нечто о неземной любви. Она явилась ему в раннем возрасте в образе незнакомой девочки. Он сам написал об этом явлении в дневнике за 1830 год: «Кто мне поверит, что я знал любовь, имея 10 лет от роду?..»

Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или <...> подумают, что я брежу, не поверят ее существованию – это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность, – нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или мне это так кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. <...> И так рано! В 10 лет... о, это загадка, этот потерянный Рай до могилы будет терзать мой ум!».

Так он и жил, обожженный этим видением, и глубоко страдал от невозможности воплощения той красоты в реальности. И, мучаясь от противоречия между идеалом и реальностью, горестно писал:

И с тоской

Я вижу, что любить, как я, порок...

Именно это страдание и позволяет мне назвать Лермонтова поэтом несбывшейся любви. Никто так страстно не желал ее, никто так резко не отказывался от любви, когда в ней начинали звучать диссонансом ложь, выгода или светское пустое кокетство, никто так не страдал от понимания невозможности чистоты ее. И такое осознание невозможности великой радости привело к трагедии...

Известие о гибели поэта было сообщено в газетах в такой форме: «15 июля, около 5-ти часов вечера, разразилась ужасная буря с молнией и громом; в это самое время, между горами Машукою и Бештау, скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов».

Высший свет не очень огорчен был случившимся, а некоторые сановники даже облегченно вздохнули: «Еще один смутьян отдал душу Богу».

Но были и близкие души, которые вздрогнули, как от удара молнии, и зарыдали о погибшем. Вот два свидетельства. Графиня Евдокия Ростопчина, известная поэтесса, в письме к французскому писателю Александру Дюма горестно констатировала: «И пистолетный выстрел во второй раз похитил у России драгоценную жизнь, составлявшую национальную гордость».

И в смерти своей Пушкин и Лермонтов были трагично близки друг к другу. Это заметил выдающийся философ Юрий Самарин. В своем дневнике от 3 августа, когда известие о гибели Лермонтова дошло до Петербурга, он записывает печальные строки: «Лермонтов убит на дуэли Мартыновым!»

Нет духа писать!

...Невольно сжимается сердце и при новой утрате болезненно отзываются старые: Грибоедов, Марлинский, Пушкин, Лермонтов. Становится страшно за Россию при мысли, что не слепой случай, а какой-то приговор судьбы поражает ее в лучших из ее сыновей, в ее поэтах. За что такая напасть... и что выкупают эти невинные жертвы?

Бедный Лермонтов. Он умер, оставив по себе тяжелое впечатление. На нем лежит великий долг, его роман – «Герой нашего времени». Его надлежало выкупить, и Лермонтов, ступивши вперед, оторвавшись от эгоистической рефлексии, оправдал бы его и успокоил многих.

Да, смерть Лермонтова поражает незаменимой утратой целое поколение. Это не частный случай, но общее горе, гнев Божий, говоря языком писания, и, как некогда при казнях свыше, посылаемых Небом, целый народ облакался трауром, посылая себя пеплом, и долго молился в храмах, – так мы теперь должны считать себя не безвинными и не просто сожалеть и плакать, но углубиться внутрь и строго допросить себя...».

(Цитирую по книге В. Кошелева «А. С. Хомяков». «Новое литературное обозрение», М., 2000. С. 235.)

«Что выкупают эти невинные жертвы?» – спросим и мы себя, продолжая печальный список именами А. Блока, Н. Гумилева, С. Есенина, В. Маяковского, П. Васильева, Д. Андреева, И. Талькова... Но нет нам ответа...

ЗАМЕТЫ. ДУМАЯ НАД ЛЕРМОНТОВЫМ

О ЗАКОНАХ БЕССМЕРТИЯ

С физической смертью Лермонтова высвободилась его поэтическая свобода. Созданное им отошло, как и душа, к горнему пределу от его тела, верного родной земле. Умерло тело русского офицера, но поэзия его стала жить по законам бессмертия. Ее уже не сдерживали человеческие поступки создателя. Помните, о чем печалился семнадцатилетний поэт?

– Чем ты несчастлив? –

Скажут мне люди.

Тем я несчастлив,

Добрые люди, что звезды и небо –

Звезды и небо! – а я человек!..

Поэт был огорчен тем, что он – дитя человеческое, несовершенное. А стремления его были к небесному совершенству. Потому и желания его были несбыточными:

Только завидую звездам прекрасным,

Только их место занять бы хотел.

Если Пушкин – это земля и воздаяние земному, то Лермонтов – мечта о небе. По сути же своего таланта

Лермонтов – метеорит, долженствующий жить кано-нами земли. Но он, дитя неба, не подчинился смерт-ному. Об этом цитированные выше строки началь-ного стихотворения «Небо и звезды». Об этом же и «Выхожу один я на дорогу» – стихотворение, завер-шающее творчество поэта.

27 июля (15 ст. ст.) 1841 года – день кончины – есть день рождения великого поэта, настоящий день рождения Лермонтова. Ему простилось все земное, поступки и проступки, а небесное, которому он слу-жил изначально, к чему тянулся так настойчиво, при-няло его под свое покровительство. Исполнилось то, о чем он мечтал. Он стал звездой первой величины в космосе мировой культуры.

Но мы-то помним о том, что он был человеком. Именно это роднит нас с поэтом и дает нам неиссяка-емую надежду на достижение несбыточного. Может быть, кому-то еще из нашего роду-племени удастся достичь таких же космических высот.

О «СТРАННОЙ» ЛЮБВИ ПОЭТА

Люблю тебя нездешней страстью, –

признается Лермонтов Вареньке Лопухиной.

«Для христианства «нездешнее» значит «бес-страстное», «бесплотное»; для Лермонтова, наобо-рот: самое нездешнее – самое страстное; огненный предел земной страсти, огненный источник плоти и крови – не здесь, а там.

Я перенес земные страсти туда с тобой.

И любовь его – оттуда сюда. Не жертвенный огонь, а молния».

Не является ли логически выстроенная цепь дока-зательств Дмитрия Мережковского применимой и для осмысления «странной» любви поэта к родине?

*Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.*

Может быть, эта любовь так глубинна, так при-родна –

*Но я люблю – за что, не знаю сам –
Ее степей холодное молчанье...*

что и пришла она «оттуда сюда». Не случайно, что определение «странный» идет от чужой, необычной страны. В словаре старорусских слов Измаила Срез-невского среди многих значений слова «странный» есть такие: сторонний, боковой, чужой, чуждый и даже отвратительный, зазорный....

Но присутствуют и три поразительных эпитета: удивительный, необыкновенный, непостижимый. Знаменитый ученый приводит пример непостижимо-сти: «Странно девам дети рожати».

Уж не удивительным ли, необыкновенным и непо-

стижимым ли чувством любит Лермонтов отчизну! А если это так, то тогда становится понятным:

Но я люблю – за что, не знаю сам...

Ибо только такое чувство, природное и глубинное, может быть необъяснимым, и непостижимым, и нео-быкновенным.

Наблюдения за эпитетом «странный» в творениях выдающихся писателей пушкинской эпохи заставля-ют меня убедиться именно в таком для сегодняшнего дня неожиданном прочтении этого слова в начале де-вятнадцатого века.

Обратимся за примером, подтверждающим мою догадку, к знаменитому очерку А. С. Пушкина «Путе-шество в Арзрум» (1829): «Ручьи, падающие с гор-ной высоты мелкими и разбрызганными струями, на-поминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта» (А. С. Пушкин. ПСС. Изд-во «Правда», 1981. Т. 7. С. 305).

Разве не это же значение необыкновенности имел в виду наш поэт, характеризуя «Похищение Га-нимеда»?!

P. S. Дополняю свои размышления об этом эпитете откликом на прочтенное моего однокурсника по МГУ и друга, известного писателя и переводчика Влади-мира Мисюченко.

Люблю отчизну я, но странною любовью...

«То, что здесь «странный» не несет никакого «нега-тивного» оттенка, можно понять и не прибегая к ино-странному языку, на котором говорили (и думали) по-эты первой половины XIX в. Да, в английском *strange* (почти как во французском *etrange*) – это изначально чуждый (иноплеменный), чужой, но главное – необыкно-венный, удивительный. Английский язык, как и рус-ский, сохраняет в странном родство со странствием, а потому до сих пор *strange* англичане воспринимают и как сдержанный, холодный (как сдержан и «холоден» в общении пришедший невесть откуда человек), а блудницу именуют *strange woman*. Только ведь и по В. И. Даю «странный» – это изначально нездешний, иноземный, а главное – чудный, необычайный, особен-ный. Характерно, что словарь Даля фиксирует, как странний обретает отрицательный смысл в нашем языке – через ругательство «странь».

ВЛАСТЬ И ПОЭТ

Необыкновенно интересна для исследователей эта тема. Не только прямыми отношениями госуда-рей с подданными, но и опосредованными време-нем. К примеру, Е. Гусляров и О. Карпужин издали ин-тересную книгу «О Лермонтове в жизни». Говоря о Николае I, который, с их точки зрения, «люто ненави-дел» Лермонтова, авторы утверждают, что о Михаиле Юрьевиче вспомнили лишь «через полвека после его

гибели». Возможно, имея в виду открытие памятника ему в Пятигорске в 1891 году.

Но они забыли о том, что о скульптуре, увековечивающей память великого поэта, заговорили уже в 1859 году, то есть через 18 лет. Я говорю о проекте памятника «Тысячелетия России», куда в числе всего лишь 109 имен выдающихся людей России за целое тысячелетие был включен и Лермонтов. А «высочайше» список утвержден был 8 декабря 1860 года учеником знаменитого поэта Василия Жуковского – императором Александром II, царствовавшим к тому времени уже пять лет.

В первоначальном списке Лермонтова не было, но появлением его имени мы обязаны, по моему мнению, поэту Тарасу Шевченко, который дружил с двадцатичетырехлетним скульптором Микешиним. И боготворил Лермонтова. И писал о нем: «*Ты меж нами // Витаешь ангелом святым*». При уточнении 22 августа 1860 года имена Грибоедова и Лермонтова были внесены в окончательный список.

И в этом, вне сомнения, заслуга не только Шевченко, но и самого Микешина. Этот молодой человек оказался не только гениальным скульптором, но и мужественным человеком. Любопытно то, что, составляя свой список, он не нашел места для почившего в бозе императора Николая I. О реакции на это его решение Микешин рассказывал потом: «Когда дошли до Александра, государь спросил: «А батюшка?» Я встал со стула и молчал. Он увидел мое смущение, мою муку. Я продолжал до конца, а когда кончил, он взял меня за плечо и приблизил к себе».

Брату императора Константину Павловичу Микешин все же высказал свое резкое мнение о Николае I: «Есть множество людей, которые в его правлении находят утешение русской мысли, а другие его страстно превозносят. Еще рано помещать его на монумент. Я это делать не буду. Впрочем, есть люди, которые это сделают, если им заплатят». Нашелся – скульптор Залеман.

Но в данном случае поражает достоинство, с которым он отстаивал свое понимание русской истории. И второе: поражает деликатность, терпимость, с которой принял решение Микешина Александр II.

ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАДЕЖЕЙ

Теперь чуть ли не каждый школьник, цитируя строку Михаила Лермонтова «из пламя и света рожденное слово», упрекает его в малограмотности. Редактор Краевский убеждал поэта изменить именительный падеж на родительный, но молодой сочинитель, в совершенстве зная русскую грамматику, оставил так, как было написано изначально. В итоге умный редактор, подумав хорошенько, согласился с автором, и до нас дошел этот «неверный» с современной точки зрения правил вариант.

Спустя годы писатель и философ Дмитрий Мережковский в своей статье «Поэт сверхчеловечества» вспоминал: «Я также узнал, что нельзя сказать: «Из

пламя и света», – а надо: из пламени. Но мне нравилась эта грамматическая ошибка: она приближала ко мне Лермонтова».

Впрочем, у Лермонтова можно найти и другие строки, где нет должного согласования. К примеру, «до время не проглянет седина». И о чем говорит этот пример? О безграмотности? Но что же делать тогда с Пушкиным, который не в стихах, – а в них из-за ритмики бывает сложным исправление, но в знаменитом очерке «Путешествие в Арзрум», где легка замена, все же написал: «Граф Паскевич не дал ему (Гаки-паше. – Прим. авт.) время распорядиться». Почему этот великий грамотей не написал: «Не дал ему времени распорядиться?». Да потому, что тогда еще действовали старые грамматические формы, хотя новые уже побеждали в тогдашнем словаре. Впрочем, эти явно устаревшие сегодня формы все-таки всплывают и в современном языке, к примеру, в стихотворении Станислава Куняева:

*Все тот же ветер над Окой,
все те же звезды, багровея,
как и во время Птолемея,
горят над нашей головой.*

По-моему, нынешние критики уже не придираются к таким старорусизмам, если даже в «Избранном» поэта они опубликованы. А, может быть, глаз редактора устал от поэтических изысков?!

НЕБЕСНАЯ ПРАВДА

Михаил Юрьевич Лермонтов был редким талантом, но не единственным, кто так ярко, сильно и стремительно вошел в мировую литературу в раннем возрасте и так же рано ушел из жизни. К примеру, Шандор Петефи, знаменитый венгерский поэт, который в 27 лет, по одним, принятым, сведениям, погиб в ходе революции 1848 года, по другим, легендарным, сведениям, был взят в плен русской армией как революционер-разрушитель австро-венгерской империи. Оказался в Сибири. Говорят, что там благополучно женился и благополучно и естественно закончил свои дни.

В Японии был блистательный поэт Исакава Такубоку, проживший так же 27 лет. В 1904 году, узнав о гибели адмирала Макарова, который вместе с экипажем и неповторимым художником Верещагиным ушел на дно морское, Такубоку написал стихи, посвященные русскому флотоводцу, в которых провел мысль о том, что да, это враг, но какой благородный враг! И сам поступил благородно, воздав должное противнику.

Вот такие поэты редкие. В жизни своей они, конечно, имели много врагов, что для таланта совершенно естественно, но жизнь их была правдивой и целеустремленной, как у детей родного языка.

И мы приходим сегодня к Лермонтову именно потому, что он умел говорить правду о жизни. Но еще он

знал небесную правду, которая многим из нас не доступна.

*И нам ли клокотать со страстью иноверца,
Нам горячить ли слабые умы,
Когда мы своего не знаем сердца,
Когда своей души не знаем мы.*

(Из стихотворения Анатолия Парпары «Железноводск»).

Перечитайте, друзья, хотя бы его последние стихи, созданные на Кавказе!

«ПУСКАЙ! Я ИМ НЕ ДОРОЖИЛ»

Лермонтов еще в юном возрасте провидчески много осознал, и трагедия его была в том, что он видел унижения, недостойную жизнь людскую, но изменить ее не мог, а со временем, столкнувшись вплотную с подлостью и глупостью человеческой, и не захотел. Отсюда его сарказм и желание смерти.

В двадцатых числах апреля 1841 года Юрий Федорович Самарин, философ и друг Лермонтова, записал в своем дневнике мнение поэта о современном состоянии России: «Хуже всего не то, что известное количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого». Поэт понимал это, мучился от невозможности изменить. Эта невозможность и разрывала его сердце, толкала на безрассудную смелость в боях. Непонимание его предвидений вызывало в нем тихую тоску и нежелание что-либо изменить. Подтверждением тому стихотворение 1837 года:

*Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастья, ни славы
Мне в мире не найти; – настанет час кровавый,
И я паду; и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений;
Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый;
Пускай толпа растопчет мой венец:
Венец певца, венец терновой!..
Пускай! я им не дорожил.*

Стихотворение, как считают исследователи, не завершено поэтом. Но мне кажется, что это не так. Поставлена очень важная нравственная точка в долгом и мучительном споре: «Пускай! я им не дорожил».

Он действительно не дорожил венцом терновым, но он любил поэзию, любил свое Отечество: «Я родину люблю и больше многих», любил людей, пусть неразумных, но любил «Провозглашать я стал любви // И правды

чистые ученья...» и творчество его: поистине народная «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэмы «Мцыри», «Демон», «Кавказский пленник», «Сашка»; жемчужины лирической поэзии: «Когда волнуется желтеющая нива...», «Синие горы Кавказа...», «Ветка Палестины», «Прекрасны вы, поля земли родной...», «Я не унижусь пред тобою...», «Ангел», «Ребенка милого рожденье»; вершины гражданской поэзии: «Предсказание», «Бородино», «Ты идешь на поле битвы», «Опять народные витии за дело падшее Литвы...», «Валерик», «Смерть поэта»; замечательная проза «Герой нашего времени», «Вадим»... – все творчество его, созданное за неполные двадцать семь лет, высокого уровня и мощной энергии, говорит о том, что он думал о своем отечестве, болел душой за него, смело шел защищать его: «...До сих пор я предназначал себя для литературного поприща, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вдруг становлюсь воином. Быть может, такова особая воля провидения» (письмо М. А. Лопухиной, вторая половина октября 1832 г.).

И воином он был смелым до безрассудства. Его уважали не только товарищи (такие как Руфин Дорохов), но и сами чеченцы, которые считали его заговоренным от вражеской пули. Так оно и было. Но иная пуля – от руки бывшего друга – свалила его.

Вот как об этом я написал в стихотворении «Железноводск»:

*Теперь он знаменит тем городок привольный,
Что бескорыстно людям отдает
Ток солнечных лучей и воздух горный,
И жаркий ток своих подземных вод.*

*Но он еще не открывает тайны,
Которую домишко сохранил.
Ведь это в старом, в нем, поэт опальный
Часы последней ночи торопил.*

*Он, видно, что-то знал о жизни занебесной,
Коль бушевал в душе небесный шквал,
Коль откровенно и предельно честно
Под пулю друга сердце подставлял.*

*И нам ли клокотать со страстью иноверца,
Нам горячить ли слабые умы,
Когда мы своего не знаем сердца,
Когда своей души не знаем мы.*

*Но нам дано внимать бессмертью немо
И различать движение светил,
Всерьез благодаря святое небо
За то, что гений землю посетил.*

КОРНИ КОНФЛИКТА

Много разных предположений по поводу драматического конфликта Лермонтова и Мартынова. Мне же кажется, что конфликт был один: между серым и ярким.

Мартынов тоже писал стихи, но слабые. Лермонтов был остроумен, а Мартынов косноязычен. И, конечно, не мог пережить легкости лермонтовского таланта.

Когда-то по иронии судьбы однофамилец убийцы, дивный поэт Леонид Мартынов написал стихотворение о Шекспире и его преследователе, которое заканчивалось мощной самохарактеристикой: «Я был ровесником Шекспира и был завистником ему», полностью применимой к данному поединку. Лермонтов был яркой фигурой. А каждый яркий человек раздражает умом своим, необычайными способностями. То, что для серости – месяцы, годы труда, то для яркого таланта – стремительный взлет. Он как бы шутя все это делает. Но никто не знает, что стоит за этим «шутя». Какая великая, неодолимая нравственная и умственная работа!

Вот откуда растут корни давнего, еще со времен совместной учебы, конфликта.

ОБ ЭЛЕГИИ НА СТИХИ «ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ»

В дневниках Георгия Васильевича Свиридова – лутучих записях, опубликованных его племянником А. С. Белоненко, под густым названием «Музыка как судьба» есть список произведений, датированных композитором, в котором указывается «Лермонтовский цикл с эскиза 1937 г. + Выхожу один я на дорогу. Элегия (ля минор)».

В комментарии к этой записи Александр Сергеевич Белоненко, племянник Свиридова, пишет: «В личном архиве композитора сохранилось большое число рукописей и звукозаписей с вариантами музыкального текста элегии «Выхожу один я на дорогу» на стихи М. Ю. Лермонтова. Свиридов постоянно возвращался к этому произведению, но так и не завершил его» (см.: ПСП, № 117, 251).

Можно себе представить, какой внутренней силой должна бы обладать эта элегия, если гений столько лет обращался к стихам великого творца и не находил в себе силы поставить окончательную точку. Вот что он записал в своем дневнике от 13 января 1975 года: «Сижу один со своими мыслями, сочиняю, т. е. доделываю, шлифую сидящее во мне десятки лет. «Выхожу один я на дорогу», элегия для начала сочинения, концом которого должен быть отрывок из Есенина «Синий туман».

Два любимых поэта. Их дивные стихи должны были слиться воедино светлой, жизнеутверждающей симфонией. Поистине остается только восхищаться мерой требовательности к своему таланту у Георгия Свиридова.

СМИРНОВА-РОССЕТИ

Последние годы я занимаюсь изучением отношений М. Ю. Лермонтова с Александрой Осиповной Россети-Смирновой, фрейлиной императрицы. Удивительная фигура в истории русской культуры. О ней очень мало известно. Но какие жизнестойкие свиде-

тельства ее духовных подвигов сохранили письма Александра Иванова, знаменитого художника, автора «Явление Христа народу», и Николая Гоголя, духоводъемного писателя! А какие необычно ясные стихи посвящали ей Василий Жуковский, Александр Пушкин, Петр Вяземский, Елизавета Ростопчина, Иван Мятлев, Алексей Хомяков, Иван Аксаков... Лирические и коленопреклоненные.

Я уже не говорю о том, что и сам Михаил Юрьевич Лермонтов был увлечен ее очарованием и умом, посвящал ей свои стихи, и, возможно, как утверждает исследовательница его творчества Лидия Белова, у них был роман. И, возможно, именно от него была дочь.

Конечно, это только предположение, но как хочется верить в то, что это было явью! Как хочется верить, что кровиночка Лермонтова не пропала даром, а где-то струится в чьих-то жилах и, возможно, взорвется новым мощным талантом.

«А Я СКОРБЛЮ О НИХ»

Я работал тогда в журнале «Москва». В одном кабинете со мной сидела заведующая отделом искусства Наталья Борисовна Бабочкина, чей отец, знаменитый актер Борис Бабочкин, был живым воплощением Чапаева. Однажды ко мне в отдел поэзии зашел популярный тогда писатель Владимир Солоухин, принесший переводы известного молдавского поэта. Любивший байки Владимир Алексеевич неожиданно вспомнил, как в одной писательской компании обсуждали кинофильм «Чапаев». Зашел разговор о драматическом эпизоде психологической атаки каппелевцев, в котором пулеметчица Анка расстреливала в упор белогвардейских офицеров. Один из писателей спросил:

– Разве не жалко расстрелянных русских офицеров?

Другой запальчиво сказал:

– Мне их не жалко!

А Владимир Солоухин с горечью произнес:

– А я скорблю о них!

– Но почему?

– Потому что расстреливали Лермонтовых.

Профессор Литературного института им. М. Горького, критик Борис Леонов, остроумный человек, умеет увлекательно «травить» байки о своих коллегах. Вот один из запомнившихся мне рассказов о своем старшем товарище профессоре, литературоведе Архипове, лекции которого я имел радость слушать уже в шестидесятые годы, когда учился на факультете журналистики МГУ. Дело было вскоре после окончания Второй мировой войны. Владимир Александрович был тогда еще аспирантом, но уже вел лекции по отечественной литературе студентам. Очередное семинарское занятие было посвящено творчеству Лермонтова.

Шел интересный разговор о любимом поэте. И вдруг один из студентов с заметным кавказским акцентом заявил:

- Лермонтов был шовинист.
- С чего вы это взяли? – спросил Архипов.
- А это не издевательство над другим народом: «Бежали робкие грузины?»
- Владимир Александрович тут же отреагировал:
- Правильно Лермонтов писал.
- Как это правильно?
- Бежали робкие грузины, а неробкие не бежали.

КРЕМНИСТАЯ СТРОКА

Пишу в свой дневник: «Я, сын равнины, горы полюбил».

Да это так. Я действительно полюбил горы Северного Кавказа.

Вышел во двор. Свежо. Ветерок приятно обдувает сомлевшую за ночь головушку. Наконец-то звезды, хотя и не в полном составе, но высыпали на небосвод. Небо чисто, но без той ясной глубины, которая поражала, смотрящих на него из аравийских или русских пустынь. Понимается, как никогда, библейская простота лермонтовского стихотворения «Выхожу один я на дорогу» с его поразительно естественным «Я хочу забыться и заснуть», с его неожиданным, но еще более поразительным желанием видеть и ощущать, следить этот дивный мир земли и космоса.

Только сейчас конкретно задумался над строкой «Кремнистый путь блестит». Конечно же, этот путь от горы Железная к Машуку по долине явственно лежал между холмами Быкогорки и Верблюдки. Уверен, что, наблюдая его или вспоминая его, Лермонтов написал эту кремнистую строку.

А я написал стихотворение, посвященное ему.

БЕССОНИЦА

*В ночи, воспетой русским офицером,
Давно уж нет покойной тишины...
Летят ракеты – внучки Люцифера,
Предвестницы безжалостной войны.*

*И вспарывают небо, как кинжалы,
Сверхзвуковые лезвия беды...
Шторма, землетрясения, провалы,
Цунами и кислотные дожди...*

*Естественно: земля не рай небесный
И человечество – не ангелы в раю.
Но безнаказанно терзают душу бесы,
И в брате брата я не узнаю.*

*Неужто наши мерзки прегрешенья,
И на мученья мы осуждены,
И даже нет надежды искупленья
Своей, чужой и прадедов вины?..*

*Всю ночь не сплю. Гашу в душе тревогу,
И призываю Божью Благодать.
Я так хочу внимать безгласно Богу,
Как только могут ангелы внимать!*

ИСТИННЫЙ НАСЛЕДНИК

Лермонтов последние четыре года своей жизни стремительно занимал место Пушкина, первого поэта России, как истинный наследник. Он подружился со Львом Сергеевичем Пушкиным, вошел в авторитетный круг Карамзиных, он встретился с Натальей Николаевной Пушкиной. Он стремительно становился огромным поэтом, в голове которого задумывались великие планы. Лермонтов мечтал уйти в отставку, чтобы отдаться полностью литературным задумкам. Он хотел написать несколько исторических романов, т. е. в своих произведениях исследовать историческую Россию. Но жизнь его оборвалась слишком рано. О нем скорбела вся думающая Россия. И Алексей Степанович Хомяков, выдающийся русский философ и поэт, и Николай Михайлович Языков, изящный поэт, который вначале не принял его роман «Герой нашего времени», и Юрий Федорович Самарин, уникальный подвижник в истории нашей культуры... Их оценки творчества поэта многого стоят для нас, для созревания русской мысли.

ПЕРЕКЛИЧКА ГЕНИЕВ

«И слышит голос: что ж? убит». От этой строки Пушкина из «Евгения Онегина» идет интонация лермонтовского «Убит поэт, невольник чести...».

И гении аukaются в веках.

МУДРОСТЬ ПОДСОЗНАНИЯ

725 Часто на выступлениях меня спрашивали: «Почему вы полюбили Лермонтова и создали фонд имени его?» И каждый раз мне было невозможно ответить искренне на этот, казалось бы, простой вопрос. Что-то мешало. И, скорее всего, это «что-то» было неосознанное мною до конца, не вытащенное из подсознания, не осмысленное здравым умом, но все же принятое когда-то мыслящей частью меня решение. Но когда я принял его, увлеченный до того творчеством Пушкина, я не знал. И даже не задумывался о том.

И вот несколько дней назад, осматривая вывезенные когда-то из дома на дачу книги, я обнаружил однотомику избранных произведений М. Ю. Лермонтова 1946 года (ОГИЗ ГИХЛ), формата 1/8 в 43 п. л. Открываю толстую обложку и читаю на первой странице следующее:

Этот день надолго останется в памяти всех участников драматического коллектива, в котором со дня его образования занимался ты, Толик. Спасибо тебе за все хорошее, что ты сделал для процветания нашего коллектива.

Спасибо за большой, честный и плодотворный труд и за хорошую дружбу.

Желаем тебе отличной службы. Мы все верим в тебя, Толик.

Прими наш маленький подарок в день твоего ухода в Армию. Ждем от тебя хороших вестей.

14/10-59 г.

Драматический коллектив д/с Д/к им. Горбунова.

Вот такое замечательное оценочное и напутственное слово моих товарищей по драмкружку. Чувствуется, что писалось коллективно моими друзьями, но с доброй коррекцией удивительного человека, нашего руководителя Виктора Александровича Стратилатова, которого я по счастливой случайности встретил в Меривялье (под Таллином), где они с Екатериной Николаевной отдыхали.

Какой же я наивный был тогда и глупый. Эту книгу мне необходимо было захватить с собой на службу и пронести через все четыре года, тщательно изучая, а я оставил ее дома. И все же провидение деликатно заставило меня полюбить Лермонтова не сразу, спустя три десятилетия, но полюбить и кое-что сделать для памяти этого великого юноши, сделавшего так много для русской литературы, как бы шутя. Это занятие, ставшее судьбой, делом его жизни, было как бы на периферии его деятельности. Но такое впечатление обманчиво. Возможно и у меня, предназначенного для серьезной судьбы, есть свое дело, которое я неосознанно еще работаю, и меня ненавязчиво кто-то (надеюсь, что ангел) подталкивает. Это знак – и не заметить его я не могу. Пора уже отличать знаки судьбы от призраков.

О ТАЙНЕ ПОЭТА

Настоящее является нашим верным спутником до последних дней. Но корни настоящего времени уходят в глубины прошлого, чтобы кроной древа жизни шелестеть в будущем. Многие наши поступки могут быть скорректированы знанием истории человечества. И очень важно проникновение в тайны, надежно хранимые прошлым.

То, что Михаил Юрьевич Лермонтов – поэт мистический, знают все.

И об удивительных совпадениях: 100-летие со дня его рождения наложило на начало Первой мировой войны, а 100-летие со дня гибели совпало с началом Второй мировой... Из звезд, названных именами людей, самый высокий апогей у лермонтовской звезды. Корабль, названный его именем, затонул в самой глубокой впадине Тихого океана. Ничего обычного, рядового. Все сверх меры или точка сверхмерия.

Но жизнь творений Лермонтова продолжается непредсказуемо, таинственно, загадочно. Как современно звучат строки стихотворения «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана»), «Валерик».

*Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.*

Может быть, именно потому, что он один из самых провидческих поэтов России:

*Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет...*

Кто не помнит из нас эти строки пророческого стихотворения пятнадцатилетнего юноши? Это «Предсказание» о народных волнениях трагически подтвердилось октяблями 1905, 1917, 1964 и, конечно, 1993 годов. А что стоит за фактом гибели Лермонтова?

Может быть, когда удастся полностью раскрыть тайну жизни и смерти «поэта сверхчеловечества» (Д. Мережковский), мистические силы космоса оставят Россию в покое? А для этого надо вслушаться в слова своего пророка и внимать им.

И тогда его голосом заговорит истина:

*Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно.
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»*

* * *

Оказывается, существует не только лермонтовский капитан Штос (в литературе), но и живущий наяву Нусс Яков Федорович, заслуженный работник культуры РСФСР, советский и российский театральный деятель, первый директор Вологодского ТЮЗа. К тому же Яков Федорович еще создатель детского театра кукол «Теремок» и Почетный гражданин города Вологды.

Так что в нашем вольном русском общении между собой на вопрос «Что-с?», мы можем смело говорить: «Ну-сс!».

А вот любопытное историческое свидетельство, опубликованное в современном еженедельнике «Литературная Россия» несколько лет назад:

«Конногвардейцы исполнили свой долг и 19 фев. 1837 на основании воинского устава Петра I приговорили Дантеса к смертной казни через повешение. Но еще до окончания процесса Дантес узнал, что смертный приговор не будет утвержден («Проведал чрез своих друзей, в чем суть-то»). Узнал об этом и В. Г. Столыпин (двоюродный дядя Лермонтова). Об изменениях в поведении Дантеса он мог рассказать также Лермонтову. Не с этим ли связано появление эпиграфа в стихотворении «Смерть поэта»: «Отмщенья, государь, отмщенья!.. Будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила...».

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ НИЖЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

В пятигорском государственном музее-заповеднике есть еще и музей Александра Александровича Алябьева, автора знаменитого «Соловья» и множества великолепных песен и романсов на стихи Василия Жуковского, Александра Пушкина, Николая Языкова, Антона Дельвига, Гете, Беранже... «Мы знаем Алябьева только по его знаменитому «Соловью». А ведь он был великим композитором. И как же хоро-

шо, что Вы в «Исторической газете» дали большую статью о трагической судьбе этого русского самородка» – так мне говорил о выдающемся деятеле русской культуры самый знаменитый бас нашего времени Александр Ведерников.

Коллектив музея – настоящие подвижники – регулярно устраивают выставки художников России и зарубежья, тех, кого вдохновляет творчество Михаила Юрьевича Лермонтова.

Владимир Николаевич Кутявин, живущий на Украине, рассказал мне один забавный случай, и этим рассказом я хочу поделиться с вами, дорогие читатели.

Забрав из своей мастерской художественные полотна для персональной выставки в музее-заповеднике Пятигорска, он погрузил их на поезд. Но на украинской границе к нему подошли местные пограничники и стали требовать оплатить вывоз произведений искусства валютой. На эти требования художник ответил, что это его картины, и показал соответствующий документ. Пограничники были неумолимы.

– Еще раз повторяю, что эти картины мои.

– Ну и что! Ты же будешь их продавать?

– Нет! Я везу их к Лермонтову.

– К Ле-е-ермонтову! – протянул старший наряда. – Тогда провози.

И художник благополучно добрался до Пятигорска.

Я спросил Владимира Николаевича не без подвоха:

– Неужели украинские пограничники так любят стихи Михаила Лермонтова? Вряд ли они помнят о том, что знаменитый их кобзарь, ровесник поэта Тарас Шевченко так боготворил русского гения, что он просил прислать ему в оренбургские степи, где он был в ссылке, «Том поэзии чудесной» – поэзии Михаила Лермонтова?

– Да нет, конечно! Просто они не хотели быть ниже.

Я понял, о чем сказал художник...

Мне вспомнилось, как еще в 1996 году я провозил поездом через Украину группу иностранцев, писателей на первый Международный праздник Лермонтовской поэзии в Железноводске. В этой группе, состоявшей из двенадцати поэтов – представителей разных стран: Белоруссии, Македонии, Франции, Испании, Китая, бдительные украинские пограничники обнаружили (у китайки и македонца) какие-то не точности в их личных документах.

Как один из руководителей Союза писателей России и организатор праздника поэзии, я объяснял пограничнику на границе России и Украины, что мы не торговцы, а поэты, посланники своих стран, что мы любим Шевченко. Что мы едем на международный праздник лермонтовской поэзии. Что Тарас Григорьевич называл Лермонтова богом поэзии. Что...

Но сказанное мной не убедило прапорщика. Тогда я достал из портфеля последний номер «Исторической газеты», открыл страницу, где была статья о Ми-

хаиле Грушевском. Я спросил его: «Кто это?» Тот отмахнулся: «Не знаю!» «А вот Кучма, – упрекнул я, – ваш президент, знает его. И поблагодарил меня как редактора этой газеты за мощную статью о нем». И добавил, глядя в глаза этому настойчивому прапорщику: «Как ты можешь не знать первого президента незалежной Украины? Человек, любящий родину, не может быть ниже истории своего народа».

Пограничник вздрогнул от такого напора. Видимо, ему в этот момент действительно не хотелось быть ниже истории своего народа. Он тронул за плечо своего напарника и махнул небрежно рукой:

– Езжайте! Но если на следующей станции их снимут, то я не буду виноват в этом.

ЗАБЫТАЯ ПЕСНЯ

Первый Международный лермонтовский праздник «Железноводские вечера поэзии» (сентябрь 1996 года) мы начали с исполнения знаменитой песни «Выхожу один я на дорогу» (музыка Елизаветы Шашиной). Глава региона Кавказских Минеральных Вод Иван Иванович Никишин, умнейший человек и яркий администратор, очень хотел назвать наш Международный фестиваль «Кавминводскими вечерами поэзии» – по имени региона. Но я, озвучив название вслух, легко убедил его в том, что имя конкретного города, где зародилась идея проведения литературного праздника, благозвучнее. Он уловил фонетическую жесткость звуков и сдался. Но стал упорствовать в нежелании начинать хорошо подготовленное действие со знаменитой песни Елизаветы Шашиной, требуя начать с нового гимна России.

И тогда я рассказал Ивану Ивановичу быть, которую лет за десять до этого поведал нам с Михаилом Алексеевым в редакции журнала «Москва» наш давний автор, известный поэт и прозаик Владимир Солоухин.

В застолье американец русского происхождения жалуется своим советским друзьям, что не может вспомнить замечательную народную песню, которую ему пела мама в раннем детстве. Он рассказывал почти по-лермонтовски: «Мне было тогда года три. Это была песня, от которой плакал сердцем... К сожалению, я не могу теперь ничего вспомнить, но уверен, что если бы услышал ее, она бы произвела на меня прежнее сердечное действие». А самое обидное для него было в том, что он всю жизнь мучается от невозможности вспомнить эту песню. А спросить было не у кого, да и забыл он все слова песни, кроме одного самого первого слова. Естественно, что друзья спросили: «Какое же это первое слово?» И тот с характерным акцентом выговорил: «Ви-хо-жу»... И тогда хором запели ему: «Выхожу один я на дорогу»...

Представляете, Иван Иванович, – сказал я, – у скольких иностранцев русского происхождения (а к нам ведь приехали поэты и туристы из разных стран!) эта песня вызовет не только воспоминания, но и радость встречи с гениальным произведением!»

И живое лицо Никишина тронула добрая улыбка.

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЛЕРМОНТОВСКОЙ ЖИЗНИ

Учителя, исследователи, литературоведы и мы, грешные, часто пишем, что Пушкин прожил 37 лет, а Лермонтов, убитый так же на дуэли, – 26. К Лермонтову иногда добавляют «неполных 27 лет». Но и Пушкин прожил неполных 38 лет. До дня своего рождения он не дожил всего три месяца, но ведь и Лермонтову тоже не хватило трех месяцев...

К чему я это пишу! К уточнению, может быть, никому не нужному, к тому, что приблизительность иногда необходима, когда возвращаются в обиход большие цифры. А здесь, в малой жизни Лермонтова, когда каждый день учитывается, как драгоценность – все иначе.

Мне, много лет интересующемуся краткой, золотосной для нашей культуры, судьбою, важно знать, что Лермонтову было отпущено не одиннадцать, а десять лет жизни, то есть в два раза меньше для творчества, чем Пушкину.

Для меня, для моего сознания, для понимания возможностей русской словесности важен этот год творчества. Отними 1841 год у Лермонтова – всего семь месяцев – и чего мы лишимся! Страшно подумать, как потощала бы лермонтовская сума, какого богатства мы лишились бы. Одно стихотворение «Выхожу один я на дорогу» стоило бы вечности, а не нескольких дней жизни.

Вы поймите, что год, месяц, даже один день жизни гения перевешивают столетия жизни поколений.

О ПЕРЕВОДАХ

В разговорах о переложении на другой язык случаются необычные происшествия, на которые редко обращает внимание широкий читатель. Перевод стихотворения Гете «Горные вершины», сделанный Андреем Белым, точно передает, почти буквально вкладывает смысл поэта в ухо русскому языку, но его не считают подобным немецкому оригиналу. Почему же переложение, весьма вольное, Михаила Лермонтова тревожит читателя более, чем мастеровитая работа Белого? Какие нюансы звуковые и смысловые сумел извлечь Михаил Юрьевич в отличие от него? Или в начале девятнадцатого века воздух был чище, нежели чем в начале двадцатого?

Я не жду ответа ни от кого. И сам не ищу его. Я слушаю звуки. И отличаю один от другого, как мелодии композиторов. И слух мой впитывает лермонтовскую мелодию полнее, чем иную. И я задумываюсь, очарованный тем, что узнал, тем, что родилось во мне, благодаря этой мелодии. Я ничего более не слышу. Душа

моя переполнена волнением, грустью и мудростью познаваемого.

ВОТ КОГО БЫ ПОСЛАТЬ В КОСМОС!

В марте 2011 года закончилось празднование 50-летия полета Гагарина в космос. Мне, автору единственной в мире драматической поэмы «Гагарин, или Три дня жизни космонавта», нелишне вспомнить сейчас неожиданное предложение главного конструктора космических кораблей Сергея Королева о выборе первого космонавта на полет вокруг Земли. Когда отбирали в 1959 году из молодых летчиков претендентов на кресло первого космонавта, он, осматривая офицерский строй, вспомнил другого русского офицера – Михаила Лермонтова: «Вот кого бы послать в космос!»

Любивший и понимавший поэзию Сергей Павлович помнил знаменитую поэму Михаила Юрьевича «Демон» и эти строки:

*Печальный Демон, дух изгнания,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой.*

Да, именно Лермонтов был первооткрывателем в мировой поэзии пути в космос:

*Выхожу один я на дорогу:
Сквозь туман тернистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит.*

*В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом.*

Космонавт Павел Попович, с которым мы работали вместе над серией книг о космонавтах, рассказывал мне, как в полете своем он был поражен точностью описанного поэтом космоса и беспрерывно повторял эту дивную строку: «В небесах торжественно и чудно».

Так что прав был Сергей Павлович в своем желании.

Очень жаль, что ход времени необратим для человека. Может быть, наши предки что-нибудь придумают. Ведь философ Николай Федоров мечтал о новых возможностях будущего человека и предсказывал их уверенно и убежденно.

г. Москва



Галина
УЛЬЯНОВА

**«ЕСТЬ В РОССИИ УМНЫЕ
ЛЮДИ!»,
ИЛИ «НАША ДРУЖБА СЛУ-
ЧАЙНОЙ НЕ БЫЛА»**

(памяти русских писателей-патриотов В. И. Белова и В. М. Шукшина)

Сама потребность взяться за перо лежит, думается, в душе растревоженной.

В. Шукшин

«...В Вологде живет писатель Белов. Он метко стреляет дичь: у него всегда крупные литературные трофеи... Белов сидит себе в Вологде, а Шолохов из Вешенской мудро поглядывает... Спасибо им, что открыли мне глаза!» – так отозвался В. Шукшин о творчестве своего единственно настоящего друга – писателя В. Белова в интервью корреспонденту «Литературной газеты» летом 1974 года. А немного раньше, в 1970 году, Шукшин писал предисловие к одной из книг Белова: «Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев... Слух, чувство меры, чувство правды, тактичность – все хорошо, все к делу, все от всего этого мало. Без любви к тем мужикам, без сострадания, скрытого или явного, без уважения к ним неподдельного так о них не написать... Любовь и сострадание, только они наводят на такую пронзительную правду».

Дальше, говоря о героях В. Белова, В. Шукшин пишет: «И тем дороже они, люди, роднее, когда не притворяются, не выдумывают себя, не уползают от правды в сторону, не изворачиваются всю жизнь. Меня такие восхищают. Радуют...»

Остаться самим собой, не изменить народной мудрости и правде в непростые времена, которые выпали на долю истинно таких русских писателей, как Василий Белов и Василий Шукшин, да и всего народа русского – это сложно и не каждому по плечу.

И только «талантливая честная душа способна врачевать, способна помочь в пору отчаяния и полного безверия, способна вдохнуть силы для жизни и поступков».

Именно такие души, как В. И. Белов и В. М. Шукшин, помогают до сих пор «вдохнуть силы» миллионам русских людей, обрести веру в Россию, гордость за то, что мы – Русские

Очень точно сказал о Белове В. Г. Распутин: «Писатель Белов рожден самой русской землей». И добавил, что никто другой не смог бы написать книгу «Лад».

«Семидесятипятилетию Русского писателя-патриота Василия Ивановича Белова посвящается» – такими словами сопровождается юбилейное издание книги Белова.

Все эти долгие годы без В. Шукшина Василий Иванович остался верен дружбе, солидарен убеждениям и пронзительной шукшинской Правде.

Двух титанов связывало и связывает до сих пор многое. В 2002 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга В. Белова и А. Заболоцкого с двойным названием: «Тяжесть креста» и «Шукшин в кадре и за кадром».

Иногда думается, что молчание Белова о Шукшине было неоправданно долгим, затянувшимся. Но если вспомнить его ответ по поводу своего молчания тогда, когда многие из кожи вон лезли в «друзья» к Макарычу: «Врать не могу, а правду не напечатают», все становится понятно.

Есть и еще одно объяснение столь долгому молчанию, по словам Василия Ивановича: один за другим уходили близкие друзья Белова – поэты, писатели, и о каждом хотелось написать.

Каждому здравомыслящему человеку, даже далекому от литературного творчества, думаю, понятно, что написать о близких людях – это еще раз пережить и пропустить через свое сердце боль утраты о безвременно ушедших друзьях.

В своих воспоминаниях о друге Белов пишет: «Держай! – внушаешь себе. – Все у тебя получится». Так называемое кредо (такое неродное слово!), писательское кредо, было выработано мною не без помощи Макарыча».

Оно отражено в книге В. Белова «Лад».

«В противовес дьявольскому разладу наш православно-этический лад не позволяет душе двоиться, троиться или вообще дробиться на мелкие части. Такому ладу, я думаю, отнюдь не противоречат высокие жизненные цели и, на первый взгляд, непосильные задачи, вроде создания шедевров, подобных Кижам...»

Василий Макарович Шукшин, как мне представляется, был максималистом, его жизненный путь усыпан максимальными трудностями, максимальными замыслами, а то, что им свершено, останется в русской культуре...

Вот примерно таких взглядов я придерживался во время моего знакомства с Макарычем.

Наша многолетняя дружба случайной не была.

Тяжесть шукшинского креста с годами все увеличивалась, но Макарыч шел на свою Голгофу, не оглядываясь и не озираясь».

В одном из писем к матери В. Шукшин подтверждает эту мысль Белова, говоря, что если «братя тяжесть, то всю сразу».

В. Белов после смерти В. Шукшина дважды побывал на юбилейных (1979 и 1989 годов) Шукшинских чтениях в Сростках. Своими глазами видел, слышал нарастающую силу Шукшинского слова, его значимость и потребность для русских людей.

В. М. Шукшин остался верен девизу, который высказал еще в романе «Любавины», опубликованном в 1965 году, «Оставаться с людьми, даже если в землю заркоут».

В. Белов остается верен этой заповеди до сих пор. Душа его отдана людям, родным вологодским мужикам.

«А где же сама-то, душа эта, берет целебные силы? – спрашивает В. Шукшин. И сам же отвечает: «Как-то гостил я у Белова в родной его деревне Тимонихе. И стал невольным свидетелем одной сцены. Пришла старушка с бумажкой, на которой записан адрес дочери... Пришла, чтоб писатель написал письмо ее дочери и выговорил бы ей вины ее перед родными – не пишет, совсем забыла... И столько было у старушки веры и надежды, что «Васенька, ангел наш» (она как-то произносила: «аньдели») сумеет так написать ее дочери, что та поймет, наконец, что...»

О, сколько веры она принесла с собой, та хлопотливая старушка! Да и горе ведь принесла – отбилась дочь-то от дома, совсем отбилась. Я сперва подумал, что это какая-нибудь двоюродная тетя Белова, а та самая дочь, которую поглотил город, стало быть, двоюродная его сестрица – отсюда такая свойская доверчивость. Оказалось, нет – чужая. А вот – принесла. Видно, тут и ответ на вопрос, откуда у писателя запас добрых сил? От людей же... И людям же и отдается».

Знакомство Белова с Шукшиным произошло в шестидесятые годы, хотя «впервые (Белов) услышал о Шукшине году в 56-м от вологодского поэта Игоря Тихонова» (ныне покойного). Потом шапошное знакомство в комнате у какого-то белорусского сценариста. Эта встреча ограничилась рукопожатием за знакомство, какими-то дежурными фразами, которые в памяти В. Белова не отпечатались. Следующая встреча – в 1963 году, во время работы В. Шукшина над фильмом «Живет такой парень». И опять особой близости и дружбы не возникло.

«Встреча с Шукшиным произошла в то время, когда он разводился со своей «библиотекаршей» (так Белов называет актрису Лидию Александрову, которая в фильме «Живет такой парень» снялась в роли библиотекарши). Семейные неурядицы были у нас с ним, конечно, разные, но во многом иногда одинаковые: мы оба, как могли, противились благоглупостям своих жен, зараженных женской эмансипацией», – напишет Белов.

По-настоящему дружеские отношения и взаимопонимание между писателями начнутся с 1964 года, когда В. Шукшин побывает в гостях у В. Белова, в его родной Тимонихе Вологодской области.

И уже по этой встрече можно безоговорочно согласиться с утверждением В. Белова о том, что дружба между ними «случайной не была».

В последующие годы эта дружба крепла, росла, увеличиваясь, как говорится, и вширь, и в глубину. Подтверждением тому – переписка.

«Тетка!.. Я тебя очень серьезно спрашиваю: у тебя только тело болит или душа тоже? Потому спрашиваю, что судьба твоя такая же – и, может, тут какой-то общий, грустный закон? Тело болит – это от водки, я знаю. Но вот я и не пью, а весь измаялся, нигде покоя – ни дома, в деревне, ни тут. Все перебрал и вспомнил пору, когда было 20 лет, – не ныла же она так! Что же теперь-то? Я никому не говорю об этом, никому до этого нет дела, а скажешь, так не поверят. Да, вообще, кому это нужно? Еще поймут, что ослаб, лягать кинутся. Вот... Кричу тебе в Вологду. Вообще-то, это похоже на то, как болит совесть: постоянно и ровно. Есть у тебя такое? Скажи правду – охота докопаться до корня».

Дальше Шукшин как бы между прочим сообщает другу о своих неудачах: «Разина» закрыли. В «Нов(ом) мире» больше не берут печатать, взял оттуда свои рассказы.

Но все же, душа не потому ноет. Нет. Это я все понимаю. Есть что-то, что я не понимаю. Что-то больше и хуже».

В ответ Шукшин получает письмо друга:

«Василей, Василей, ты это брось. Я не про то, что жалуешься мне (это не жалобы, да и хороши мы будем, ежели не станем говорить друг дружке главного), я про твоё состояние».

Наверно, я приеду числа 29-го. Но про то, что спрашиваешь, лучше напишу неспешно. Говорить мы не умеем и стесняемся.

Так вот – брось. Проснись однажды со свежим сердцем, и хватит. Пишу тебе честно: постоянной и ровной боли у меня нет. Бывает с похмелья, когда нагретишь (в прямом смысле), либо наговоришь кому-то чего-то или еще что (это я называю духовным стриптизом). А так – нет пока, тьфу, тьфу!

Чего ты маешься – не знаю. Вот мои предположения.

Очень часто бывает так: душа болит, потому что тело болит. Не смейся, поверь. Побереги, наладь, подрегулируй, подлечи свою машину, т. е. тело. Такими, как в 20 лет были, уже не бывать, но кое-что сделать можно и надо. Закрепиться надолго на том, что еще есть, чего мы еще не растрясли направо и налево, т. е. здоровье. Без присмотра за «машинами» нам теперь нельзя, усеки и запомни это. Я был раз пять близок к этому обрыву, к этой черте, за которой тьма, ничто, пустое место. К смерти, иначе? Потом пятился от этого обрыва, отползал, а как иначе? Поскольку нас родили – не жить не имеем права. А тут уж изволь за машиной приглядывать и беречь ее, без нее нас как не бывало...

А если с «машиной» более-менее все ладно, а совесть, душа все равно болит, значит, чего-то не так живем, не то немножко делаем или уже наделали. Я иногда просыпаюсь ночью от стыда и краснею: во сне вспомнилась забытая, но сделанная когда-то подлость. Утешаюсь тем, что больше так не сделаю. И тем, что ежели стыдно, ежели совесть болит, значит, она еще есть в тебе, не вытравили. Может, ты

маешься тем, что сделал для денег? Тогда сократи бюджет и больше не делай ничего по чужим сценариям. А то, что уже сделано – забудь, отсеки и не вспоминай.

Вишь, я какой ментор. А вообще, знаешь что? Ничему не отдавайся до конца, до последней кровинки. К черту максимализм, это он губит...

Попробуй-ко скинуть с себя все обязанности, которые навьючила на тебя судьба, весь груз (кроме семейных), моральный гнет, все эти штучки-дрючки.

И сразу почувствуешь себя человеком. И сделаешь больше, чем все эти подвижники, герои и борцы за свободу и справедливость.

Чего-то я тут не договорил, не допонял. И необязательно допонимать, чувствую интуитивно, что верно чувствую. Не знаю, может, у тебя и не так.

Но будь змием. Вылезай изредка из прежней кожи и живи заново...

Но, я тебе повторяю, всего скорее твои муки – от физического нездоровья. Вот, смешно тебе будет, а ведь это правда. Когда я живу нормально, т.е. не пью, меньше курю, сплю (стараюсь хотя бы) в одно время и не меньше 8 часов, делаю получасовую зарядку и холодный душ – я тогда счастливый. Ведь все остальное время мое, т.е. моей души, а не машины. И тут нет угрозы для души – стать тоже машиной. А если ты то и дело глотаешь кофе и сигареты, да дергаешься с киношными делами...

Не думай, что мои советы – ерунда. Не ерунда.

Я знаю, у тебя останется ощущение, что я тебя не понял. А ты все же постарайся понять, что я тебя понимаю...».

Об одном и том же думают оба писателя или нет? Может, просто объясняют каждый по-своему?! А то, что есть душа и совесть у обоих – это однозначно и сомнению не подлежит.

«Не падай духом, не падай духом, Вася, это много, это все. Много не сделаем, но... Свое – сделаем, тут тоже природа (или кто-то) должны помочь. И – немного – мы сами себе и друг другу», – так поддерживает друга В. Шукшин, отвечая на письмо, в котором узнает о тяжелой болезни дочери Василия Белова. О том, как тот дежурил у постели ребенка, как ждал звонка из больницы, как почти впал в отчаяние от бессилия что-либо изменить и помочь...

Часто друзья меняются ролями: утешитель и советчик в одном письме становится вдруг нуждающимся в утешении и совете. Это понятно из переписки.

Вот это «свое» сделал писатель и человек Шукшин. Продолжение этого «своего» и в творчестве Василия Белова, который убежден, что «вне памяти, вне традиций истории и культуры нет личности, память формирует духовную крепость человека».

Доказательств духовного родства истинно русских писателей, знатоков народной жизни можно привести очень много. Хочется остановиться на некоторых, на мой взгляд, самых ярких, образных и точных.

Для сравнения возьмем мысли и убеждения В. М. Шукшина, высказанные им в разное время в от-

дельных статьях, размышлениях, письмах читателям, опубликованных отдельной книгой в 1981 году под общим названием «Вопросы самому себе», первый раздел которой назван «Нравственность есть правда».

И книгу В. И. Белова «Лад».

У Шукшина в «Слове о «малой родине» читаем: «Я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, больше того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилища...».

Обратите внимание на эти два слова: «уклад» Шукшина и «лад» Белова.

«Ритм – одно из условий жизни, – читаем мы у Василия Белова. – И жизнь моих предков, северных русских крестьян, в основе своей и в частности, была ритмичной. Любое нарушение этого ритма – война, мор, неурожай – лихорадило весь народ, все государство.

Перебои в ритме семейной жизни (болезнь или преждевременная смерть, пожар, супружеская измена, развод, кража, арест члена семьи, гибель коня, рекрутство) не только разрушали семью, но сказывались на жизни и всей деревни.

Ритм проявлялся во всем, формируя цикличность...

Все было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или друг без друга, всему предназначалось свое место и время.

Ничто не могло существовать вне целого или появиться вне очереди. При этом единство и цельность вовсе не противоречили красоте и многообразию. Красоту нельзя было отделить от пользы, пользу – от красоты.

Мастер назывался художником, художник – мастером. Иными словами, красота находилась в растворенном, а не в кристаллическом, как теперь, состоянии...

По моему глубокому убеждению, знание того, что было до нас, не только желательно, но и необходимо...».

Как будто поддерживая живой разговор с другом, Шукшин вторит:

«В доме деда была непринужденность, была свобода полная... нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда-крестьянина, таких естественных, правдивых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали... Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла – с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но – учили...».

Никак не могу внушить себе, что это все – глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устрой-

ства и самочувствия (у Белова это понятие – Лад. – Прим. авт.) – очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека...

...Там знали все, чем жив и крепок человек и чем он – нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие...

...Ни в чем там не заблуждались, больше того, мало-мальски заметные недостатки в человеке, еще в маленьком, губились на корню. Если в человеке обнаруживалась склонность к лени, то она никак не выгораживалась, не объяснялась никакими редкими способностями ребенка – она была просто лень, потому высмеивалась, истреблялась.

Зазнайство, хвастливость – все было на виду в людях, никак нельзя было спрятаться ни за слова, ни за фокусы...».

Оба писателя убеждены, что многое, если не все, в жизни может изменить молодежь.

У Белова читаем:

«Молодежь во все времена несет на своих плечах главную тяжесть социального развития общества. Современные юноши и девушки не исключение из этого правила. Но где бы ни тратили они свою неумную энергию: на таежной ли стройке, в полях ли Нечерноземья, в заводских ли цехах – повсюду молодому человеку необходимы прежде всего высокие нравственные критерии... Физическая закалка, уровень академических знаний и высокое профессиональное мастерство сами по себе, без этих нравственных критериев, еще ничего не значат.

Но нельзя воспитать в себе эти высокие нравственные начала, не зная того, что было до нас...».

В. Шукшин, отвечая на письмо мальчика-подростка, высказывает те же убеждения:

«Кто бы ты ни был – комбайнер, академик, художник, – живи и выкладывайся весь без остатка, старайся знать много, не жалуйся и не завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным – это будет завидная судьба. А когда будешь таким, помоги другим...».

И еще там же: «...Главная сила на земле – разум и труд... Это не просто, просто как раз не понять этого. За тобой право подумать, что разумному и трудолюбивому не всегда хорошо в жизни... но все ценное, прекрасное на земле создал умный, талантливый, трудолюбивый человек. Никогда еще в истории человеческой ни один паразит не сделал ничего стоящего...».

Знай больше других, работай больше других – вот вся судьба. Это нелегко, это на всю жизнь, но ведь и помним-то мы, и благодарны – таким только».

Очень точно заметил Шукшин в статье «Монолог на лестнице»: «Не смотри, где он работает и сколько у него дипломов, смотри, что он делает».

Эти слова можно считать афоризмом, особенно сейчас, в наше «смутное время», когда любые дипломы покупаются.

Емко, точно, выразительно написал о труде, о крестьянском труде В. Белов: «Тяжесть труда – если ты силен и не болен – тоже приятна, она просто не существует. Да и сам труд отдельно как бы не существует, он не замечен в быту, жизнь едина.

И труд, и отдых, и будни, и праздники так закономерны и так не могут друг без друга, так естественны в своей очередности, что тяжесть крестьянского труда скрывалась. К тому же люди умели беречь себя...».

Тяжесть труда наращивалась постепенно, с годами (Это чтобы не надорваться. – Прим. авт.).

Труд из осознанной необходимости быстро превращался в нечто приятное и естественное, поэтому – не замечаемое.

Тяжесть его скрашивалась еще и разнообразием, быстрой сменой домашних и полевых дел. Чего-чего, а уж монотонности в этом труде не было...

...Человек, слабый физически, но хорошо умеющий косить, знающий накопленные веками навыки, скосит за день больше травы, чем иной неумный верзила. Но если к вековым навыкам да еще свой талант, то косец уже не просто косец. Он тогда личность, творец, созидающий красоту.

Работать красиво не только легче, но и приятнее. Талант и труд неразрывны. Тяжесть труда непреодолима для бездарного труженика, она легко порождает отвращение к труду.

Вот почему неторопливость, похожая с виду на обычную лень, и удача талантливого человека вызывают иной раз зависть и непонимание людей посредственных, не жалеющих в труде ни сил, ни времени.

Истинная красота и польза также взаимосвязаны: кто умеет красиво косить, само собой, накосит больше».

У Шукшина читаем:

«Когда мастер берется за дело, когда руки его знают и умеют сделать точно, красиво, умно – это подороже всякой мечты.

...Я не доверяю красивым словам... Слов красивых люди наговорили много, надо дел тоже красивых надевать столько же, и хорошо бы, – побольше».

«Стыд – одна из нравственных категорий, если говорить о народном понимании нравственности, – пишет **Василий Белов.** – Понятие это стоит в одном ряду с честью и совестью...».

Василий Шукшин вторит другу: «...А совесть у человека должна быть... Человек, начиненный всяческими «правилами», но лишенный совести, – пустой человек, если не хуже...».

Особенно волнует писателей постепенное стирание чувства стыда у молодежи.

«Красота отношений, – читаем у Белова, – между молодыми людьми питалась иной раз, казалось бы, такими взаимно исключаящимися свойствами, уживающимися в одном человеке, как бойкость и целомудрие, озорство и стыдливость».

«В войну нам было по двенадцать-шестнадцать лет, – пишет **Шукшин.** – Никакого клуба у нас не было. А мно-

гие уже работали. Как ни трудна жизнь, а через шестнадцать лет не переступишь. Собирались на вечеринку. С девушками. Была балалайка, реже – гармонь. Играли в фантики, крутили шестерку... Целовались. И у каждого (кто повзрослей) была среди всех, которая нравилась. Когда случалось поцеловаться с ней при всех – обжигало огнем сердце, и готов был провалиться сквозь землю. Но – надо! И этого хватало потом на всю неделю. И ждешь опять субботу – не приведет ли случай опять поцеловаться с желанной. Неохота говорить тут о чистоте отношений – она была. Она всегда есть в шестнадцать лет».

В продолжение мысли Белов утверждает:

«Любить означало то же самое, что жалеть... Жалость (а по-нынешнему – любовь) пересиливала все остальное».

«Жалеть... Нужно жалеть или не нужно жалеть – так ставят вопрос фальшивые люди. Ты еще найди силы жалеть. Слабый, но притворный выдумывает, что надо – уважать. Жалеть и значит уважать, но еще больше» – так рассуждает В. Шукшин.

«Калеки и убогие особенно почитались в народе», – утверждает Белов.

Шукшин вторит: «Есть на Руси еще один тип человека, в котором время, правда времени, вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном... Человек этот – дурачок. Это давно заметили (юридические, кликуши, странники, не от мира сего) – много их было в русской литературе, в преданиях народных, в сказках...»

Позже была – война. Может быть, самая страшная в истории нашего народа. Новые дурачки. Больше – дурочки. Была Поля-дурочка. (Народ ласково называет их – Поля, Вася, Ваня...).

Оба писателя сходятся во мнении, что русский народ хранит доброту, особое, добросердечное отношение к таким, обиженным Богом (как иногда говорят в народе), людям.

Особо следует сказать о русской свадьбе, традиционной, обрядовой, о чем с удовольствием вспоминают оба писателя.

У В. Белова читаем: «Свадьба – самый яркий пример драматизированного обряда, одна из главных картин великой жизненной драмы, той драмы, длина которой равна человеческой жизни...»

Женитьба – важнейшее звено в неразрывной жизненной цепи...

Традиция, однако, ничуть не сковывала творческую фантазию, наоборот, она давала ей первоначальный толчок, развязывая язык даже у самого косноязычного свата...

Народный обычай щадил самолюбие, он словно бы выручал бедного, а с богатого сшибал спесь, подбадривал несмелого, а излишне развязных – осаживал.

...Приезд за дарами – четвертый акт свадебного народного действия. Любая часть действия... является развернутым и вполне самостоятельным драматическим явлением.

Элемент импровизации присутствовал во всех частях свадьбы».

В. Шукшин тоже считает свадьбу значимым событием для человека, очень серьезным шагом в жизни. И в статье «Монолог на лестнице» рассуждает и вспоминает одновременно, сопоставляя старые и новые обычаи:

«...Ведь и старый обряд свадьбы – это тоже спектакль. А вот, поди ж ты!.. Там – ничего, смешно, трогательно, забавно и, наконец, волнующе...»

Лет двенадцать назад я выдавал замуж сестру (на правах старшего брата, за неимением отца. Это было далеко, в Сибири). По всем правилам (почти по всем) старинной русской свадьбы. Красиво было, честное слово! Мы с женихом – коммунисты, невеста – комсомолка... Немножко с нашей стороны – этакая снисходительность (я лично эту снисходительность напускал на себя, ибо опасался, что вызовут потом на бюро и всыпят; а так у меня отговорка: «Да я ведь так, нарочно»). Ничего не нарочно, мне все чрезвычайно нравилось. И так, с нашей стороны – этакое институтское, «из любопытства», со стороны матерей наших, родни – полный серьез, увлеченность, азарт участников большого зрелища. Церкви и коней не было. О церкви почти никто не жалел, что коней не было – малость жаль.

Утверждаю: чувство, торжественный смысл происходящего, неизбежная ответственная мысль о судьбе двух, которым жить вместе, – ничто не было утрачено, оттого что жених «выкупал» у меня приданое невесты за чарку вина, а когда «сундук с добром» (чемодан с бельем и конспектами) «не пролез» в двери, я потребовал еще чарку. Мы вместе с удовольствием тут же и выпили. Мы – роднились. Вспоминаю все это сейчас с хорошим чувством. И всегда русские люди помнили этот единственный праздник в своей жизни – свадьбу. Не зря, когда хотели сказать: «Я не враг тебе», говорили: «Я ж у тебя на свадьбе гулял».

«Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается в целом народе?» – эти слова А. С. Пушкина приводит В. Белов в своей книге «Лад».

На Пушкина ссылается и Шукшин в статье «Монолог на лестнице», говоря о народных обычаях.

«Село двести лет стоит, здесь хранят память о Пугачеве (предки, разбегаясь после разгрома восстания, селились, основали село), здесь даже былины знают... Здесь на каждой улице – своя Мордасова. Тут есть такие бабки, что как запоют, так сердце сжимается. Старо? Несовременно? Ну, значит, Пушкин ничего не смыслил в этом деле, если, будучи молодым человеком, просил Арину Радионовну, старушку, спеть ему, «как синица тихо за морем жила». Значит, все, что нажил народ веками, берег, – все по боку!.. Так давайте пожалеем (взвоем, охота сказать), что мы забываем!».

Высказали оба писателя свои философские рассуждения об еще одной, очень важной тайне человеческого бытия – смерти.

У Белова читаем:

«Другим нравственным и, более того, философским принципом, по которому можно судить о народе, является отношение к смерти. Смерть представлялась русскому крестьянину естественным, как рождение, но торжествен-

ным и грозным (а для многих верующих еще и радостным) событием, избавляющим от телесных страданий, связанных со старческой дряхлостью, и от нравственных мучений, вызванных невозможностью продолжать трудиться.

У северного русского крестьянина смерть не вызывала ни ужаса, ни отчаяния, тайна ее была равносильна тайне рождения. Жизнь человеческая находится между двумя великими тайнами: тайной нашего появления и тайной исчезновения.

Рождение и смерть ограждают нас от ужаса бесконечности».

В статьях Шукшина мы тоже находим слова о смерти, которых немало, и высказаны они в разные периоды жизни.

«Когда буду умирать, если буду в сознании, успею подумать о родине, о матери и о детях. Дороже у меня ничего нет».

Создается ощущение, что автор этих строк предчувствовал свою скорую кончину. Иначе это не объяснить.

По мнению В. И. Белова, жизнь человека делится на две части: до свадьбы и после свадьбы.

В. М. Шукшин считает, что о человеке надо знать три вещи: «как родился, как женился и как умер».

Оба писателя прекрасно знали свой родной язык, умели талантливо владеть словом, считали это большим достоянием человека.

В. Белов заметил: «Умение хорошо, то есть образно, умно и тактично говорить в какой-то степени было мерилом даже социально-общественного положения, причинной уважения и почтительности.

Для мелких и злых людей такое умение являлось методом зависти.

Слово – сказанное ли, спетое... – любое слово стремилось к своему образному совершенству.

Эстетика разговора, как жанра устного творчества, выражается в умении непринужденно завести беседу, и в искусстве слушать, и в уместности реплики, и в искренней заинтересованности. Но – главное – в образности, которая подразумевает юмор и лаконизм.

Добродушное подсмеивание над самим собой, отнюдь не переходящее в самооплевывание, всегда считалось признаком нравственной силы и полноценности.

Люди, обладающие самоиронией, чаще всего владели и образной речью...

Без любви к делу талант уходит...

Но сделать легко и красиво можно то лишь, что легко и красиво выговаривается, – это одно из проявлений единства материального и духовного у русского работника.

Иностранцами же, непонятными для других названиями очень любят пользоваться убогие от природы, либо ленивые, либо в чем-то ущемленные труженики».

У Шукшина находим эту же мысль: «Критическое отношение к себе – вот что делает человека по-настоящему умным».

«...Когда человеку больно, – пишет **В. Шукшин**, – у него нет желания говорить красиво и много, когда он

счастлив, то, во-первых, это всегда коротко, во-вторых, тоже говорят просто...

Наконец, когда человеку все равно, он в состоянии придумать очень непростую фразу, ибо ему все равно. Тут и приврать ничего не стоит.

Вообще все системы хороши, только бы не забывался язык народный. Выше пупа не прыгнешь, лучше, чем сказал народ, ... не скажешь».

Еще один вопрос, который мучает настоящих художников слова, – это Правда!

Белов и Шукшин, как истинные патриоты своего народа, настоящие интеллигенты в самом высоком и полном смысле этого понятия, – не исключение. Напротив, – образцы русской духовности!

«Нравственность есть Правда. Не просто правда, а – Правда. Ибо это мужество, честность, это значит – жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду».

И еще более глубокие и точные слова находим у В. Шукшина:

«Только с очень развитым чувством Правды и Справедливости люди живут значительно».

Особое место в творчестве писателей, как и в жизни, занимает тема родины, «малой родины», как назвал В. Шукшин.

«Родная природа, – пишет Белов, – как родная мать, бывает только в единственном числе. Все чудеса и красоты мира не могут заменить какой-нибудь невзрачный пригорок с речной излучиной, где растет береза или верба... Родной дом, а в доме очаг и красный угол были средоточием хозяйственной жизни, центром всего крестьянского мира...

Это она, земля, кормит и поит, одевает и нежит. Голубит в свое время цветами, обвеивает прохладой, осушая с тебя пот усталости. Она же возьмет тебя в себя и обымет, и успокоит навеки, когда придет крайний твой срок...».

«Родина... – вторит **В. Шукшин**. – Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский «запас прочности»: всегда есть куда вернуться, если станет невмоготу...

Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот – есть еще куда отступить, есть, где отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу...

Родина.... И почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда.... Может, потому, что она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе...

Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти – неизменно – полати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею

подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет».

Эти точки соприкосновения двух мыслителей из народа и от народа можно находить до бесконечности...

Мечта Шукшина при жизни вернуться в родное село, «красивее которого» для него не было, и «красивее реки, чем Катунь», он тоже не знал, не состоялась.

Вернулся музеем, Всероссийским праздником в честь дня его рождения, памятником на горе, где собираются тысячи людей, а самое главное, – памятью людской, признанием и благодарностью за честный

разговор с читателем, за Правду, Справедливость и Совесть, носителем чего Василий Шукшин является до сих пор (хочется верить, что надолго).

А вот Василий Белов жил на своей «малой родине» постоянно, хранил родной дом в Тимонихе на Вологодчине, хранил память о традициях своих предков-крестьян, хранил ту же Правду и Совесть...

А теперь и покоится там же, в Тимонихе, на родном погосте, рядом со своей матушкой...

Только вот в деревне – ни души... Пустые дома, погост, кресты...

Но ведь «есть в России умные люди!».

Сростки. Алтайский край



**Святослав
КАСАВЧЕНКО**
ДЕТАЛИ ИСТОРИИ

Недавно был удивлен. Услышал от одного довольно грамотного человека суждение: «У нас что ни героизм, то бессмысленный. Все – с шашками на танки».

А дальше речь зашла о сражении под Куцевской, когда в августе 1942 года казачьи части остановили фашистское наступление на Кавказ и в нескольких сабельных атаках истребили более четырех тысяч гитлеровцев. О наших потерях информации нет, кроме того, что они были значительны. И делается из этого вывод, что некие бездарные командиры бросили казаков в самоубийственную атаку. Причем атаку бессмысленную – она всего на три дня задержала наступление гитлеровцев. Стоило ли ради этого народ губить?

Сначала я, естественно, возмутился. Что за idiotские выводы? А потом подумал: «Какие могут быть еще выводы из вышеизложенного набора информации? В чем человека винить? В том, что ему не рассказали, что было на самом деле? Винить в этом надо горе-пропагандистов, рассказывающих о доблести и не говорящих о смысле». И решил я эту ошибку исправить.

Для начала – повторю общеизвестное. Да, с 30 июля по 3 августа 1942 года бойцы 17-го кубанского казачьего кавалерийского корпуса вели бои на Ейском оборонительном рубеже (станции Шкуринская, Канеловская, Старощербиновская, Куцевская) с превосходящими силами противника. Несколько раз казачьи полки в конном строю ходили в сабельные атаки, уничтожили от четырех до шести (цифры разнятся) тысяч гитлеровцев. Покрыли себя славой, но... потом все равно отступили.

Теперь – о ситуации на фронте. Гитлер рвался на юг – к нефти Кубани и Кавказа. В этом направлении наступали отборные немецкие части, несколько дивизий горных стрелков, усиленные полками СС, а на острие клина шли танки, разрывавшие советскую оборону в клочья. Равнинный ландшафт затруднял оборону – многокилометровые противотанковые рвы не могли перекрыть всю степь. Красная армия отступала. Причем отступала с такой

скоростью, что возникла опасность попадания разбитых частей в «котлы». Кроме того – до нефтяных промыслов Краснодарского края оставалось около двухсот километров. И тут на пути гитлеровцев встали казаки.

О казаках. 17-й кубанский казачий кавалерийский корпус формировался из добровольцев непризывных возрастов. И хотя в нем было немало семнадцатилетних мальчишек, основную массу составляли сорока – пятидесятилетние мужики, многие из которых прошли до того и германскую и гражданскую. Это не были сумасбродные самоубийцы, как можно предположить, глянув на известное полотно, где всадники с шашками летят на танки. Это были обстрелянные, знающие цену жизни и смерти, умеющие взвешивать риск бойцы, понимавшие, на что идут. В большинстве своем они были куда более опытными и стойкими морально воинами, чем двадцатилетние мальчишки, чье отступление они прикрывали. И они отлично знали – за что идут в бой. В том числе – и за отступающих мальчишек.

О сабельных атаках. Они были вовсе не такими, как можно себе представить по фильмам. Тактика кавалеристов в Великую Отечественную заметно отличалась от тактики времен гражданской. Казаки в основном воевали пешими. По воспоминаниям очевидцев (а мне довелось побеседовать с несколькими участниками куцевской атаки) – основным оружием казака в Отечественную была винтовка, а чуть позже – автомат. Удобный в рукопашной кинжал был всегда на поясе. А вот сабли чаще всего лежали в обозе. С собой прагматичные казаки брали их только в кавалерийские рейды по вражеским тылам – в остальное время проку от сабель не было. Кони же использовались больше как транспортное средство, но не как «боевая техника». По возможности верхом совершались переходы. На конной тяге передвигались пулеметы и пушки. Не саблями, а с помощью пушек, противотанковых ружей и танков, приданной корпусу танковой бригады Орловского училища, была остановлена под Куцевской вражеская бронетехника. А уже потом, когда вражеские танки и самоходки горели, а пехота замешкалась – была сабельная атака. И в этих условиях она была даже менее самоубийственной, чем штыковая атака пехоты. Да – всадник более удобная мишень, чем пехотинец. Но это – для подготовленного стрелка в укрепленной позиции. А для автоматчика пехотинец предпочтительней. Он и бежит дольше. И в рукопашной ты с ним – на равных. А всадник... Казак Константин Недорубов, за Первую мировую ставший полным георгиевским кавалером, под Куцевской зарубил семьдесят фашистов, за что получил звание Героя Советского Союза...

Я уже говорил о том, что кавалеристы были мужики опытные, обстрелянные, умеющие взвешивать риски. Конной лавой под Куцевской казаки атаковали не из лихого героизма, а потому что так было лучше. Атаковали из балки, из-за железнодорожной насыпи, с кукурузного поля, в котором до поры всадников было не видно, да по солнцу (чтобы неприятеля слепило). Именно благодаря этому достигалась внезапность атаки. Вы поставьте себя на место гитлеровского автоматчика. Минуту назад в поле никого не было, но вот тебя уже рубят. Да-да – именно рубят. Тебя учили приемам против ударов штыком или прикладом, но не саблями... Кстати – немаловажно: большинство сабельных атак (а тогда она была не только под Куцевской, но и под Шкуринской, и на других участках Ейского оборонительного рубежа) были контратаками. То есть кавалерия не кидалась на пристрелянные пулеметы, а рубила лишнего укрытий пешего неприятеля. То есть осознанно, умело и успешно использовала те немногие преимущества, которые кавалеристы имели над пехотинцами в поле.

Стоит понимать, что бесконечно это продолжаться не могло. Как бы грамотно казаки не планировали свои атаки, как бы лихо они не совершали обходы, все решили танки. К местам боев вышли очередные танковые подразделения немцев. Наша артиллерия была подавлена. Гитлеровцы продолжили наступление, а понесшие значительные потери (атак без потерь не бывает), казачьи дивизии отступили, задержав врага на три – четыре дня.

Стоила ли овчинка выделки? Во-первых, корпус выполнил боевую задачу – обеспечил отход регулярных частей Красной армии на туапсинском и моздокском направлениях. Отступившие войска переформировались, закрепились на новых оборонительных рубежах и не пустили врага туда, куда он стремился – к кавказской нефти. Во-вторых, казаки дали время демонтировать оборудование нефтяных скважин Кубани и уничтожить сами скважины.

И тут пора рассказать еще одну историю. Летом 1942-го на Кубань был откомандирован Николай Байбаков (кому это имя незнакомо – «погуглите») с личным напутствием Сталина: «Если вы оставите противнику хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем, но если вы уничтожите промыслы, а немец не придет, то... мы вас тоже расстреляем».

Байбаков организовал работу промыслов так, что они практически до последнего дня давали нефть фронту. Также был разработан способ, позволивший гарантированно уничтожить скважины – их просто заливали бетоном. Фашисты, пришедшие на Кубань, за полгода оккупации не сумели раскон-

сервировать ни одной скважины и добыть хотя бы тонну нефти.

Нашим, правда, после изгнания немцев тоже пришлось бурить скважины по-новому, но они справились. И во многом справились именно потому, что было сохранено оборудование, при отступлении не уничтоженное, а демонтированное и вывезенное в тыл. Казаки, три дня подряд сдерживавшие натиск бронированных частей нацистской Германии, позволили это сделать. Это не случайность и не совпадение – сохранились документы, в которых подтверждается, что Буденный гарантировал Байбакову пять дней. Байбаков, кстати, в пять дней не верил (поэтому начал уничтожать скважины на свой страх и риск, не дожидаясь распоряжения сверху), но просил продержаться хотя бы дня три. Именно для того, чтобы демонтировать и вывезти оборудование промыслов.

...Вот так, если копнуть чуть глубже, за подвигами и лихой самоотверженностью обнаруживаются экономика и расчет. Кого-то это может смутить. Я же, зная, что ни одна война не затевается без надежды на выгоду, не вижу тому причины. Казаки, не пустившие гитлеровцев к кубанской нефти и давшие шанс не допустить их до нефтепромыслов Кавказа, посадили на скудный паек экономику рейха, вынужденного выбирать – поить имеющейся у него румынским горючим танки Восточного фронта или наращивать мощности оборонных заводов?

Так к чему мы пришли? К тому, что кавалерийские атаки не были ни бессмысленными, ни безрезультатными. Под Куцевской самоотверженность, отвага, удаль и ратное мастерство (звучит пафосно, но иначе не скажешь об этом) казаков послужили спасению отступавших частей, поломали планы неприятеля и лишили врага той экономической подпитки, в которой он отчаянно нуждался.

Поколения рассказчиков заболтали суть, оставив от истории только внешний блеск дерзкой сабельной атаки. Поколения слушателей извратили смысл, не понимая, зачем бросаться с шашками на танки. Герои-казаки, среди которых был и мой прадед, стали выглядеть какими-то несчастными недомками, готовыми гибнуть по приказу идиотов.

Не пора ли разобраться в том, что происходило, и сказать спасибо мужчинам, умевшим останавливать танки и идти в атаку ради спасения своих сыновей?

И еще – войну казачьи дивизии закончили в Праге. Это я в подтверждение того, что наши прадеды умели побеждать не только числом, но и умением.

Геннадий КРУГЛЯКОВ КУЗЕДЕЕВСКИЙ БОР

В литературной практике есть произведения, которые сами по себе являются, уж если не героем, то непосредственным участником в жизни их автора. История создания стихотворения «Кузедеевский бор» – это целая жизнь, даже не отдельного человека, а целого региона, где когда-то пришлось мне работать.

В середине шестидесятых годов судьба занесла меня в Таштагол. Вблизи этого рудника базировалась партия скважинной геофизики. Отмечу, что такого профиля геофизических партий в Советском Союзе было всего лишь две – в Горной Шории и Красноярском крае. Экспедиция располагалась в городе Ленинске-Кузнецком. Каким образом я появился в этом шахтерском городке, не помню, возможно, заехал к родственникам. Зашел в экспедицию. И прямо с порога предложили мне приличное место – исполнять обязанности главного инженера геофизической партии. Причина банальная. Мои предшественники, геофизики Величко и Валерий Чумак (мой сокурсник), сделали важное открытие. Им бы радоваться. Но тут появилась возможность устроиться на работу вблизи Черного моря, в городе Днепродзержинске, правда, в обычную каротажную партию. Кто тут устоит? С одной стороны – теплое море, родная Украина, с другой – восемь месяцев зимы, остальное – лето с проливными дождями. Жилье? Какое там жилье, в лучшем случае временно. Словом, уехали ребята. В партии не осталось ни одного инженера.

Тогда и появился я в Кузбасской геофизической экспедиции. Опыта работы по скважинным методам у меня не было. Правда, наземные электроразведочные работы, магнитометрическую съемку мне проводить доводилось. Пообещали в скором времени построить деревянный дом. Уговорили.

В Таштаголе мне пришлось начинать все с нуля. Партия обслуживала две или три геологические экспедиции, проводившие бурение. Каждую скважину изучали комплексом методов скважинной геофизики, включая магнитный каротаж, радиометрию и некоторые другие методы. Для угольных место-

рождений определяющим оставался электрический каротаж. Этим методом уточняли не только размеры угольных пластов, но и определяли качество угля, например его зольность.

Для месторождений железных руд (магнетита) стал незаменимым новым в геофизике метод магнитного каротажа. С его помощью можно было определить пространственное положение рудного тела, направлять бурение. Искривление скважины, местоположение забоя на глубине тоже определялось геофизическим методом. Проще говоря, геофизики стали, как и при поисках нефтяных и газовых месторождений, «глазами» геологов и буровиков. Нефть и газ в Советском Союзе открывали не черномырдины, а рядовые геофизики. Но, умывшись нефтью, эти шакалы из руководства «отрасль» присвоили потом золотую нефтяную трубу.

Помимо разведочных скважин, на действующих рудниках глубоко под землей тоже осуществлялось бурение для уточнения направления проходки и определения контура рудного тела. Эти скважины также необходимо было исследовать. Одним словом, бурить дальше или приостановить бурение – зависело от заключения геофизика. Ошибаться не приходилось. И так по каждой скважине – непрерывный рабочий процесс. Давать заключение – это и стало моей основной работой. И, конечно же, обеспечивать весь цикл исследований.

Магнетит – богатая железная руда. Но запасы ее на месторождениях Горной Шории невелики. Строительство гиганта металлургической промышленности в Новокузнецке было, мягко говоря, непродуманным шагом. Ну, хорошо, есть местный уголь, но необходимой железной руды – кот наплакал. Впрочем, политическим авантюристам, которые руководили страной, важнее было создать пропагандистскую кампанию по осуществлению великих строек, мобилизовать «массы». Об экономической перспективе они не думали. Наркоматом тяжелой промышленности руководили закаленные большевики, умеющие разве что драть глотку и стучать кулаком по столу. Еще в начале строительства главный пролетарский поэт успел прокукарекать:

*Я знаю – город будет, я знаю – саду цвезть,
Когда такие люди в стране советской есть!*

Правда, не уточнялось, какие это люди. А строили комбинат в основном подневольные крестьяне, главы многодетных семей, лишенные собственности и домашнего очага.

В середине шестидесятых годов комбинат работал на полную мощность. Железную руду возили, в основном, с Южного Урала. Понятно, любые природные запасы местной руды были экономически выгодными.

Мои предшественники сделали потрясающее открытие! Им не грех было бы Государственную премию за это присудить. Но открытие попросту «не заметили». Скорее всего, шум поднимать вокруг этого события было не к лицу некоторым авторитетам в геологической науке...

Уже после записи первых магнитных диаграмм по рабочим скважинам геофизики пришли в недоумение: магнитные аномалии не соответствовали существующим геологическим разрезам. Геологи представляли рудные тела на известных месторождениях Горной Шории в виде вертикальных штоков, что явно противоречило характеру магнитных аномалий. В забое некоторых скважин отмечалось высокое магнитное поле.

Последующее бурение показало, что аномалии вызваны новыми рудными телами. И геологические разрезы на известных месторождениях предстали в совершенно ином свете. Вместо вертикальных штоков, месторождение магнитных руд выглядело в виде слоеного пирога: слой пустой породы, слой руды!

Бесперспективные забои стали вдруг перспективными. Горнякам предстояло осваивать новые горизонты. Геологи начали бурить не вслепую, каждый метр бурения корректировался геофизической службой. По сути дела, это открытие должно было войти в учебники по скважинной геофизике. В партию зачастили различные соискатели научных званий. Что же касается виновников такого повышенного интереса к региону, они, как уже было сказано, умчались в теплые края.

Дел у меня на новом месте работы оказалось невпроворот. Приходилось осваивать новую технику, знакомиться со старыми отчетами, просматривать сотни диаграмм, снятых ранее.

У пожилой четы снимал я угол, привывая к новому месту работы. Не боги горшки обжигают. Единственная улочка поселка примыкала к склону горы. Ближайшим «культурным» заведением была захудалая столовая с буфетом, где продавали на разлив дешевое вино. Чтобы сходить в кино, нужно было ехать на автобусе километра за три – в Таштагол. Горная речушка Кондома, одноименная железнодорожная станция, словом, таежный тупик.

Месяца через четыре я уже освоился со своим положением и новыми обязанностями. Работа была интересной, появились неожиданные идеи. Давать ежедневные заключения по результатам магнитного каротажа – это же примитивно, слишком узко. Опыт предыдущей работы в Казахстане по геологическому обоснованию данных аэромагнитной съемки навел на мысль сопоставить материалы скважинной геофизики с данными аэромагнитной съемки и результатами наземных геофизических работ. Палки в колеса мне никто не вставлял, я был единственным в партии инженером – и рядовым, и глав-

ным. С начальником партии, практиком, не имеющим специального образования, но членом, боюсь тавтологии, мы ладили.

Возникла идея – надо ее осуществлять. Стояла середина лета. Появилась какая-то отдушина. Поехал я в ближайшую геофизическую экспедицию, которая занималась наземными работами. Базировалась она на полпути от Таштагола до Новокузнецка – на станции Кузедеево.

Запомнилось лучезарное утро. Казалось, пела и радовалась жизни каждая травинка. Я присел на огромный пенек, напоминающий круглый стол, слушая пенье птиц, любуясь этим реликтовым чудом. Деревья были высоченные. Некоторые вершины уже засыхали, но чуть ниже курчавились мохнатые зеленые ветви. Было так спокойно, так надежно. И как же он сохранился такой древний бор по соседству с неугомонным, неуживчивым человеческим пристанищем?

В детстве мне приходилось видеть девственные леса, где порою не ступала даже нога человека – главного губителя всей живности и земной красоты. Из какого бы рая Бог не изгонял очередного прародителя рода людского, он пытается отыскать новый рай, чтобы в очередной раз его погубить и уничтожить. Но там, в Кузедеево, произошло какое-то чудо – десятилетиями разумно соседствовали реликтовый бор и человек.

Многие годы назад в музее-заповеднике Спаское-Лутовиново я увидел столь же древние деревья. Возраст многих из них равнялся двум столетиям. Парк разбил помещик Лутовинов, дед И. С. Тургенева, жестокий крепостник и деспот. Аллеи парка с высоты ангельского полета изображают римскую цифру XIX – начало нового для его создателя века. Мог ли предполагать феодал-сластолюбец, что его детище станет символом классического золотого века русской литературы!

Кузедеевский реликтовый липовый бор – явление иного рода. Это скорее чудом сохранившийся заповедный уголок Природы. Его мощь олицетворяет иную породу людей – мастеров кузнечного дела, кем издавна славился этот край. Долго я сидел на заповедном пне. Само собой родились стихи. Они, как я теперь понимаю, сыграли немаловажную роль в моей жизни.

1

*Бор, не знаю я, чей ровесник,
Может, Москвы, а может, Парижа.
Наследник ремесел, ремесленник
И мудрый политик.
Я смотрю на его вершины –
Там, как будто в скале, воронье гнездится.
В его высоком мире и синем
Не поют весенние птицы.
Не живут певцы с гвоздикой в петлице.*

*Затишают его вершины.
Засыхают его вершины.
И зеленые ветви сутуло
По стволу спускаются вниз –
В них великая сила уснула.
Корни с вечностью переплелись.*

2

*Срезы пней, как площадь у мэрии
В провинциальном французском городе,
Птицы не могут петь умеренно
И с утра надрывают горло.
И текут районные будни
Вдоль столбов телеграфных линий.
И проходят усталые люди
По тропе, протоптанной ливнями.
Кто он – мудрый и щедрый Создатель?
Это счастье не только мне,
Чтобы я, как простой солдатик,
Отдохнул на старинном пне.*

В экспедиции я, конечно, побывал, собрал нужные материалы. «Районные будни» потекли своим чередом. Была какая-то личная жизнь. Началось строительство дома. У меня появился помощник. В Кемерово прошло совещание молодых писателей. Я там был и не мед или пиво пил...

Идея по обобщению материалов аэромагнитных наземных скважинных геофизических исследований нашла одобрение в экспедиции. Утвердили тему. А главное – смету. Меня, раба божьего, перевели старшим инженером в опытно-методическую партию на базе экспедиции. Предоставили городскую квартиру.

Весной 1967 года в Кемеровском книжном издательстве вышла моя первая книжка в так называемой кассете, под общим названием «Взмах крыла». Ее редактором был поэт Игорь Киселев. Несомненно, человек талантливый, обладающий хорошим литературным вкусом. Ко времени появления поэтической книжки у нас сложились с ним дружеские отношения. Несколько лет назад, открыв очередной номер журнала «Наш современник», я с радостью обнаружил небольшую вступительную статью о нем и подборку стихотворений, посвященных его памяти. Из других кемеровских поэтов именно тех лет запомнился мне Валентин Махалов.

Выход моей поэтической книжки календарно совпал с завершением работы в геодезической партии. Я подготовил отчет и защитил его на техническом совете экспедиции. Обобщив и сопоставив геофизические материалы, которые были у меня, я рекомендовал на перспективных площадях пробурить сто скважин. Все говорило о наличии там залежей магнетита. Расчет мой был совершенно прост: если хотя бы треть скважин подсчет руды, значительное увеличение местных запасов магнетита – обеспечено. Собственно, так оно и произошло, хотя сам я был уже далеко. Сначала проводил геофизическую съемку в Молдавии, а затем окончательно переехал в Алма-Ату.

Моей спутницей в скитаниях по Западной Сибири и Молдавии стала Лидия Сергеевна Успенская. В Таштаголе у нас с ней родился сын Андрей...

В Кемерово я попал неожиданно. Летом 1993 года мне пришло приглашение на празднование 75-летия Василия Федорова, уроженца этой области. Вспомнили обо мне коллеги из писательской организации. Мероприятие прошло весьма торжественно. По области группу писателей сопровождал Аман Тулеев, в то время – председатель областного Совета народных депутатов. Сожалею, что, пользуясь такой возможностью, не смог съездить в Таштагол. А изменения произошли в том регионе не малые. Открыты новые месторождения...

В начале 1999 года я переехал из Алма-Аты в подмосковный город Электросталь.

Идея создания очерка об одном из крупных промышленных предприятий в городе Электростали привела меня в кабинет руководителя концерна. Выяснилось, что мы едва ли не земляки. Мой собеседник оказался выпускником Томского политехнического института, правда, более позднего выпуска. Так состоялось мое знакомство с Александром Николаевичем Евдокимовым. Что любопытно, он вырос на железнодорожной станции Мудыбаш, которая рядом с поселком Кузедеево. Учился в средней школе, играл в местной волейбольной команде, где заметным игроком был молодой железнодорожник Аман Тулеев.

А происходило это именно в те памятные для меня годы: Таштагол, работа в геофизической партии, редкие свободные минуты и тот памятный Кузедеевский бор...



**Валерий
ВЛАСОВ**

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ РУССКОГО ИСТОРИКА Н. И. КОСТОМАРОВА И РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

История убеждает в том, что славные особенно-сти народа, в данном случае – русского, проявляют себя с периодической регулярностью. Пусть это не главные его черты (патриотизм, самостоятельность, творческое начало), но те, которые в соответствующие моменты могут изменить течение всей его жизни.

Вот и сейчас состояние нашего общества очень напоминает то, в котором Россия находилась в середине XIX века (в конце 50-х и начале 60-х годов).

Тогда правительство Александра II готовилось к отмене крепостного права, и во всех губерниях работали Комитеты по изучению быта крестьян и соблюдению прав всех сословий, что должно было обеспечить максимальную справедливость. И так думала большая часть общества.

Однако в это же время под влиянием «передовых» идей, исходящих из Санкт-Петербурга и Москвы, по стране прокатилась волна студенческих беспорядков. Их пустота и полнейшая неконструктивность схожи с требованиями нашей сегодняшней «несистемной» оппозиции, впустую шатающейся по центральным площадям столицы, ничего толком не объясняя, а лишь скандируя: «Прочь!», «Долой!», «Пошел вон!».

Настроения в студенческой среде середины XIX века очень точно показал в своей «Автобиографии» русский историк Н. И. Костомаров, будучи в то время профессором Санкт-Петербургского университета. Николай Иванович пользовался необычайным среди студентов авторитетом: во-первых, как ученый, глубоко знающий историю России, а во-вторых, вследствие своей биографии, связанной с арестом и ссылкой.

Дело было в Киеве, куда он попал, выиграв конкурс на должность учителя в Первой Киевской гимназии, а окончательно обосновался там, когда к нему 1 февраля 1846 года перебралась матушка. В конце мая его известили, что университет Св. Владимира желает избрать его в преподаватели русской истории вместо недавно умершего Домбравского, но с условием представить Совету ученую

лекцию, которую он и прочитал 4 июня. В ней он показал истоки русской нации, связав их с племенами, населявшими до этого Великую Русскую равнину, сославшись при этом на писателей древних времен. Его лекция оказалась настолько богата сведениями, в том числе из древних подлинников, что была принята весьма одобрительно и единогласно. Это был один из самых светлых и памятных дней его жизни.

Все шло, казалось бы, прекрасно, в ближайшее воскресенье намечалось его венчание с Алиной Леонтьевной. Но еще до приезда матушки Костомарову пришлось жить по разным квартирам у своих товарищей, и как-то незаметно соорганизовался кружок единомышленников, объединенных идеей взаимной общности славянских народов, связанной общей историей, а поэтому и общим будущим в виде федерации государств, наподобие древнегреческих республик или Соединенных Штатов Америки. Изучение славянских языков и литератур ставилось главным делом. Созданному обществу дано было имя Св. Кирилла и Мефодия. В него, кстати, входил и Тарас Григорьевич Шевченко.

Арестовали Костомарова в пятницу, за два дня до назначенного венчания. В итоге приговор: полгода в Петропавловской крепости и ссылка в Саратов. Конечно, это было слишком сурово, но в России всегда судят с учетом острастки и в назидание другим, а поэтому царскими следователями этому безобидному обществу были приписаны черты тайного кружка подпольных революционеров. (Однако со своей невестой, Алиной Леонтьевной, Костомаров все-таки повенчается... через 25 лет, когда будучи в Киеве, зайдя на свою старую квартиру, узнает, что его бывшая невеста уже вдова, имеет троих детей и живет в имении под Киевом. Желание встретиться было взаимное, а Костомаров и не переставал любить свою единственную привязанность в жизни.)

Правда, в Саратове он был определен переводчиком при губернском Правлении (с окладом в 350 рублей) и мог свободно заниматься литературной деятельностью и даже писать научные труды, что позволило ему после помилования высочайшим Манифестом, последовавшим за коронацией нового царя, занять кафедру русской истории вместо ушедшего в отставку профессора Устрилова. Однако перед тем, как его утвердили в звании экстраординарного профессора Санкт-Петербургского университета, министр народного просвещения Е. П. Ковалевский на личной встрече заявил, что государю-императору доложили о том, что соискатель написал неблагонамеренную книгу о Стеньке Разине, и он хочет прочесть ее лично. Но все окончилось благополучно, и император разрешил опальному писателю служить по научной части.

Итак, в конце 1859 года Костомаров приступил к чтению лекций в университете. Он был встречен студентами с величайшим энтузиазмом. Число слушателей росло с каждой лекцией, а аудитория всегда была переполнена лицами всякого звания и обо-его пола.

Следует обрисовать сложившуюся на тот момент политическую обстановку в России, чтобы понять расклад и расстановку всех сил и настроений в динамично развивающейся стране.

Только что (18 марта 1856 г.) подписан Парижский мирный договор по итогам Крымской войны: Россия теряла Бессарабию и право иметь флот и укрепления на Черном море. Учащаются случаи крестьянских волнений, а поэтому во всех слоях общества укрепляется мысль, что лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать его отмену снизу. В мае 1856 года тысячи поляков возвращаются из сибирских ссылок на родину (после разгрома восстания 1830–1831 гг.). А влияние польских настроений в России было велико, и тем более на Украине, где владели землей в основном «паны», а пахали холопы (феномен того времени!). В этом же году (26 августа) выходит манифест о разрешении декабристам вернуться из сибирской ссылки. 1857 год – Герцен и Огарев начинают издавать в Лондоне журнал «Колокол», орган тогдашней оппозиции, который, однако, читают даже при дворе. В этом же году из Шлиссельбургской крепости освобожден Бакунин (современный Навальный) и отправлен в Сибирь. Немного ранее арестуют и вышлют в Вятку Салтыкова-Щедрина.

Однако для справедливости следует назвать и события с другого, как когда-то говорили, «переднего» края. 1 июня 1856 года основан Хабаровск, 2 ноября 1860 года – Владивосток, в октябре открыт Мариинский театр, немного позже – Санкт-Петербургская консерватория. Образуется «могучая кучка» выдающихся русских композиторов, выходит поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?». В 1851 году открыта Николаевская железная дорога, и в России начинается промышленный бум. Планомерно развивается русификация Закавказья и славянизация Балкан, лишь ненадолго прерванная обороной Севастополя».

Вот в таких условиях Костомаров приступает к чтению лекций в университете.

Во-первых, у него расширяется круг его повседневного общения, в который по существу входит вся культурная элита столицы: наука, искусство – из Академии художеств и Московской духовной Академии, ведущие редакторы и издатели, историки и публицисты, большие личности и все преданные душой делу образования и возрождения страны. Сюда можно отнести И. И. Срезнецкого, М. И. Сухомлинова, Н. М. Благовещенского, К. Д. Кавелина,

М. П. Погодина, В. Д. Спасовича, А. Н. Пынина, М. М. Стасюлевича и других корифеев русской культуры.

Вступив на кафедру, он решил на первый план в своих лекциях выдвинуть народную жизнь во всех ее частных видах, рассказывал о русских инородцах, начав с литовцев и их древней истории, с реабилитации казаков, опровергнув возникшее тогда мнение (идушее из Польши) о том, что казаки сами по себе были обществом антигосударственным, а душой этого общества была анархия. Он же доказал, что казачество строилось на чисто демократической основе. Все это он излагает в статьях «О федеративном начале древней Руси» и «Две русские народности», тем самым вступая в яростную полемику с многочисленными оппонентами, в том числе и заграничными, опровергая лживую пропольскую теорию о неславянском происхождении всего великого русского народа. Странники этой теории, к сожалению, были и у нас.

В эти годы он много путешествует: Псков, Ростов, Новгород, Троице-Сергиев и Кирилло-Белозерский монастыри, знакомясь с древними рукописями и греческими переводами.

Интерес слушателей к его лекциям радовал Костомарова, но и обязывал, ибо он видел, что в публике зарождается серьезная любовь к отечественной истории. И это была не пустая мода.

1861 год начался со смерти Тараса Григорьевича Шевченко (25 февраля), подельника по Кирилло-Методиевскому обществу. Поэт лишь несколько дней не дожил до великого торжества всей Руси, о котором только могла мечтать его долгострадавшая муза: 5 марта во всех церквях Российской империи прозвучал величайший Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Это была неподдельная, искренняя радость людей всех званий и сословий. Россия свергла с себя постыдное бремя, висевшее над ней в продолжение веков, и вступила в новую жизнь свободной православной нацией, имея перед собой задачу – просвещение освобожденного народа. Планы были грандиозные, исполнить не дали!

В такой обнадеживающей обстановке закончился учебный год, дочитывались последние лекции, и Костомаров готовился к давно планируемой заграничной поездке. Напоследок он прочел в Новгороде несколько публичных и давно задуманных лекций в пользу Народного училища. И что характерно, именно в этом училище была башня, в которой, по преданию, висел вечевой колокол – символ русского народовластия, и помещалась вечевая изба.

Прямо из Новгорода он отбыл в Европу. Уже в начале мая он в Берлине знакомится со средневековыми постройками, в Нюрнберге с замками и крепостями. Затем Италия с ее церквями и собора-

ми, с торжественными богослужениями. Знакомство с Миланом, его галереями, с Ломбардией. Затем Генуя и, наконец, Ницца, уже тогда облюбованная русской публикой. Потом была Пиза, Флоренция. Переехав через Альпы, Костомаров остановился в Женеве, где каждый русский просто обязан посетить Шенгенский замок – одно из чудеснейших мест в Европе, хранящих память об инквизиции, но также и местах, связанных с Жан-Жаком Руссо и Байроном. И затем через Баден и Берлин – в Москву. В августе Костомаров уже в столице и больше месяца работает с рукописями в Синодальной библиотеке и в Архиве иностранных дел. 20 сентября возвращается в Санкт-Петербург и на другой день отправляется в университет с целью начать новый курс, но, к удивлению, застаёт аудиторию почти пустой.

В России начались студенческие волнения, которые Костомарову довелось наблюдать вблизи, изнутри.

В университетском парадном в это время проходит бурная сходка. Студенты выломали дверь, шумно требуя от нового ректора Срезнецкого отменить новые стеснения для студентов. Дело в том, что летом была образована из профессоров комиссия для составления правил, имеющих целью приведение всей студенческой корпорации к определенному порядку. Вот эти правила (ценз для поступления; запрещение сходок; запрещение устраивать в университете концерты, спектакли и литературные вечера; закрытие аудиторий для особ женского пола) и были поводом волнений. Несмотря на аресты, волнения не прекращались, студенты, наоборот, шли на войска, и их забирали сотнями. Петропавловская крепость и тюрьмы в Кронштадте были переполнены.

На другой день сотня демонстрантов приходит на квартиру попечителя университета Филиппсона, которого тянет за собой через весь Невский проспект до университета. На следующий день уже новый министр народного просвещения Головнин, заменивший графа Путятина, издает распоряжение о временном закрытии университета, предлагает составить новый университетский Устав, выпускает всех студентов и дозволяет им держать экзамены.

Костомарову довелось принимать экзамены у этих недоучившихся юношей, и он не мог без смеха слушать их ответы. Например, известный впоследствии публицист Писарев не знал, что в России были патриархи, и не мог ответить, где погребены московские цари.

Тогда студентам, как и любимым бунтарям в их положении, нужны были уже не знания, а моральная поддержка их требований, хотя уже для многих было ясно, что все это хорошо не кончится. Но не все могут устоять от магической воли толпы, многих она просто оглушает и ломает.

Костомаров приводит такой пример. В начале марта на Мойке проходил литературный вечер, где с чтением своей статьи «Тысячелетие России» выступил профессор Платон Васильевич Павлов. Перед началом вечера Павлов дал прочесть статью Костомарову. Пробежавши ее, Костомаров не заметил ничего, способного обратить неблагоприятное внимание власти. Однако публика встретила его овацией, и еще много раз его речь прерывалась рукоплесканием на местах, которые могли иметь либеральный смысл и могли подать повод к толкованию в дурном смысле. Для либеральной публики, да еще в толпе, важным становится не суть и смысл, а эмоциональное возбуждение и «святой» гнев против любых мнений, порядков, любой власти, а часто и здравого смысла. На другой день стало известно, что Павлова арестовали, а затем сослали в Кострому. Студенты-распорядители заволновались и стали ходить по профессорам, требуя прекратить чтение лекций в виде демонстрации протеста. Павлов же пострадал не за суть лекции, а за ее тон и антураж, созданный чтением. Тогда студенты-распорядители сильно озлобились против Костомарова, который твердо стоял на продолжении чтения лекций, ибо хорошо знал студентов, которые тянулись к знаниям и были безучастны к призывам тех, для кого занятия уже потеряли смысл.

Костомаров относился к личностям типа Б. Н. Чичерина, историка-философа, основоположника русской «государственной школы», готовых трудиться с тем, чтобы менять систему изнутри, через влияние и воспитание элиты, чтобы она сама рождала просвещенных монархов. А это полностью соответствовало и глубинным чувствам русского народа, который мог десятилетиями терпеть, если вдруг попадался неудачный царь: с кем не бывает – дождемся лучшего. Свобода и справедливость требуют длительных усилий, а не просто: вышел, покричал и все свершилось. А насильственные меры – это всегда путь в никуда. Взять хотя бы первое покушение на Александра II П. Д. Каракозовым (а их было восемь!). Император гулял по летнему саду, и лишь вмешательство крестьянина Комиссарова (символично!) спасло жизнь царя. В итоге: благодарственные молебны по всей стране, патриотические манифестации на Дворцовой площади, аресты всех причастных к покушению. Закрытие журналов «Современник» и «Русское слово». Начало отхода от политики реформ. Важные правительственные посты занимают консерваторы, например, министром народного просвещения назначен граф Д. Толстой, бывший обер-прокурор Священного Синода. Этого добивались, господа?

А последнее покушение на царя-освободителя, оказавшееся для террористов «удачным», оставило Россию без Конституции, так и оставшейся лежать

неподписанной на рабочем столе императора, фактически «единственного в России европейца».

Тогда группа выпущенных из крепости студентов составила план для всех желающих слушать полный курс, а несколько профессоров во главе с Костомаровым согласились читать лекции безо всякого вознаграждения за свой труд. Таким образом, сам по себе возник новый, совершенно свободный университет, открытый для лиц обоего пола всех званий и без всякого официального начальства. Лекции читались в Большом зале городской Думы.

Либералы же способны не только ломать людей под свою идеологию (вседозволенность), но, проявившись достаточно в обществе и создав определенный «градус», немедленно начинают отчаянную борьбу с религией. Любую другую «веру» они не допускают. А их хватке позавидовали бы и большевики.

Так было и во времена Костомарова. Он вспоминает, что как-то после Святой недели к нему явилась странная делегация с требованием объяснить то, что они видели его в день Великой Субботы прикладываящимся к плащанице и причащающимся святых тайн: «Как вы, читающий лекции, пропитанные свободными воззрениями, можете с таким уважением относиться к церковным обрядам, свойственным необразованной толпе?» На что Костомаров ответил: «Если вы, господа, сторонники свободы, то научитесь сами уважать ее для тех мнений, которые вам не нравятся и которых вы опровергнуть положительно научным способом не в состоянии».

Лекции Костомарова имели чисто научный характер, где не было и следа какого-либо либеральничания, что и возмущало верховодов протестующих. Возмущало их и нежелание прекращать лекции даже после ареста Павлова. Это как сегодня: «Почему Хаматова говорит не так, как надо?»

А однажды дело дошло до открытого конфликта. 9 марта, как только Костомаров взшел на кафедру, один из студентов заявил ему, что Костомаров остался единственным из профессоров, кто противится прекратить чтение лекций. А поэтому пришлось принимать соответствующее решение при свисте и выкриках. И русский ученый-историк и, главное, гражданин принял его. Давши время аудитории успокоиться, Костомаров сказал: «Крики и свистки меня не огорчают. Я служу науке, высоко ценю всякую свободу мнения и подчиняюсь только законным действиям, но я не могу сочувствовать этому псевдолиберализму, который пытается насильствовать совесть и убеждения других». Выходил Ко-

стомаров из аудитории также при сплошном гуле, однако в нем преобладали одобрительные голоса и овации.

К Костомарову приезжал даже Н. Г. Чернышевский, но уехал рассерженный, сказав, что постарается «это» решить у министра и генерал-губернатора. Действительно, через несколько дней Костомаров получил от министра извещение об «этом» (прекратить лекции), хотя так и осталось неизвестным, была ли здесь какая-либо роль Николая Гавриловича.

Набирающий силу либерализм всегда отрицательно влияет на устои семьи – основу нации. Это хорошо видно сейчас на примере Европы, да и у нас уже становится настоящим бедствием.

И тогда заболевшая либерализмом российская молодежь очертя голову бросилась в кружки, создавать коммуны, где брак не поощрялся из-за его отсталого эгоизма, когда всем захотелось жить одной большой семьей, где девичьи переходили бы от сожития с одним к другому. В эти последствия всегда и выливается либерализм. Если для доброй цели позволить дурные средства, то сама добрая цель превращается во вредную.

Так на почве либерализма у нас в России и зародилось протестное движение, в итоге запутавшее народ. Возникшее на естественном стремлении к лучшему, оно постепенно выродилось в «У нас все дурно!»

177

Много дури шло с Запада, долго нашим либералам голову морочил Прудон, затем Ницше, да и своих «талантливых» было хоть отбавляй. Началось с Белинского, затем Чернышевский, Добролюбов, недоучившийся Писарев и масса других, косящихся на Запад, на новые «передовые» теории. Появились народовольцы, которых сами крестьяне сдавали властям, и, наконец, марксисты, отбросив все условности, призвали народ, а точнее «специфические» слои общества, к вооруженной борьбе с властью, а значит, к полному хаосу. Вот так безответственные и с виду безобидные либералы и породили в конце концов поколение безумных фанатиков, отважившихся проводить бесчеловечные эксперименты с целыми народами по «усовершенствованию» рода человеческого (а громадная страна целых 70 лет шла по пути, созданном в воспаленном сознании «вождей», появившихся в результате эволюционного развития либерализма). Не такой уж он безобидный – это либерализм.



**Юлия
СЫЧЕВА**

«ПРИТОМЬЮ» – 35 ЛЕТ

Выпустить книгу человеку пишущему сейчас легче легкого: например, за свой счет или за счет спонсора, для широкого круга читателей или же для себя и своих друзей. Безусловно, любому автору хочется облечь свои творения в переплет, подержать в руках книгу с собственной фамилией на обложке, вдохнуть свежий типографский запах, бережно перелистать страницы и перечесать знакомые строки.

Книги членов студии «Притомье», еженедельные четверговые занятия которой я посещаю уже несколько лет, в последнее время существенно пополнили мою книжную полку. Расскажу поподробнее.

Юрий Дмитриевич Дубатов, историк, учитель, прекрасный рассказчик и декламатор.

Первая книга его стихов и рассказов «Воркутянка» вышла в 2012 году. Причем сам Юрий Дмитриевич признается: «Я никогда не был в Воркуте... Дед наяривал нам на гармошке плясовую «Воркутянку»... Господи! Хоть бы на пару часов туда, в бестолковую юность...» И юность автора, с ее узнаваемыми приметами – люди, вещи, события, фотографии – оживает на страницах книги.

«ВОРКУТЯНКА»

*Помнишь, как плясали «Воркутянку»?
Половицы плакали в сеньях.
Вся душа раскрыта наизнанку,
Руки в засинелых якорях.*

*И тельняшки треугольник дерзкий
Под рубашкой в клетку – на груди,
Гул стоит, пьем самогон премерзкий.
Что, ребята, ждет нас впереди?*

СЫЧЕВА Юлия Валерьевна родилась в 1967 году в городе Мариинске Кемеровской области. Окончила математический факультет Кемеровского государственного университета. Работает менеджером оптовых продаж в Кемерове. Редактор поэтического сайта «Термитник поэзии». Ее стихи и статьи публиковались в мариинской районной газете «Вперед», журнале «Огни Кузбасса», коллективных сборниках. Живет в Кемерове.

*И девчонки милые навеки
В памяти останутся у нас.
Нам судьба сулила долголетье –
Отпустила мало про запас.*

*Не плясать нам больше «Воркутянку»
С выходочком в дедовских сеньях,
Полегли ребята на Афганской,
Разбросавши руки в якорях.*

Стихи для Дубатова необходимы как воздух, как хлеб.

*Этот хлопотный мир глухариной весны
Этот хлопотный мир глухариной весны
С колыбели сулит нам удачу.
Все, что есть за душой у косматой сосны,
Не жалея, я в песню растрочу.*

*Пусть туманы холстами в долине лежат
И сосна янтарем в землю плачет.
Для глазастой совы и ушастых зайчат
Все равно себя в песне растрочу.*

*Пусть всегда коршун в небе, как призрак, кружит
И луна над полями маячит,
А поэт о любви чепуху говорит,
Я для них себя в песне растрочу.*

175 *Для убогих и сырых, стремящихся жить,
С колыбели не знавших удачу,
Я стихами – как хлебом могу стол накрыть
И всего себя в песне растрочу.*

Как профессионал Юрий Дмитриевич обращается с историческими персонажами вольно, легко, его лирический герой запросто может встретить утро на Куликовом поле, а то и отомстить по-мужицки Дантесу за Пушкина. Одно из моих любимых произведений Дубатова посвящено Марку Шагалу.

*Колокол, звонящий по Шагалу
Летели коровы над Витебском,
Влюбленные рядышком плыли,
Над Витебском, милом мне Витебском,
Чтоб вы никогда не забыли.*

*Отдам все картины я Родине,
Взамен только б домик мне дали,
Под Витебском, милом мне Витебском –
И все трепетало в Шагале.*

«Еврей, да летает, да с вывертом...» –
Жестоко в ответ прозвучало.
Нахмурилось небо над Витебском,
И улочки вмиг закачало.

И сердце сжималось и плакало,
Другого оно и не ждало.
Под Витебском, милом мне Витебском,
Не встретите Марка Шагала.

Устные рассказы притомца Дубатова весьма занимательны и поражают вниманием к мелочам, деталям жизни и меткостью описаний, и я надеюсь, что Юрий Дмитриевич найдет возможность записать свои воспоминания, оформить их в литературные формы, чтобы целый пласт жизни не исчез во времени бесследно.

Николай Бацевич, шахтер, рабочий человек с поэтическим даром, ушел из жизни в мае этого года. Книга стихов Николая «Грудь забоя скорбно мироточит» вышла приложением к журналу «Огни Кузбасса» в 2013 году, и я рада, что Николай успел поддержать ее в руках, представить коллегам по «Притомью». Николай пишет в своей автобиографии: «Когда мне исполнилось 18 лет, спустился в угольную шахту. Подземный стаж – 30 лет, 20 из которых – забойный. Общий трудовой стаж – 45 лет, ветеран труда». Простым и доступным поэтическим языком рассказывает Николай о тяжком шахтерском труде, о молодости, о любви к родному Кузбассу, сибирской природе.

* * *

Помню, как мне в юности долдонил
Дед мой: «У шахтера краткий век,
От работы, внучек,дохнут кони,
А не то что божий человек!»
Не один пуд соли съеден мною
Был, пока осмыслил жизнь свою,
Оттого и годы сединою
Выкрасили голову мою!
Жизнь внесла большие перемены,
Мне напомнив дедова коня....

На-гора однажды после смены
Выдали помятого меня!
Видно зря мне в юности долдонил
Дед про наш шахтерский краткий век.
Жалко, что я поздно это понял....
И сегодня даже на ладони,
Вытянутой мной, не тает снег.

Елена Елистратова выпустила в 2012 году одновременно два сборника.

«Я придумала то, чего нет» – образная и трепетная женская лирика, ее строчки трогают тонкие струнки души:

Птицей встревоженной бьюсь о стекло неба,
Рыбкой потерянной бьюсь о стекло утра.

* * *

О косноязычие хрупкое лето сломав,
Закутавшись в непонимания старый платок,
Смотрю, как летят облака надо мною стремглав
На северо-запад, а может, на юго-восток.

Целостность мира лирической героини Елены складывается из кирпичиков-ощущений:

Ощущение потери:
То ли птицы улетели,
То ли давняя покинула печаль –
И знобит, как в лихорадке,
В разлинованной тетрадке
Буквы синие с наклоном резким вдаль.

Ощущение пространства:
Комнаты пустой убранство,
Стены между четырех косых углов –
Все измерено шагами
И записано стихами,
Но никак не разобрать и пары слов.

Ощущение начала:
Трап убрали от причала,
Старой пристани – последнее «прости»,
Путевой дневник на старте
И карандашом по карте
В край неведомый намечены пути.

Под обложкой сборника «Фрагменты городской мозаики» с посвящением «Городу Кемерово, соавтору и другу» Елена собрала четверостишия – наблюдения и размышления. Писать кратко невероятно трудно, слова должны быть предельно точны, фразы почти афористичны, а лишнее безжалостно вычеркнуто. По моему мнению, Елене эта задача удастся не всегда, иногда ее взгляд поверхностен, ему немного не хватает глубины.

СУББОТНИК

Песни другие. Другие мессии.
Блеск. Эгоисты и стервы в чести.
Но за отмытым фасадом России
Нужно, как прежде, мести и мести.

ЛЕТЕЧКО

Тучи мрачны, и ветер несносен,
Простужает изнеженных нюнь.

Это вам не московская осень,
А типичный сибирский июнь.

ГОРОД ВОСПОМИНАНИЙ

Там мечтают о будущем дети,
Там за каждым окошком уют,
Там из рук старика на рассвете
Крошки прошлого птицы клюют.

Мне импонирует серьезный подход Елены к писательскому ремеслу, на занятиях студии «Притомья» я наблюдаю ее кропотливую работу над содержанием и построением текста.

Борис Михайлович Устинов, полковник в отставке, пишет стихи не так давно, но на его счету два поэтических сборника, дружно вышедших в прошедшем 2013 году. Книга «Волнует жизни суть» издана на родине автора, в украинском городе Белая Церковь, книга «Я мысли предаю перу...» – в Кемерове. Символичны, на мой взгляд, названия сборников, Борис Михайлович – человек с богатейшим жизненным опытом, много читающий и размышляющий о жизни, о стране, о судьбах простых ее граждан – учителей, врачей, библиотекарей, военных, шахтеров.

Над Кузбассом, над Кузбассом
Солнце низкое садится,
Я теперь шахтер запаса,
Шахта мне ночами снится.

«Пишу стихи и в этом радость...» – признается автор. Стихи Бориса Михайловича непрофессиональны, не без огрехов, их трудно назвать совершенными по исполнению, но они искренни и честны, этим и подкупают читателя.

Еще раз об оркестре
Когда я слышу духовой,
Озноб бежит по коже:
Перехожу на строевой
И становлюсь моложе!
Срывая лист календаря,
Все чаще вспоминаю
Парад 7 Ноября,
Парад Победы в мае!..
Оркестр был со мной всегда:
На крассах, на разводе,
Как путеводная звезда,
И при любой погоде!
Уже – седой! Но каждый раз
Душа вся наизнанку,
И слезы вышибет из глаз
«Прощание славянки»!

Второй сборник стихов **Виктора Киселева** «Просто от души» увидел свет в 2013 году. В предисловии Виктор пишет: «В стихах предпочитаю выражать сложные темы, чувства простыми средствами, а не наоборот, как принято нынче в поэзии». Что же, подобный подход заслуживает уважения, поскольку не так легко, как кажется. «Я заразился словом», – уверен автор. Главная тема творчества Виктора – Родина, это и огромная наша страна, и маленькая сибирская деревня, и город – промышленный центр.

Уезжая, был я очень молод,
Повзрослел и понял только тут:
На износ нас проверяет город,
А в деревне на излом живут.
За свою работу мне не стыдно,
Но в деревне больше вес рубля:
Словно я за жизнь берусь с вершины,
Ну а ты берешься у комля.

* * *

За заводскою проходной,
Где нравы грубы,
Где небо с точностью мужской
Пронзают трубы,
На эстакаде заливной
Я задыхаюсь,
Не берегу я край родной
И не пытаюсь.
Здесь я плюю на красоту,
Гублю природу –
Я аппаратчик. Кислоту
Даю народу.
Рубли? Какие здесь рубли...
Расчет известен:
Кого отпели, отнесли,
Кого – без песен.
Я кашель утоплю в вине,
Заем таблеткой:
– Дай, доктор, доработать мне
По первой сетке!

Талантливого и яркого писателя **Ирину Тюнину** я искренне поздравляю с событием огромной важности: Ирина стала членом Союза писателей России. Ее новая книга с сомневающимся названием «Вроде жизнь» как приоткрытая дверца во внутренний мир лирической героини: полюбопытствуй, загляни, исследуй закоулки души, проникнись настроением.

* * *

Пока не веет зимней стужей
В лесу осеннем,
Уйти одной и слушать-слушать
Полвоскресенья,

Как лист шуршит на мокрой ветке,
Сжимая пальцы,
Чтоб устоять в порывах ветра
И не сорваться.

Сквозь ветви небо льдом синеет,
И лист ложится.
Придет зима любви сильнее,
Сильнее жизни...

Стихи Ирины можно читать без опаски наткнуться на небрежность: уровень мастерства поэта высок, язык легок, слог выверен.

* * *

Добрый гений! Молчите, молчите!
Жизнь и смерть сами выяснят спор.
Стоит слово сказать о кончине,
И подпишешь себе приговор.

С ползувка забрезжит дорога –
Столько тропок, что в сердце рябит,
До погоста спешат от порога
Сквозь кровавую горечь рябин.

И во взглядах седых фотографий
Проступают две нужных строки.
Не пишите себе эпитафий!
Нужно что-то оставить другим.

* * *

В потертых джинсах, рваных кедах
Вдыхает яблоневый цвет
И народившееся лето
Несет по городу поэт.

Блокнот. набросок карандашный.
Девичий профиль в две строки.
Зеленоглазая Наташа
В прикосновении руки

Вдруг оживет и встрепенется.
Восторг творца не передашь!
И юный гений улыбнется,
Покусывая карандаш.

И одуванчиковым пухом
Мгновенья ответ золотой....
Июнь. Перо заткнув за ухо,
Проходит Пушкин молодой.

Уверена, что члены литературной студии «Притомье» в будущем непременно порадуют читателей новыми интересными изданиями.

Я с нетерпением жду книгу **Ольги Яковлевой**. Веселые и острые пародии Ольги на произведения

кузбасских и российских поэтов неизменно радуют слушателей на занятиях нашей студии. Пародия Ольги «Путем Раскольникова» на известного писателя Игоря Волгина была напечатана в № 9 «Литературной газеты» за 5 марта 2014 года. По-моему, яркий талант Ольги как пародиста несколько затеняет талант поэтический, а у нее есть достойная лирика.

Хотелось бы прочесть книгу притомца **Сергея Чернопятова**, у которого, как говорится, «стих на каждый чих» или «утром в газете, вечером в куплете», так живо и непосредственно автор откликается на события в стране и мире. Сергей обладает умением сделать даже, казалось бы, далекое от тебя лично событие родным и близким.

Юный и несомненно одаренный Юрий Климанов, смело экспериментирующий со словом и заметно выросший как поэт в последнее время, вполне уже может составить сборник, который вряд ли оставит читателя равнодушным.

Хочу посоветовать коллегам, планирующим издание своих произведений, отнестись к подготовке книги со всей серьезностью. Это важная часть творчества писателя, огромный труд, требующий знаний, вдохновения, самодисциплины и самокритики. Автору необходимо взглянуть на свое творчество в целом. Слово напечатанное обладает некоей магической силой, приобретает законченность, неизбежность, ведь «что написано пером, не вырубишь топором». Рекомендую не экономить на редакторе и корректоре, чтобы не было потом стыдно за стилистические нелепицы и грамматические ошибки. Советую выбрать удобный для чтения шрифт, без излишних завитушек.

И помните слова строгого руководителя студии «Притомье» **Дмитрия Владимировича Мурзина**.

* * *

ад писателя – это лес,
срубленный для его публикаций.

сплошные пеньки до горизонта.

садишься на пенек,
а он тебе нашептывает
строки твои.

и на какой пенек не сядешь –
звучит что-то жалкое,
твое, но жалкое.

и ты мечешься
от пенька к пеньку,
ищешь дерево,
срубленное не зря.

ЧЛЕНЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ СТУДИИ «ПРИТОМЬЕ»

Юрий ДУБАТОВ

* * *

Березы червонцами-листьями сыпят,
По полной нам платят к зиме уходя.
И время хохочет встревоженной выпью
Под тихие всхлипы дождя.
Родник у тропинки, тальник облетевший
И легкая грусть на душе у меня.
Пока, ухожу свою песнь не допевший –
По золоту, чистому золоту дня...

* * *

Я не могу читать Хемингуэя,
Мне равнодушны африканские холмы,
Которые призывно зеленея,
Зовут туда, где никогда не будем мы.

Над всей Испанией безоблачное небо,
Шумит коррида, зверствуют быки.
Жаль, что в Мадриде никогда я не был
И не читал Вам Лоркины стихи.

Но у горящих стен Гвадалахары,
Я помню, что сражался... и убит.
И колокол испанской бронзы старой
По мне утрами тягостно звонит.

Я не могу читать Хемингуэя.

Юлия СЫЧЕВА

* * *

вроде в люди выбился из рвани
золотая карточка в кармане
мозговая косточка в борще
а проснусь весенним утром ранним
и страшит отсутствие желаний
и материальных и вообще

Монетка
Жизнь зависла, как монетка:
ни орлом, ни решкою.
Дышишь часто, пишешь редко,
ходишь пешка пешкою.

Вроде двинулся в ферзи –
тут же на попятную...
Место знай свое! Грызи
карамельку мятную

* * *

Такая шикарная осень!
Тепло, листопадно и сухо.
И офонаревшая муха,
Которую чудом заносит
Мне в дом, загудит паровозом,
Мой стол облетая, как остров,
Не зная, что где-то с морозом
Спешат ее белые сестры.

* * *

эти трепетные листья
эти темные стволы
ненаписанные письма
не отправлены увы

автор писем неизвестен
недоступен адресат
и усыпан ими весь мой
облетевший тихий сад

а когда настанет время
непрочитанное сжечь
сладким тленом мягкой прелью
прахом обернется речь

Елена ЕЛИСТРАТОВА

* * *

Шваль неприметная, голь безбилетная,
Кривда пылящих дорог,
Время лихое, тоска беспросветная,
Вольному – Бог и порог.

Степь бесприютная, дурь безрассудная,
Веры сухая стерня,
Ржа подколотная, мля беспробудная
Да воронья колготня.

Ветер – от края до края по полюшку,
Пьяной водицы глоток...
Ох, и раздольно здесь русскому горяшку!..
Всякому – вдоволь и впрок.

* * *

...Взять, к примеру, воздушный на ниточке
шарик:

Что он стоит – безделица, пшик, оболочка,
Только это, похоже, ему не мешает
Воспарить над обыденной жизнью. И точка.

Или душу отдельную взять для примера:
Тоже пшик или скрыта в ней искра святая?..
Но покуда цела оболочка из тела,
Что-то держит ее у земли. Запятая.

Виктор КИСЕЛЕВ

* * *

Уходит снова осень,
 Выплакав дожди,
 Оставив нам печаль
 Поры междусезонья.
 В подполье урожай,
 Притихшее подворье,
 И пусто на полях:
 Окончились труды.
 И в деревнях пора
 Играть большие свадьбы,
 И в огородах жгут
 Остатки от ботвы,
 И плачущий твой след –
 О чем он плачет, знать бы...
 Покроется слюдой
 До утренней звезды.
 Застывшая земля
 Ждет снежного покрова,
 И варят самогон.
 И мы еще на «вы».

* * *

Уж август. И дни холоднее,
 Туманы стоят над водой.
 Рябина стыдливо краснеет,
 Как будто обманута мной.

И ветер волнует осинку,
 Твердеющий лист тербя...
 Бреду я грибною тропинкой,
 А помню зачем-то тебя...

Николай БАЦЕВИЧ

* * *

В России добрые люди –
 почти всегда пьяные люди,
 И пьяные люди –
 всегда добрые люди.

Ф. М. Достоевский

А я весну встречаю чаркою,
 Сегодня, видит бог, напьюсь.
 И побеседую с овчаркою,
 И с нею бражкой поделюсь!
 Сегодня море по колено
 Мне будет, Боже, что со мной!
 Какая в жизни перемена
 Пришла мне нынешней весной!
 И я пускаюсь в медитацию,
 Всем до свидания, пока.
 Вооружившись левитацией,

Я поднимаюсь в облака.
 Вот подо мной лежит объятая
 Та необъятная луна.
 Мне даже сторона обратная
 Совсем отчетливо видна.
 О, это чудное мгновение,
 Что я меж звездами лечу,
 Какое сердцу вдохновение, –
 Что мне любое по плечу!
 Вдруг слышу – лай овчарки мается,
 И что-то голос не понять,
 Меня жена смеясь пытается
 Из будки пьяного достать!

ДЕПУТАТАМ

Надоели вы все нам,
 Правду скомкав искомую,
 Вы, беременны сеном,
 Разродились соломой!

* * *

Ну, здравствуй, сытая Москва,
 Где много «зелени» и «света»,
 Салонной праздности поэта,
 И где кружится голова!

Здесь собираются на вече
 Судить о боли нашей вечной:
 Кто виноват и в чем причины,
 Все те же сальные мужчины.

Нас убеждают в темпах роста,
 Мы «у заветной у черты».
 Растут в России на погостах
 Лишь деревянные кресты.

Ольга ЯКОВЛЕВА

...И посчитать, что ты поэт,
 В каких-то сорок девять лет...

Олег Власов**МАЛОЛЕТКА**

Я числю жизнь свою веками, –
 в полвека – детства лишь рассвет,
 я в люльке стал вопить стихами
 в каких-то сорок девять лет.

Еще не высохли пеленки,
 и с губ не сходит молоко,
 но тянутся к перу ручонки,
 пишу, как писаю, легко.

И как-то в детском саде летом,
 в песочнице оставив след,
 я объявил себя поэтом
 в неполные полсотни лет.

* * *

...Россиянин – а пьяный,
как русский! –
поскользнулся, и –
мать-перемать!..

С. Филатов

Раз пришел я в село тропкой узкою,
удивлен был аж первому встречному:
россиянин, а морда-то русская,
да и шпарит на русском наречии!

Россиянин, а в гости меня пригласил
и, как русский, свой дом мне показывал,
россиянин, а ведь самогоном поил
да про жизнь все, как русский, рассказывал!

Россиянин, а ел щи капустные
да назвался толь Петей, толь Пашею,
россиянин, а пьяный, как русский, он
да еще матерится по-нашему!

Видно этим своим удивлением
показался я странным селянину,
он, как русский, зачем-то с поленьями
долго гнался за мной, россиянином!

Ирма ГОРТЕ

* * *

Этой дивной, тихой ночью
Одному тебе не спится.
Знаю, ты скучаешь очень.
Я хочу тебе присниться.

Я надену голубое
Тонкое белье из ситца.
Ты представь, что я с тобою,
Я смогу тебе присниться.

Нежных губ прикосновенье
Сладкой дремой на ресницах.
Спи, любимый, на мгновенье
Я могу тебе присниться.

* * *

Ветра-странника дыханье
Растревожило мне душу.
Я давала обещанье,
А сейчас его нарушу.

Вторят ветру неустанно
Разговорчивые птицы.
Знай, сегодня я не стану
О судьбе твоей молиться.

Сумерек закрылись двери.
Ночь длинна. И вновь светает.
Я ушла. И боль потери
Утихает...
Утихает...

Борис УСТИНОВ

О ЧИНОВНИКАХ

Когда встречаю на пути
Источник мути,
Все время хочется дойти
До самой сути.

Сам – не богат, не средний класс –
Седой полковник.
А за чей счет живет у нас
Простой чиновник?

Откуда вилла у него,
Дом на Рублевке?
А у меня – нет ничего,
И мне неловко

Перед женою и детьми,
И перед тещей.
Какой покой, о мон ами!
Тружусь как лошадь!

О, если б избиратель знал,
Хотя б отчасти,
Какой заманчивый штурвал
Дается власти!

И каждый хочет порулить
За счет народа,
И власть свою употребить
До небосвода!

Перед глазами каждый раз
Одна картина:
Живет чиновник лучше нас.
А в чем причина?

Александр ЛОПАТИН

ШАХТЕРЫ – ГЕРОИ КУЗБАССА...

Я вижу из окна, как надевая каски,
Не веришь – подойди и посмотри,
Как витязи российские из сказки,
Идут в забой мои богатыри.

Там умная помощница-машина
Пласт угольный клыками весь порвет.
Прекрасные достойные мужчины,
Сердечный героический народ.

Простые компанейские ребята,
Воспитанные славой трудовой,
Вы с храбростью и выдержкой солдата
В заботе идете, словно в ратный бой!

Максим ВЕРЕМЕЙЧИК

* * *

Город в промозглом продрог межсезонье,
С осенью рвется тонкая связь.
Слышатся в небе крики вороньи,
Да под ногами чавкает грязь.

Быстро шагает, сутулясь, прохожий,
Ветер к нему под одежду проник –
Стылыми пальцами шарит по коже,
Лезет в карман, распахнул воротник.

Тополь скрипит... ему, видимо, зябко,
Лист одинокий с ветки упал.
Грезится тополю теплая шапка,
Шарф шерстяной и глинтвейна бокал.

В сумерках слились с землей перекрестки,
Высятся хмуρο вдоль улиц дома.
Город покрыв слоем снежной известки,
Ночью глубокой явилась зима.

* * *

Замер зимний лес во мраке.
Воцарилась тишина.
Кедры примеряют фраки
Белоснежного сукна.

Мрак деревьев очертанья
В стену слил на сотни верст,
В небе – яркое мерцанье
Крупных и холодных звезд.

Вмерзла в землю неба кромка,
Выплыл диск Луны рябой.
Над притихшим лесом громко
Потянулся волчий вой.

В небо темное взмывая,
Плыл к Луне печальный стон.
Голосила хрипло стая,
Сонных всполошив ворон –

То отчаянно, то злобно...
Мертвый свет сводил с ума.
И казалось, воет словно
На Луну во тьме зима.

Юрий КЛИМАНОВ

СОНЕТ

Сегодня понял я: бессмысленны слова,
Глупы, раз нет среди них такого слова,
Которое лишь вспомнилось – и снова
В восторге бы кружилась голова!

Такого, от которого б новá
Зажглась в глазнице жизни мысль былого;
Сегодня понял я, что нет такого слова
Теперь и что безжизненны слова.

Тогда достал я новую тетрадь
И белый лист – как юность мира, белый –
Я стал чернилами, как космосом, марать –

Слова, как первые петроглифы, писать,
И понял я: слова не отгорели –
Их надо создавать, как раздувать!

* * *

152
Хоть и не умер я, но высохли глаза
И пылью грязною осели на глазницах,
И приобщается лицо мое к тем лицам,
Которыми полны пустынные гробницы
В Египте времени, и где гробницы зал
Наполнен пылью, и песком эпох, и тленьем;
Я в саркофаге там, иссохшим ртом пыль ем я.
Я – мумия и тлен, я – прах своих костей,
Короче – человек! Я – КАЖДЫЙ из людей
В конце их всех. Уже я не страдаю жаждой:
Я – пыль. Скажите, мне нужна ли гениальность?
Не умер – потерял я индивидуальность.
И потому я – труп меж трупами. Иссох
Язык мой, вышел весь из тела свежий сок.
В гробнице времени лежать – о, как банально!

Анатолий КАСАТКИН

ХОР ВЕТЕРАНОВ

Хор ветеранов дружно пел,
В стекло в испуге муха билась.
И накопилось децибел –
И под припев окно открылось...
И песня вырвалась в окно –
И на аллеях ноты сеет...
А на висках здесь серебро...
Ведь только песня не стареет.

АМОРАЛЬНАЯ

Весь день страдаю, не грешу,
Изжогой, опыта издержкой.
А вечером я к ней спешу...
За аморальной поддержкой.

СОННАЯ

*Во все века смыкают веки
Ночные сны, ночная рать.
Сон притаился в человеке...
Сон – тренировка умирать.*

Галина КОРОГОД

* * *

*Запоздалая встреча эта
Может радость нам подарить.
Я не верю вроде в приметы,
Но боюсь о любви говорить.
Расставаясь, иду с улыбкой,
Радость встречи боюсь расплескать.
Счастье кажется призрачным, зыбким,
И нет слов, чтоб о нем рассказать.*

Сергей**ГОЛУБОЙ КОНВЕРТИК**

Ура. Я дипломант. Канун Нового года, и лучшего подарка к сказочному празднику нельзя и придумать, чем звание лауреата литературного конкурса.

Рамочка со значимыми словами внутри украшает теперь стену моей комнаты. Вошедшая внучка, второклассница Арина, примеряет рядом свой диплом об отличном окончании полугодия, вынимая из конверта премию от губернатора. И когда «лауреатство» моей малышки оказывается размером побольше, я парирую это своим голубым конвертом, в котором материальная награда, хоть и не намного, но превышает сумму круглой отличницы. Вот так мы и резвимся. Малый и старый. А если честно, то эта игра, как не крути, всегда в одни ворота. Потому что я дипломант впервые на рубеже шестого десятка лет. В то время как стены внучкиной комнаты чуть ли не с ясельного возраста украшают разные дипломы. Но оттого я еще острее испытываю радость от запоздалой оценки моих заслуг.

А самое главное, я сижу за одним праздничным столом с такими замечательными людьми, с которыми в обычной жизни сроду не довелось бы встретиться, это и есть, как мне кажется, основная награда, которую нельзя измерить купюрами или повесить на стенку. Эту награду можно только ощущать, находясь в кругу удивительной компании, где люди понимают тебя с полуслова, а ты затаив дыхание будешь ловить каждую мысль сидящих рядом. Собратья по перу будут произносить великолепные тосты, читать волнующие сердце стихи. Аплодировать друг другу. И ты будешь понимать, что не все еще потеряно на этой земле и разговоры о том, что мир проваливается в тартарары, яйца выеденного не стоят. Проснется, как всегда, добрая моя память,

и я вновь пробормочу так восхитившие конкурсную комиссию слова.

О САМОМ СЕБЕ

*От всех компьютеров и СМС сбежал,
Избу над речкою с песочком отыскал,
Но понял вдруг сквозь пенью третьих петухов,
Что нить порвать со внешним миром не готов.*

*Иду в сарай – привычно выгребать навоз –
Я вновь под новости из мира кинозвезд.
Держа на вилах ароматный теплый груз,
Мне грустно думать, что разводится Том Круз.*

*А глаз коровы вести спорта отразил.
Я зря с рассветом, видно, радио включил,
И получил – команда старости моей
Из европейских изгоняется полей.*

*А по программе сельской – пенью летних птах
И стрекот радостных кузнечиков в лугах,
Июльский гром, что щедро дарят небеса...
И тот заткнуть не в силах вражьего голоса.*

РАЗВЕ ЭТО СТИХИ?

«Читая очередное стихотворение начинающего автора, всегда задаешься вопросами: «А любит ли он литературу? А знаком ли он с классикой? И если знаком, то почему это никак на него не повлияло? А если еще добавить незнание предмета, о котором повествуется. О чем все-таки пишет поэт?»

«От всех компьютеров и СМС сбежал»... А он, похоже, никогда и не сидел за компьютером, чтобы с такой легкостью вещать нам о своем побеге. «Не верю!» – воскликнул бы Станиславский и был бы тысячу раз прав. Сплошь безобразные, а по сути, безобразные строки, ходячие штампы: изба над речкой, пенью третьих петухов, стрекот кузнечиков в лугах, июльский гром – все это бедные краски, набившие оскомину, рисующие якобы деревню, в которой (есть подозрение) поэт никогда не был. Да его и не видно, этого любителя сельской жизни. Словно человек-невидимка берет вилы, чистит коровник, слушает радио и соперничает. Надуманность ситуации поражает своей примитивностью. Казалось бы, проще всего выбросить эти вражьи голоса на свалку, так нет же! С твердолобой настойчивостью литературный герой получает ежедневную порцию печалей и грусти, без которой он в своем навозе окажется, как в вакууме. Обо всем этом и стихотворение-однодневка, потому что завтра будут спрашивать: «А кто такой Том Круз? А что за команда изгонялась из европейских полей и какое отношение она имеет к нашим чемпионам мира?» Говорилось и не раз: «Можешь не писать – не пиши». Мир нисколько бы не обнищал, если бы не получил

этого откровения от начинающего автора. Дарование его, будем надеяться, все-таки проявится, пусть даже в самом отдаленном будущем».

...И благодарный поэт обласкал взглядом голубой конвертик на стене.

ПОЭТ ПРОТИВ МАМОНЫ

«Порадовало новое стихотворение одаренного автора:

*«Держа на вилах ароматный теплый груз,
Мне грустно думать, что разводится Том Круз».*

Две строки как две галактики на разных концах Вселенной, между которыми, казалось бы, нет ничего общего. С одной стороны известный голливудский киноактер-миллионер. С другой – простой сельский мужик, у которого все богатство – это корова и все, что от нее исходит для желудка и огорода. Две строчки, написанные, как всегда, с легкой иронией. А сколько смысла внутри! Весь мир якобы должен знать, и в частности сельская глупинка, что какой-то там Том расстается с женой, и первая мысль у человека, чистящего коровник, это: «Эх, мне бы его заботы! Когда по причине засухи урожай зерновых предвидится лишь на треть. А запасы сена на зиму оставляют желать лучшего».

Где найти силы для сострадания? Поэт, иронизируя над собой, знает, что кинозвезда совершенно не ждет сочувствия от землянина, живущего по другую сторону планеты. А он сопереживает! Что ж... если чувство сострадания впитывается с молоком матери, подкрепляется правильными книгами в юношеском возрасте, значит, и радионовость звучит по адресу.

Свежестью веет от строки «Команда старости моей», переключаясь с давно известной «Командой молодости нашей». Эта фраза звучит особенно емко в свете последних событий на Европейском чемпионате по футболу. Заканчивает поэт стихотворение до боли знакомыми с советских времен «вражьими голосами», которые раньше довольно успешно глушили. Но в данном случае это не срабатывает.

*«Июльский гром, что щедро дарят небеса...
И он заткнуть не в силах вражьего голоса», –*

признается автор с горечью. Потому что даже силы природы становятся бессильными перед властью Мамоны, сдавившего своей удавкой все истинно ценное на нашей земле».

...И поэт стыдливо обласкал взглядом голубой конвертик на стене.



Елена ТРУХАН СЕРДЦЕ ШАХТЕРА

Около пяти лет назад перестало биться сердце поэта-шахтера, человека необычной судьбы Александра Ивановича Курицына. Почетный работник угольной промышленности, член Союза писателей России, ветеран труда, самой весомой наградой он считал искренние отклики и признание читателей. Почитатели его таланта, в полной мере ощутив историческую достоверность и открытость, добро-сердечность и житейскую мудрость поэтических строк Курицына, нарекли его «летописцем шахтерской жизни».

...Сердце писателя остановилось в здании «Беловошахтострой», куда он заглянул, чтобы справиться о финансировании своего очередного сборника стихотворений и рассказов, треть из которых традиционно посвящалась горняцкой жизни...

«ДРЕВО ЖИЗНИ МОЕЙ»

Будущий шахтер и литератор родился в Алтайском крае, «в 1939 году в крестьянской семье в крошечном поселке, затеряншемся в бескрайней Кулундинской степи». Отца своего Ивана Андреевича он не помнил: родитель погиб при защите Ленинграда в 1942 году, когда мальчику было всего три года. Семерых детей, шестым из которых был Александр, в одиночку воспитала мать Татьяна Степановна.

Окончив в 1958 году горнопромышленную школу в Таштаголе, А. И. Курицын начал работать старшим буровым рабочим в Беловской геолого-разведочной партии, но вскоре сделал выбор в пользу угольной отрасли. Попастъ туда было непросто: у новичка-шахтера еще в детстве был диагностирован порок сердца. Тем не менее он не спасовал перед трудностями и стал успешно осваивать горняцкие профессии – проходчика, горного мастера, начальника участка, начальника погрузочно-технологического комплекса, горного диспетчера – на шахтах «Бабанаконская», «Пионерка», «Западная», в ОАО «Беловоуголь».

Работая на земле или под землей, он никогда не давал себе поблажек, выкладывался в полную силу,

и организм внезапно дал сбой, сердце не выдержало интенсивных нагрузок...

«ТЕПЕРЬ НАС МНОГО, ТЕХ, ЧТО ДВАЖДЫ РОДИЛИСЬ»

В 42 года А. И. Курицын попал на операционный стол: перенес сложнейшую операцию – шунтирование и протезирование сердечного клапана. Спас ему жизнь известный кемеровский кардиохирург, ныне академик РАМН и член правления Всероссийского научного общества кардиологов Леонид Семенович Барбараш, которому позднее исполненный благодарности пациент посвятил проникновенные строки:

*Да разве только мне он дал вторую жизнь?
Теперь нас много, тех, что дважды родились.
Он в каждого вложил часть сердца своего,
И каждый был готов молиться на него...*

Об этой стороне своего бытия Александр Иванович сильно не распространялся. Как живет человек с искусственным клапаном в сердце, знали только самые близкие люди. Он же всего через год после этого вновь встал в рабочий строй, вернулся в шахту начальником техкомплекса, а потом перешел на должность горного диспетчера. Это был неординарный случай в медицинской практике: после таких операций не то что спуститься под землю, вернуться к работе сложно. Но Курицын не видел себя без «подземного братства», а про здоровье даже пошутил в одном из интервью: «В 1981 мне сделали операцию на сердце, влили много чужой крови, наверное, была и кровь человека творческого».

«Я ШАХТЕРСКОЙ СУДЬБОЮ ЖИВУ»

Так или иначе, но первые его стихотворные строки возникли внезапно, в конце 80-х годов, как отклик на чужую боль – землетрясение в Спитаке, настолько беда потрясла душу. Позже стали появляться лирические размышления о нелегком труде шахтеров, «думы о России». И немудрено – в «лихие девяностые» реструктуризируемую угольную отрасль тоже трясло: шахтерские забастовки и голодовки, стук горняцких касок о столичный булыжник, стихийно организуемые стачкомы, забастовочный азарт от первых побед за свои права...

Сначала лирика Курицына публиковалась на страницах местных изданий: «За уголь», «Беловский вестник». Потом – в центральных газетах «Труд» и «Угольный крик», отраслевом журнале «Уголь», профсоюзной газете «На-гора», одном из ведущих российских журналов «Наш современник». Его произведения читались и запоминались легко, потому что все написанное было с болью пережито автором, выстрадано сердцем.

Слово кузбасского поэта Курицына звучало на шахтерских митингах и собраниях, шло к своему читателю со страниц специализированных изданий. Так, стихотворение «По одному и кучкою идем мы за получкою» было опубликовано в спецвыпуске всероссийской газеты угольной промышленности «На-гора!», раздававшейся пикетчикам-шахтерам около Белого дома в Москве.

Проработав в угольной промышленности почти 45 лет, Александр Иванович более двадцати из них одновременно занимался литературным трудом. За этот период он подготовил к печати и издал несколько книг: «Думы о России» (1995), «Стихотворения» (1998), «Я болею тобой» (1999), «Все, чем живу» (2003), «Давай поговорим» (2007), новый литературный перевод «Слова о полку Игореве» (2008). Все они увидели свет благодаря спонсорской поддержке администрации города Белово, углепрофсоюза, крупных угольных компаний, отдельных шахт и разрезов, ЦОФ.

Без преувеличения можно сказать, что досконально изученная им, глубоко прочувствованная, всегда беспокоящая «шахтерская» тема дала старт литературному пути Курицына. Она стала сквозной для всего творчества; темой, позволившей самоопределиваться, возрасти, стать узнаваемым. В Кемеровской области и России в целом Александра Курицына знают именно как шахтерского поэта.

«Я не просто пишу о шахтерах, я шахтерской судьбою живу», – откровенно признавался он, подчеркивая тем самым идею непрерывного превращения образа жизни шахтера в образ мысли поэта. Именно ему, поэту-шахтеру, суждено было найти и сказать читателю то честное, простое, искреннее, понятное и справедливое «горняцкое» Слово, которое так долго ждали. Слово, которое подчас не могут подобрать рядовые угольщики, не искусственные художественными изысками, и которое ускользает от столичных сочинителей, понаслышке знакомых с «шахтерской» темой:

*...В мученьях умирают шахты.
Съедает ржавчина копры,
И смрадом запустенья пахнут
Околоствольные двory.
Как остывающую лаву
Затягивает грязный шлак,
Шахтерскую былую славу
Забвенья покрывает мрак...*

Лирический герой Курицына не только делится с нами собственными мыслями и ощущениями по какому-либо поводу, он выдает на-гора главную идею «хора» – типическое общественное мнение подземников, подчас – сокровенное и мучительное. Он выражает коллективный взгляд, и в какой-то опреде-

ленный момент начинает казаться, что его лирическое «я» становится «мы»:

*Опять (уже в который раз) бастуем.
Вновь стукнул кулаком рабочий класс.
Правительству условия диктуем.
Оно (в который раз) плюет на нас...
...Шесть месяцев с протянутой рукою
Вымаливаем кровные гроши.
Полгода с безнадежною тоскою
Глядят на сласти наши малыши...*

Изначальная позиция сопричастности всему, необыкновенное слияние с горняцким коллективом позволили творениям А. И. Курицына достучаться до многих сердец. Об этом на 65-летнем юбилее Александра Ивановича председатель Беловской территориальной организации Росуглепрофа А. Н. Кирдянов сказал: «Я не знаю другого поэта, которого бы так любили и даже цитировали шахтеры. Гордимся тем, что стихи Курицына знают не только в Кузбассе, но и Донбассе, Ростове, Воркуте».

В свою очередь, поэт был убежден, что «чумазый» «удивительный народ» достоин самых высоких оценок. Писал он о нем по зову сердца, тепло и задушевно, ничего не приукрашивая:

*...А ты идешь, размеренно шурша
Замызанной брезентовою робою.
Она, как панцирь, а под ней душа
Мятежная, ранимая и добрая.
Суровая, как и твоя судьба,
Которую ты выбрал по призванию,
Где каждый божий день идет борьба
За хлеб насущный и за выживание...*

Особенно ценным для А. И. Курицына было ощущение ничем не заменимого горняцкого содружества, где каждый «за друзей пойдет в любой завал». Вполне конкретными, будничными реалиями наполнились в его художественном мире понятия, ставшие почти метафоричными: «шахтерский характер», «шахтерская доля», «шахтерская работа», «шахтерская судьба»...

*Нас позвало в забой не богатство.
Нам судьбою иное дано.
Мы – шахтеры, подземное братство,
В трудный час мы всегда заодно...
Потому что такая работа
И характер шахтерский такой,
Что не «киснет» от боли и пота,
А искрит, как гранит под киркой.*

Литературная мастерская Александра Курицына начиналась не за письменным столом, а под

шахтовой арочной крепью, на горной выработке. Его многогранная натура словно питалась из недр, глубинных источников кузбасских разрезов и шахт, но, изведав вкус и запах подземелья, с особенной силой стремилась к свету, воздуху, «голубому шатру» небес, зеленой траве. Почитатель его таланта беловчанин А. А. Сторожилов, поддержавший в свое время выход первого лирического сборника «Думы о России», легко и емко охарактеризовал эту главную черту творческой лаборатории поэта:

*Стихи писали пóтом
Под скрежет рештаков,
С соленным анекдотом,
Под хохот мужиков...*

Страницы, сочиненные шахтерским пóтом, оценили многие кузбасские поэты: Борис Бурмистров, Сергей Донбай, Владимир Иванов, Любовь Никонова, Виктор Коврижных. Приметил их и известный литератор Гарий Немченко. Листая однажды страницы специализированных отраслевых издания в территориальном комитете профсоюза угольщиков, он обратил внимание на малоформатную газету «Нагора», на первой полосе которой было опубликовано стихотворение «Нежданная война». Писателя искренне удивили «справедливость суждений, точность оценок», и он приложил все усилия для розыска автора и встречи с ним.

Затем последовал строгий отбор произведений Курицына для спецвыпуска роман-газеты «Лава» (1995), посвященного горнякам Кузбасса. Семь стихотворений, предложенных шахтерским самородком для печати, были опубликованы практически без редакторской правки. А потом последовало множество читательских писем с просьбой обширней и глубже познакомиться с творчеством и жизнью беловчанина.

Так случилось, что Гарий Немченко написал предисловие ко второму сборнику Курицына «Стихотворения» (1998). Оно стало своего рода профессиональным «благословением» – рекомендацией для вступления в Союз писателей России. В предисловии Гарий Леонтьевич образно определил духовное предназначение собрата по перу: «А где-то вдалеке от сверкания ложных огней и звуков чужой музыки, над измученными полуживыми рабочими городами и поселками пробивается тихий свет неугасимого творчества, которое и есть тот самый Дух, который «дышит, где хочет»...

«ДУШИ РОССИЙСКОЙ ПРОСТОТА»

Творческий «Дух» кузбасского самородка «дышал» не только поэзией, но и музыкой. Родные и друзья А. И. Курицына до сих пор вспоминают о его

незабываемом, хорошо поставленном, не требовавшем никакого аккомпанемента голосе, о его мелодическом слухе. В детстве, когда дружная семья Курицыных собиралась за столом, было принято петь песни с подголосками, в сопровождении гитары. Страсть к пению сохранялась и в молодые годы: когда при Домах культуры работали хоровые кружки, Александр Иванович посещал сразу два. Он был участником агитбригады, пользовавшейся необыкновенной популярностью у сельского населения. Участие в ней позволяло напрямую выйти к слушателю, представить эпиграммы, памфлеты, частушки, басни, сатирические куплеты собственного сочинения.

Тонкий музыкальный слух никогда не подводил Александра Ивановича. Его перу принадлежат десятки лирически-взволнованных произведений, которые привлекали и привлекают внимание композиторов. Итогом творческого союза с несколькими из них стали 17 песен, звучащих сегодня в разных уголках Кузбасса: «За нас, шахтеры!», «Ода городу», «Вальс при свечах», «Добрый день, беловчане!», «Шахтерская судьба», «Осень», «Дружина» и др. Необычайный успех выпал на долю песни «Где ж вы, соколы мои...», созданной в 2005 году совместно с композитором, аранжировщиком и исполнителем Салаватом Хайдаровым.

757

Курицын писал не только стихи, но и пробовал силы в малой прозе. Известны его бесхитростная история о старой дворняге, умирающей на заброшенной шахте от тоски по ласковым горняцким рукам («Борька»); «портрет с натуры» начальника очистного забоя – «вездесущего» Ю. Б. Манского, будто списанный с шахтерских анекдотов («Юрий Борисович»); юмористический рассказ о водителе электровоза Котьке, совершающем крутые пики на похмельном «автопилоте» («Пропавший машинист»)...

Благодаря литературному дару Курицына передаваемые из уст в уста горняцкие байки переплавились в авторский художественный рассказ. Они трепетно хранили отточенный за годы общения с шахтерским братством тонкий юмор («шутки солони, как едкий пот на до пупа расстегнутой рубахе») и знаменитую «подначку», остроту, сказанную не в бровь, а в глаз, бытовой анекдот или курьезный случай.

Одно из прозаических творений Курицына – «Пусть они вернуться живыми» – стало импульсом для создания фильма. Эта работа Краснобродского телевидения, раскрывающая особенности жизни покорителей недр, в 2006 году на областном конкурсе журналистских работ была признана лучшей.

«И НЕ УТРАТИВ СИЛЫ СЛОВА...»

Видимо, Бог защищает и хранит непорочных сердцем, а не только посылает им суровые испыта-

ния. Спустя много лет после операции Александр Курицын встретился со своим спасителем-доктором и услышал искренне-удивленное:

– Ты до сих пор еще живой?!

Да, после операции поэту-шахтеру суждено было прожить еще 27 земных лет, щедро отдавая людям душевное тепло, стать членом Союза писателей России и примерить звание переводчика легендарного и загадочного «Слова о полку Игореве».

Новая переводческая версия памятника древнерусской литературы, осуществленная Курицыным, была опубликована в альманахе «Огни Кузбасса» в 2004 году. При подготовке ее он глубоко изучал источники: оригинальный текст повести, «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина, «Историю Российскую» В. Н. Татищева, труды Д. С. Лихачева, переводы повестей о походе Игоря по Ипатьевской летописи, а также авторские переводы, исполненные предшественниками: В. А. Жуковским, А. Н. Майковым, Н. А. Заболоцким, В. И. Стеллецким, Л. И. Тимофеевым и др.

В черновике своего предисловия к «Слову...» кузбасский переводчик отвечает на вопросы о том, почему оно привлекает его со школьных лет, на какие грани он делает акцент в новой версии перевода:

«...Главным в «Слове» было и есть поныне – это стремление русского народа к единению, к спокойной жизни без распрей и войн. Я хотел обратить внимание юных читателей на то, к каким печальным последствиям ведут междоусобицы, раздоры. Ярким примером этому может служить история современной России...».

По приглашению Кемеровского государственного университета Александр Курицын принял участие в Международной конференции «А переводчик может...». На этом научном форуме, объединившем представителей ведущих университетов России, Франции, Китая, он презентовал свою версию пе-

ревода и получил высокую оценку экспертов и специалистов-филологов...

«Я ЗАСЕВАЛ ЭТО ПОЛЕ ДОБРОМ»

За несколько лет до смерти Курицын завершил работу над детской книгой, посвященной, что знаменательно, угольной промышленности нашего края. Готовилась она по заказу кемеровского издательства «Кузбасс» и в доступной форме повествовала о специалистах-угледобытчиках, обогатителях. В основу издания были положены личный опыт, воспоминания и общение с ветеранами-угольщиками. Тема эта для бывшего шахтера, более 30 лет проводившего непосредственно под землей, была близка и понятна. При этом Александр Иванович не скрывал, что многое все-таки приходилось изучать дополнительно. Поэтому в процессе подготовки издания не стеснялся выезжать на производственные предприятия, знакомиться с современным оборудованием, новыми технологическими процессами.

Этот литературный труд пока еще является рукописью. Хочется верить, что когда-нибудь он увидит свет и все-таки достигнет до сердец современной молодежи.

«ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД...»

Имя Курицына стало знаковым на его Родине. Для увековечивания его памяти в августе 2011 года в Белове была торжественно открыта мемориальная доска. Уже выпущен сборник публикаций о его литературной деятельности, буклет, биобиблиографический указатель, открыта литературно-музейная экспозиция в библиотеке.

Сердце поэта, безраздельно отданное Кузнецкой земле, продолжает биться в его многочисленных произведениях, в статьях и очерках о нем, в душевных песнях, в нашей памяти...

г. Новокузнецк



**Елена
ЧАЗОВА**

ТАКАЯ НЕПОВТОРИМАЯ ЖИЗНЬ

*Моя душа чиста,
как блеск в алмазе,
И мысль моя, как солнца луч,
светла...*

А. Гапоник

27 сентября 2013 года ушел из жизни талантливый юргинский поэт Антон Гапоник. Он родился в Юрге 7 декабря 1989 года. В 1997 году пошел в первый класс, с четвертого класса находился на домашнем обучении. Причина – заболевание, лишившее мальчика возможности свободно ходить и общаться со сверстниками (миопатия).

Учился Антон с радостью и жадностью. На протяжении всех лет обучения был отличником.

В возрасте 8–9 лет мальчик начал писать стихи. «Я слышу все, чем мир наполнен» – так назывался первый поэтический сборник Антона.

Сам о себе писал так:

«Родился я в городе Юрга Кемеровской области. С каких лет себя помню? Да с грудного возраста, с четырех-пяти месяцев. Помню свою кроватку, погремушку, натянутую над ней. Я тянулся к погремушке, но движения были неточными, и это озадачивало меня. Помню маму. Она проходила мимо кроватки и почему-то не брала меня на руки. От такого маминского поведения мне хотелось капризничать и кукситься.

О чем я тогда думал и думал ли вообще? Сколько ни пытаюсь вспомнить – не могу! Но жил во мне кто-то, кому было все понятно и доступно. Этот кто-то мог мыслить, знать, вспоминать, анализировать.

Потом – провал. И вот мне три года, и я в детском саду. Беззаботное детство! Слова воспитатель, сказанные маме: «Ваш мальчик не такой, как все. Покажите его врачу». Но все это меня не касается, я радуюсь жизни, а жизнь радуется мне. Лишь кто-то внутри меня тревожен и задумчив... Потом врачи, больницы, обследования. Что-то не так. Я болен? Ну и что! Жизнь-то не кончается, она так прекрасна! И ничего, что в голове уже давно кружатся недетские мысли. Но сформулировать, пре-

вратить их в слова пока не могу. До чего же я еще мал! А сколько всего впереди!

Мне шесть лет. Я болен, и потому переведен в садик для детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Там встречаю ползающих, хромающих, частично парализованных детей. Слабые, беспомощные, бледные, в глазах совсем не детская тоска. Кто-то плачет внутри меня, и я плачу. Приходит сознание того, что с этим кем-то мы живем одной жизнью, одинаково мыслим, одинаково чувствуем. А может, этот кто-то и есть я?.. И вот я, в ту пору здоровый, сильный, краснощекий, стал помогать воспитателям ухаживать за этими детьми. Я умывал их, носил на руках в туалет, кормил, старался сделать все, от меня зависящее, чтобы они не чувствовали себя ненужными. Но детское безрассудство, конечно же, брало верх надо мной и, к моему стыду, все же случилась одна драка между мной и другим мальчиком. Мы не поделили игрушки.

Жизнь в этом детском саду казалась мне раем. Я чувствовал себя нужным, полезным. Впервые познав ответственность за других, испытал сочувствие, сопереживание, отзывчивость, стремление помочь, поддержать в трудную минуту, я уже не мог забыть эти драгоценные уроки жизни, которые впоследствии помогли мне духовно выжить и развиваться дальше.

Наступило 1 сентября 1998 года. Мне почти восемь. В новом, отглаженном костюме, в блестящих туфлях, с огромным букетом и огромным счастьем в сердце, гордый и уверенный, я шел в школу! Я шел учиться! Отныне я взрослый и самостоятельный человек! Встречай меня, школа!

На этом мое детство, как и мои лучшие воспоминания, заканчивается. Я вступил в новую жизнь, где оказался «не таким, как все», а значит, лишним, обременяющим. Я подсознательно ощущал, что когда-нибудь испытаю эти чувства, ведь я болен. Но чтоб так скоро! Снаружи казалось, что я сдался и гибну. Ведь я перестал разговаривать и долгими часами мог смотреть в одну точку. Но не тут-то было! Все внутри меня кипело, боролось, искало. Что делать? Что изменить? Где выход?..

И вдруг... размышления стали складываться в слова, потом в рифмы. Что это? Оказалось – стихи...

Мне девять лет. Метания, страхи, слезы, муки – все позади. То зашедшее в тупик «Я» погибло. Я рожден заново. Больше нет слабости, неуверенности, чувства ненужности, незащищенности. Есть любовь, добро, надежда и творчество.

Удалось ли мне ступить на первую ступень духовного развития? Наверное, нет. Подошел ли я к ней? Жизнь покажет. Так будем жить!

Мне 18...»

Антон хорошо рисовал, любил читать приключенческую и научно-фантастическую прозу, самостоятельно освоил компьютер и Интернет. Всегда доброжелательный, приветливый, выдержанный, вежливый и улыбочивый, Антон был любимцем всех участников общества инвалидов-колясочников «Феникс» и, конечно, всех домашних. Мама, Людмила Ивановна, 1967 года рождения, домохозяйка; папа, Николай Иванович, 1961 года рождения, слесарь-сантехник; бабушка, Галина Степановна, пенсионерка – это семья Антона, самые близкие Антону люди.

Участник и призер многих олимпиад и конкурсов, в 2002 году он стал лауреатом городского конкурса «Свой голос». В 2005 году (в 16 лет) Антон Гапоник принят в Союз писателей Кузбасса. Первая книга стихов Антона издана при поддержке губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева.

Антон торопился жить. Он писал стихи и прозу, рисовал. За какие-то пять лет (с 2003 по 2007) было издано пять сборников стихов: «Я слышу все, чем мир наполнен», «И каждый день дороже», «Войди в мой хрупкий храм», «Слова мои будут просты», «Творить по законам любви».

По ним наглядно можно видеть, как рос юный поэт, как от книги к книге «взрослели» его стихи.

«Моя Родина – это моя большая Россия», – пишет юный поэт.

*Мне б вдохнуть запах горькой полыни
И цветов, что растут на лугу.
Что за счастье родиться в России,
Я словами сказать не могу!*

«Моя маленькая Родина вмещается в окно моей спальни... И хотя я стал ее невольным пленником, все же эта Родина мне особенно дорога. Она началась для меня с дерева, растущего под окном, желającego словно обнять ветвями весь мир, с дома напротив, с дороги, по которой мне больше не суждено бегать в школу...»

И это написано в 11 лет... Почти вся история России в стихах юного поэта, начиная с древних веков. Поэт называет Русь «центром мысли», источником замечательной культуры:

*И небеса чисты, как слезы
Святых, взирающих с икон!
О Русь! Волнующие грезы!
Непобедима испокон!*

Автор дорисовывает образ святой Руси, подчеркивая ее православную веру и покровительство Господа:

*О Русь! Мир храмов и соборов!
Высок твоей культуры пик!*

*Невольно привлекает взоры
Христоса освященный лик...*

А. Гапоника волнует все, что касается России, все важнейшие события прошлого и настоящего: он пишет «Сказание о Куликовской битве», о непобедимых полчищах Мамаю, о страданиях русичей и московском князе Дмитрие Ивановиче (Донском), о его роли в победе над Золотой Ордой.

Возникает образ стонущей земли, «взрытой лошадиными копытами», «пропитанной людской кровью»... Автору удалось передать ход событий, «жар» битвы, напор ордынцев и бесстрашие русских воинов, русскую конницу, которая преследовала врагов еще пятьдесят верст. Славные страницы истории России отразились в «Сказании о Ледовом побоище». Юный поэт осмысливает ратный подвиг русского народа, поднявшегося за Святую Русь на борьбу с немецкими рыцарями.

И опять главная мысль состоит в воспевании подвига наших предков, он славит их «силу храброую да волю твердую».

Антон Гапоник пробуждает в своих читателях чувство патриотизма; чувство исторической памяти, вызывает своими стихами гордость за свою страну, за ее славную и трудную судьбу.

Да, нам нужна сегодня та же вера в свои силы, что вела наших предков к победам в самых страшных сражениях, а еще нам всем так необходима любовь мамы – самого дорогого на свете существа для каждого ребенка.

Антон боготворил свою маму. Ей посвящено немало стихов юного поэта.

*Нет тебя – и солнце светит тускло,
Нет тебя – и неуютно вдруг,
Нет тебя – и мне так грустно-грустно.
Нет тебя – и нет тепла вокруг...*

И святая церковь, и звон колоколов, и необозримые поля – все это звучит в душе поэта: «Увижу – и замру...». Речь в стихах Антона идет и о родном крае: Сибири, Кузбассе, и о родном городе.

Юный поэт очеловечивает город, его улицы, дома, беседует с ними. Юрга – это и «дороженька за окном», и берег речки, где «синий туман расплескался, нарядив в кружева берега», и «вальс снегопадов», и «узоры из хрусталя» на деревьях.

Антон сопоставляет тяжелые, трагические сороковые годы XX века с сегодняшним днем и утешает родной город, как близкого человека:

*Знаю, тяжело тебе сейчас,
Но тогда тяжелей ведь было!
Все же принял тебя Кузбасс,
И Сибирь тебя полюбила.*

Поэта волнует все: судьба Родины, красота природы, добро, зло, любовь. «Расписалась осень кровью на асфальте», – пишет он о трагедии в Беслане. Еще более сильным является маленькое стихотворение:

*По уходящим скорбь моя свежа.
Их, невинных, больше нет на свете.
А боль остра и режет без ножа...
Ведь это были дети, дети, дети...*

Так в нескольких строчках уместилась картина нашего бездуховного общества. Люди погрязли в пороках; бездушие и жестокость – результат бездуховности. Об этом рассуждает поэт в стихотворении «Почему плачут иконы»:

*Ужель мы души растеряли?
Ужели бес, почуяв власть,
Восстал из ада, зло лелея,
Чтоб ненависть в сердцах посеять
И насладиться ею всласть?*

Равнодушие множит горе, зло, ненависть.

*И снова в церкви святым днем
Прощенья просим у порога,
Словами все мы верим в Бога,
Когда ж душой к нему придем?*

Программным является стихотворение «Храм души моей»:

*Войди в мой хрупкий храм,
В мой тихий дом смиренный...
Я слабыми руками воздвиг его в глуши.
Из поднебесья крыша, из горизонтов стены,
Войди в него, мой друг, коснись моей души.*

Страдания очищают душу, снимают с нее шелуху равнодушия. Высокие чувства и душевные, искренние строки нужны каждому из нас, ибо в них – трепетная любовь.

Но Антон писал не только стихи. Результатом совместного творчества Антона и Александра Иванова стала «Сказка про Кота-поводыря».

Начал писать ее Александр Иванов (1975 года рождения), уроженец кузбасского города Белово. Он успел окончить школу и училище, поработать в детской больнице. Поступил в Кемеровский филиал Московского Свято-Тихоновского богословского института. Окончил четыре курса и музыкальную школу по классу гитары, был редактором православной газеты. Свои стихи, рассказы помещал в газете. Стал писать детские сказки. В июне 2005 года начал писать про Кота-поводыря,

а в июле 2005 года в связи с тяжелой болезнью ушел из жизни.

Антон познакомился с Сашей незадолго до смерти. И мама Александра, Людмила Ефимовна, попросила Антона Гапоника закончить сказку. Антон справился, и «Сказка...» вышла в свет в память об Александре Иванове из города Белово.

Главный герой сказки – слепой мальчик Сережа.

Он жил один, с котом Плинтусом. Он ходил в магазина, школу, на прогулки, и везде его сопровождал кот. Однажды по нелепой случайности Сергей без сознания оказался в больнице. Там он спас жизнь больного деда, Пал Палыча, вызвав медсестру. А старик, видя светлую, чистую душу Сергея, рассказал ему про волшебную тропинку в глухой тайге. По той тропинке надо идти десять дней. Пройдешь – в конце пути тебя ждет исполнение сокровенного желания.

Сережа с Плинтусом решили испытать судьбу. Трудно было найти тропинку, но они ее нашли. Плинтус вдруг стал говорящим котом, как и десять сосен, встреченные ими на пути.

Днем друзья пробирались через валежник, завалы. Тропинка терялась. А Сергей ее не видел. Только чувствовал. Приключения, трудности невероятные. Разговоры с десятью говорящими соснами, подсказки «из ниоткуда».

И вот конец пути. Десятая сосна рассказала о прилете человека-птицы, об Ангеле – и Сергей прозрел. А Кот (это и был Сережин Ангел) улетел помогать другим слепым мальчишкам.

Десять записок Ангела, зарытых под соснами, – десять заповедей о том, как жить, чтобы стать настоящим человеком.

За месяц до смерти написано стихотворение:

*Взметнулась куполами скорбь моя,
Я больше не увижу это лето,
Не воспою закаты и рассветы,
И вдаль уйду я, чувств не утоля.
А где-то звон святой колоколов
На сердце мукой сладостно ляжет.
И как бы ни был путь земной мой тяжек,
Душа вдруг легкой станет без оков.*

Интеллектуальный, поэтический потенциал произведений Антона Гапоника очень высок. Стихи Антона сегодня можно увидеть на разных сайтах интернета. Они полны философских размышлений о жизни, любви, несли и несут людям свет и радость.

Сам обездвиженный, он дарил своими стихами оптимизм и надежду на светлое будущее. Он останется в памяти близких. А в стихах будет продолжаться его жизнь, такая трудная и такая неповторимая...

* * *

Войди в мой хрупкий Храм,
 в мой тихий дом смиренный,
 Я слабыми руками воздвиг его в тиши,
 Из поднебесья крыша, из горизонтов стены.
 Войди в него, мой друг, коснись моей души.

Тебе она расскажет, как сладко ей мечталось,
 Как птицей, обезумев, к познаниям рвалась...
 Но виражи судьбы навеяли усталость –
 И все оборвалось. И жизнь оборвалась.

Тебе она расскажет, как в возведенном Храме
 Взметнется ненароком глухой, протяжный стон,
 Как будто кто-то плачет и молится в печали
 О невозвратной неге растаявших времен –

Так плачет дождь осенний о беззаботном солнце,
 Так стонет ночь глухая о суматошном дне...
 Напев былых мгновений – он больше
 не вернется...

Так плачет обреченность о бесконечном сне.

Войди в мой хрупкий Храм,
 в мой тихий дом смиренный,
 Когда меня не будет, ты сохрани его.
 Быть может, там приют найдет мой дух нетленный –
 Не разрушай святыню покоя моего!

* * *

Тебя, о жизнь, благодарю!
 За то, что мир такой безбрежный,
 За то, что я его люблю,
 Пусть безответно, безнадежно.

За то, что полнится душа
 Теплом живительного света.
 Пусть стрелки на часах спешат –
 Но как прекрасна живость ветра!

И нежность музыки дождя!
 Она, как мысль, проникновенна –
 К исходу выпитого дня
 Звучит чарующе напевно.

За то, что всякая пора
 По-своему неотразима,
 За краски раннего утра,
 За чувство грусти по любимой.

Тебя, о жизнь, благодарю
 За столь счастливые мгновенья,
 За то, что скоро догорю
 И не почувствую паденья!

(14 лет)

* * *

Там вдали,
 Где-то там, вдали,
 Плачут журавли
 В царстве осени.
 Так печален крик,
 Их прощальный крик,
 Что немой слезой
 В сердце просится.

В небеса,
 Канет в небеса
 Журавлиный клин,
 Словно призрачный.
 И покатится
 По щеке слеза,
 А услышу ли?
 А увижу ли?

Может, жизнь, как клин,
 Журавлиный клин,
 В небе сумрачном
 Тропку выстелит.
 И душа моя
 Полетит за ним,
 И укроется
 Память листьями.

(14 лет)

162

* * *

Встречаю с новым чувством новый день,
 Жизнь продолжается бушующим рассветом.
 Сегодня я проснулся в мире этом,
 Я снова победил ночную тень!

И снова полон грез и сновидений –
 Сегодня все мне будто по плечу.
 Что будет завтра – думать не хочу,
 Ведь хрупкий мир мой соткан из мгновений.

Настанет миг, когда порвется нить,
 Вдруг разлучив меня с привычным светом.
 И я уйду – мальчишкой иль поэтом.
 Но не сейчас. Сейчас я буду жить!

* * *

Я спросил у мечты: «Что же ты не сбывлась?
 Что же, милая, ты от меня отрекалась?
 Чем тебе я не мил, чем тебе не хорош?
 Почему же в свой мир ты меня не ведешь?»

Но сказала мечта: «Ты меня не суди,
 Все, что ты пожелал, я сумела найти.
 Разве я не сбывлась? Разве я отрекалась?
 Я навстречу тебе быстрой птицей неслась!»

Я исполнила все, что по силам моим.
О дальнейшей судьбе ты спроси у любви». Я спросил у любви: «Что же ты не пришла? В одинокие дни что меня не нашла?

Чем тебе я не мил? Чем тебе не хорош?
Почему же в свой мир ты меня не ведешь?» Но сказала любовь: «Ты меня не вини: Ты пришел в этот мир с сердцем, полным любви!

На меня ты обид не держи, все равно,
Дать тебе я могу, что лишь Богом дано!» Я у жизни спросил: «Что ж идешь стороной? Потому что без сил? Потому что больной?

Чем тебе я не мил? Чем тебе не хорош?
Почему же в свой мир ты меня не зовешь?» Жизнь ответила мне: «Ты меня не ругай: Там, в другой стороне, обретешь ты свой рай!

Там, среди облаков, что от края до края,
Будешь счастлив, здоров! Я тебе обещаю!»

(12 лет)

Я уйду в неизвестность и холод,
В тишину одиноких могил.
Люди скажут: «Он был слишком молод!»
А быть может: «Он слишком любил!»

Я уйду, искореженный болью,
В искаженное небытие.
Не узнавши при жизни воли,
После смерти узнаю ее!

Там, где тополь хранит угрюмость,
Под тяжелым земельным пластом
Упокоится нежная юность,
Приукрашенная крестом.

Упокоится в час вечерний
И найдет свое последний кров
Там, где шепот травы звонче,
В перекрестке вольных ветров.

Там, где слышится на рассвете
Колокольный протяжный стон,
Вырвусь я из пожизненной клетки
На смертельный вечный простор.

Я забуду дожди, и грозы,
И деревьев зеленую рать...
Если жизнь принесла мне слезы –
Знаю, смерть принесет благодать.

(14 лет)

Я, как прежде, брожу по осеннему саду,
Но уже не ногами, увы, а душой.
Спрячу душу свою в глубине листопада,
И накроет ее золотой пеленой.

Нежный шорох скользит по безмолвию сада.
Я услышу его – и душа запоет,
По аллеям пустым разгулялась прохлада,
Подарив облакам журавлиный полет.

По верхушкам дерев веет ветер осенний,
Так прекрасна она – золотая пора!
Обнимает мне душу успокоеньем
И качает ее до утра, до утра.

Томный шелест листвы по багряному полю
Да лазурная блажь высоко в облаках –
Вот что ищет душа, вырываясь на волю,
Вот что жаждет душа у неволи в тисках.

(14 лет)

И сказал живущий: «Все кружись, кружись!
Надоело! Устал! Белый свет не мил!»
И шепнул умирающий: «Как прекрасна жизнь!
Я б еще сплясал! Я б еще пожил!»

163

И сказал здоровый: «Ох, не ходят ноги!
Нет больше сил! Тяжело до слез!»
И вздохнул больной: «Как легки дороги!
Я б по ним прошел миллионы верст!»

И сказал богач: «Скукота! Ненастье!
Деньги купят все, только не любовь!»
И сказал бедняк: «Мне б такое счастья!
Я б тогда гульнул! Разогнал бы кровь!»

Человек сказал: «Бог и я едины!
Словно день и ночь, небо и земля!»
И ответил Бог: «Сто шагов до глины
Здесь тебе дано! Твоя вечность – я!»

(14 лет)

Дано нам, мама, было изначально
Печалиться вдвоем одной печалью,
Тревожиться вдвоем одной тревогой –
Ведь это на двоих совсем немного.
Дано нам, мама, было от рожденья
Тепло души, и каждому отдельно,
Чтоб грел тебя, меня ты согревала –
Ведь это на двоих совсем не мало.

(14 лет)

* * *

О Русь! Отрадная земля!
Мою любовь ты не забудь.
Печальной песней соловья
Благослови в последний путь.
Туманной лентой обвяжи
Мою земную колыбель,
Росой алмазной освежи
Над ней склонившуюся ель.
И щедро напои дождем
Цветы, что грусть в себе таят.
Они благоухают днем,
А ночью плачут и скорбят.
О, Русь! Манящие огни!
Молчаньем заверши мой путь.
Нас, уходящих, помяни
И об ушедших не забудь.

(14 лет)

* * *

Жизнь одной судьбой не измерится.
Скажешь ты: «Прости!» – не поверится.
Крикнешь ты: «Спаси!» – не услышится...
Только там, где Бог, вольно дышится.

Если тяжек груз, душа мается,
За свои грехи не раскается –
Только там, где Бог, сердце лечится,
Не найдя дорог, дьявол мечется,

Только там беда упокоится –
Не удвоится, не утроится,
Ледяной волной не обрушится,
Обмелеет вмиг, словно лужица.

Только там печаль не уместится,
Где протянута к Богу лестница.
Где молитвой все начинается –
Там любовь и надежда познается.

Попроси у Бога прощения,
Попроси у ближних прощения:
Людям свойственно ошибаться,
Но просящему да воздастся!

Жизнь одной судьбой не итожится.
Крикнешь: «Помоги!» – да поможется.
Скажешь: «Вразуми!» – да исполнится...
Только там, где Бог, счастье полнится.

* * *

Душа моя, как птица,
Не знаящая свободы-
Льет слезы в злой темнице,
Как туча в непогоду.

Бьет крыльями в окошко,
За ним просторы рая.
Еще, еще немножко!
Вспорхнет, и не поймает.

Душа моя, как птица,
Добывшая свободу –
Безудержно стремится
Вдаль, не изведав брода.

Не чувствую усталости,
Летит навстречу солнцу
И...хлещется о скалы,
И плачет, и смеется,

И рвется дальше, дальше!
Просторы ей дороже,
Где нет ни зла, ни фальши,
Где наш Спаситель-Боже!

(13 лет)

* * *

Скромно тишина на скамейку села,
К деревьям прильнув, словно бы уснула.
Свежести волна сердцем завладела,
Холодком кольнув, душу захлестнула.
В скверах городских осень притаилась,
В шепоте листвы – чудное томленье.
А с небес златых, где Господня милость,
Цвета синевы льется откровенье.

Материал подготовила
Е. ЧАЗОВА



Сергей ФИЛАТОВ

СИБИРСКИЙ ЕЖЕДНЕВНИК

Календарь-2014. Фонду «Возрождение Тобольска» – 20 лет. 365 дней. Календарь – подношение друзьям, соратникам, единомышленникам по Тюменскому общественному благотворительному фонду «Возрождение Тобольска». Под редакцией Ю. П. Перминова. Фотографии А. Г. Елфимова. Отпечатано в фирме «График». – Верона. – 2013 г.

Ежегодный календарь фонда «Возрождение Тобольска» стал хорошей традицией и прекрасным подарком к Новому году для всех, кто, так или иначе, хоть единожды связывал свою жизнь с делами фонда. Календарь – это, как всегда, прекрасное качество итальянской полиграфии, проработанная композиция, хорошо подобранные иллюстрации на каждый день и лица, лица, лица... – одухотворенные и вдохновленные, лица людей, помогающих творить добрые дела.

Сколько дней – столько дел. Даже больше. А дела эти воистину содержательны и нескончаемы. Это и десятки выпусков альманаха, посвященного городам и рекам Сибири и сибирякам, народу, наособицу жизнеобразующему в становлении, величии и укреплении государства, и активное участие в возрождении памятников нашей истории, и выставки и всевозможные конференции, посвященные культурному наследию Сибири, и нынешней культуре и... Не зря ведь сказано было: «Сибирью приращать будет»...

Воистину поражает сегодняшняя масштабность проектов фонда во славу и на благо государства Российского, запечатленная день за днем, в том числе и на страницах данного календаря.

Сразу замечу, центральное место в ежедневнике отдано людям. С каждой страницы на нас смотрят лица тех, кому не безразличны идеи и проекты фонда; тех, кто инициирует эти проекты и чьими руками все эти проекты осуществляются. Основатели фонда отлично понимают, что дел без людей не бывает: сколько людей – столько дел. Поэтому название ежедневника «Календарь – подношение друзьям,

соратникам, единомышленникам...». А таких в этом году представлено в календаре около трехсот человек, и, замечу, количество их с каждым годом только возрастает.

Давайте же вместе полистаем страницы календаря, хотя бы выборочно, хотя бы «по диагонали», ибо внимательно полистать – время еще будет, целый год впереди.

Допустим, открываем 1 января. Для меня сразу сюрприз, не скрою, приятный. В этот день родился мой хороший знакомый – книгоиздатель из Алтая Николай Герцен, который известен своими издательскими проектами не только в Алтайском крае, да и с фондом «Возрождение Тобольска» он тоже дружит и помогает по мере своих возможностей. Как говорится, удачи ему и всех благ!

...Или, скажем, 15 марта, этот день посвящен сибиряку, иркутянину, современному классику русской литературы Валентину Распутину. Вспомним, в 2004 году, 10 лет назад, вышел в свет первый номер историко-культурологического, научного, литературно-художественного альманаха «Тобольск и вся Сибирь», посвященный первой столице Сибирской губернии граду Тобольску. А название этому изданию и впоследствии масштабному проекту подарил именно Валентин Григорьевич Распутин. Не правда ли, название очень удачное и говорящее – «Тобольск и вся Сибирь». Из него очень органично выстраивается вся концепция издания, а если смотреть шире – и деятельности фонда. Все в этом уникальном альманахе, начиная с содержания, до самых мельчайших нюансов оформления подчинено главной его идее – созданию многотомной серии книг о Сибири, ее прошлом, настоящем и, самое главное, созданию благодатной питающей почвы для возрастания будущего Сибири, а также для ее грядущего единения и процветания, что само собой означает – единения и процветания государства Российского.

И сегодня вышло уже более двадцати номеров этого уникального альманаха, повторяющего, по меткому замечанию создателей, «путь первых русских первопроходцев с Запада на Восток «навстречу солнцу».

...Совсем недавно увидели свет книги альманаха, посвященные 425-летию Тобольска, городам Шадринск и Березов. В режиме онлайн на сайте фонда можно уже прочитать книги альманаха, находящиеся в печати, например, о старинном сибирском городе Тара... Составлены и скоро увидят свет книги «Река Обь», «Ялуторовск», «Ишим», «Бийск»; ведется работа над книгами о великой Транссибирской магистрали, о Великом Северном морском

пути, о Байкале, о Новосибирске... В перспективе начата работа над выпусками «Горный Алтай», «Чукотка», «Дальний Восток»... И каждой из названных книг в календаре посвящены свои страницы, а точнее людям, кропотливо собирающим и создающим эти книги. Скажем, 27 февраля – день рождения Анатолия Омельчука из Тюмени, члена редакционного совета, участника и автора многих номеров альманаха; 21 ноября родился Владимир Шулдяков из Омска – автор замечательного тематического номера, посвященного сибирскому казачеству; 7 мая – Павел Белоглазов из Ялуторовска, составитель книги «Ялуторовск», и другие, другие, другие... И, конечно же, 16 мая – в этот день родился омич Юрий Перминов, писатель, на котором сегодня лежат все основные заботы главного редактора проекта, связанные с окончательной подготовкой каждой книги альманаха к печати.

К слову, именно Юрий Перминов выступил отчасти в роли сосоставителя своеобразных скрепов, тематических номеров альманаха, рассказывающих о временах и датах великих единений Руси, в кои люди жили одной объединяющей идеей, одной целью – противостоять общей беде. Так, в 2011 году фонд выпуском двухтомника отметил героическую дату – 70-летие разгрома немецко-фашистских полчищ под Москвой, не было забыто и величайшее в Великой Отечественной войне Сталинградское сражение, в котором принимали самое активное участие сибирские полки, к этой дате выпущен трехтомник «Сибиряки в Сталинградской битве». Сейчас готовится издание трехтомника к юбилею нашей Победы в Великой Отечественной войне.

22 февраля и 3 марта. Казалось бы, что может объединить эти даты? Все просто, первая – день рождения Виктора Гуминского, сотрудника Института мировой литературы Российской академии наук, вторая – Василия Валериуса, одного из ведущих книжных дизайнеров России. Дело в том, что в 2010 году фонд порадовал людей, равнодушных к судьбам русской литературы, новым масштабным проектом «Библиотека альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Главным редактором этого проекта стал Виктор Гуминский, а практически вся разработка оформления книг этой серии выполнена Василием Валериусом и его учениками. За три года в рамках этого проекта изданы книги Владимира Арсеньева, Сергея Маркова, Евгения Милькеева, Антона Сорокина, Валентина Распутина, Сергея Заплавного и уникальная, единственная в своем роде антология стихов

поэтов Сибири – «Слово о Матери», составленная Юрием Перминовым...

Или 24 января – 12 апреля – 11 июня – 12 декабря... В прошлом году фондом был во всеуслышание объявлен новый содержательный издательский проект «Сибирский художественный музей». Первый альбом, который был издан в этой серии, познакомил любителей живописи с творчеством талантливого тобольского художника Николая Боцмана (12 апреля). Следующие книги представляют художественные работы выдающегося путешественника Федора Конюхова (12 декабря), великолепного графика Александра Бакулевского (24 января), самобытного скульптора из города Ялуторовска Владимира Шарапова (11 июня). Сегодня серия продолжается – готовятся к изданию новые альбомы.

5 декабря – день рождения художника-графика из Санкт-Петербурга Нины Казимовой. Некоторые книги фонда – это настоящие самостоятельные произведения искусства. К примеру, оформленная Казимовой цельногравированная книга-эссе Валентина Распутина «Возвращение Тобольска». Где художник кропотливо, буква за буквой, страница за страницей тщательно прорисовала все и заполнила текст, стилизованным под образцы старорусского письма конца XVI века. Потом эти изображения с помощью кальки перенесла на медные пластины, и начался длительный процесс гравировки. Так были подготовлены 30 медных досок, и уже с них посредством ручной печати на офортном станке были оттиснуты 50 экземпляров этой уникальной книги...

...Говоря о книгах фонда, уместно не пропустить и 28 апреля – в этот день родился издатель Вальтер Кастанья из Вероны. Именно веронская фирма «График» обеспечивает всем печатным проектам фонда безупречную полиграфию изданий...

Можно говорить еще и еще... В конце издания, что тоже само по себе не менее ценно, даны краткие биографические данные друзей и соратников по фонду «Возрождение Тобольска».

Безусловно, листая календарь, мы лишь обозначили некоторые его страницы, далеко не все, потому как, если обо всех писать подробно, не хватит, пожалуй, и целого тома. Думается, в течение года счастливые обладатели этого уникального календаря смогут перелистать его самостоятельно, обратив при этом внимание на замечательную работу художника Геннадия Метченко. Но хочется особо отметить еще две даты, выделенные на его страницах.

23 апреля родился главный вдохновитель и движитель всех идей фонда, его руководитель Аркадий Елфимов. И неслучайно в календаре он выступает

не просто как фотохудожник-иллюстратор, а более в качестве летописца фонда, который бережно, день за днем, кадр за кадром фиксирует и запечатлевает его историю. Наверное, благодаря именно его мастерству, листовая календарь, невольно проникаешь мыслью: это – своеобразный дневник деятельности и жизни фонда «Возрождение Тобольска», где, словно кадры документального фильма, нам являются и Тобольск, и Сибирь, и вся Россия, а в их контексте и весь мир в своей полноте и многообразии.

И вот на странице 27 февраля читаем: «Сегодня самый знаменательный день этого календаря – общественному благотворительному фонду «Воз-

рождение Тобольска» исполняется 20 лет. Фонд создавался в дни, когда отсутствие чувства ответственности за историю многих сделало слепыми, погруженными в суету или апатию. И с первого дня он идет дорогой возрождения и сохранения исторической памяти, всего хранимого и незабвенного, собирая сибирские земли в единое отечество...».

И здорово, что в те годы всеобщей слепоты все же оставались на земле сибирской и российской люди зрячие и что все они объединились в делах и помыслах под знаменами фонда «Возрождение Тобольска». А отсчет времени со дня их объединения ведут ежегодно такие вот календари.



МОЩНЫЕ КОРНИ, ПИТАЮЩИЕ ДУШУ

Давно заметила, что хорошая книга подталкивает к размышлениям. Автор как бы ненавязчиво втягивает читателя в диалог. Из числа таких изданий оказался сборник прозы Владимира Иванова «Что душу волнует – тем память живет» (Кемерово, 2014). Это весьма кстати, бурные события на Украине конца 2013 – начала 2014 годов никого равнодушными не оставили, каждого заставили напрячь извилины над их осмыслением в отношении к России. Обнаружилась переключка повестей В. Иванова с публикациями второго номера «Огней Кузбасса» (повестью Виктора Астафьева «Звездопад» и рассказом Татьяны Грибановой «Смерть Кондрата»), а также со статьей Сергея Кожемякина «Железо и кровь для Европы. К итогам европейского турне Барака Обамы» в «Отечественных записках», № 13 от 11 июня 2014 года (приложение к газете «Советская Россия»).

ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ

В «Огнях Кузбасса» (№ 2, 2014 г.), посвященных Дню Победы, редакция журнала представила подборку разнообразных, интересных произведений, из которых особенно выделяются повесть Виктора Астафьева «Звездопад» (в честь 90-летия Виктора Петровича, 1924–2001) и составивший контраст рассказ Татьяны Грибановой «Смерть Кондрата». Музыканты бы сказали – это контрапункт, какой присущ фуге, например, у Баха.

Солдат Михаил пошел в госпитале на поправку, ему и медсестре, студентке института Лиде, по 19 лет, их первая любовь отодвинула тяготы войны и стала «как свет, как воздух, как утро, как день. Незаметно, само собой это входило, заняло свое место в душе, жило там». Выздоровливающий солдат пришел в гости. Мать Лиды, отправив дочь за молоком на рынок, решила откровенно с ним поговорить: «Вы не сердитесь. Я – мать. И дочь – это единственное, что есть у меня. Муж нас оставил, бросил. Он доктор. Сошелся с какой-то во фронтовом госпитале. И вы понимаете... Словом, Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду. Душонка у нее – распашонка. Она уж если... все отдаст. А девушке и отдавать-то – всего ничего». Потом они гуляли по Краснодару, по улице Красной, по Чкаловской и еще по каким-то, Лида все допытывалась, о чем с мамой говорили. Михаил отнекивался: «Да так, обо всем. Про мамалыгу больше».

С грустным юмором описывает В. Астафьев их прогулку. Какое-то жалостливое чувство подтачивало солдата. «Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник!..» – чуть слышно прошептала Лида. Он «с торопливым отчаянием обнял Лиду и ткнулся губами во

что-то мягкое, и не сразу понял, что поцеловал лису». После выздоровления Михаил долго ждал на пересылке отправки на фронт. И в этом хаосе вдруг появилась Лида, пришла навестить: «Миша, скажи же что-нибудь! Родненький, скажи!» Он не мог говорить, держался из последних сил, чтобы не разрываться, потому что ему плохо без Лиды, рана открывается. «Лида, тебе лучше уйти», – сказал он. Она послушно пошла и все-таки оглянулась. «Своими яркими глазами, в которых стояла мука, она позвала меня. «Да уходи же ты!» – заорал Миша, оттолкнул постового и вбежал во двор».

Больше они не встретились. Финал повести – светлая ностальгия: «...Тому, кто любил и был любим, счастьем есть и сама память о любви...».

Таков прекрасный портрет фронтового поколения в изображении Виктора Астафьева. Какой же драматический контраст в портрете современного поколения показала Татьяна Грибанова. В селе живых осталось три фронтовика, три друга – Тихон, Микола и Кондрат. Собираясь на митинг в честь Дня Победы, Кондрат достал костюм и удивился, увидев вместо трех орденов Славы только три дырки. Кто взял? Чужих вроде не было. Он разволновался и умер от сердечного приступа. Вместо митинга получились похороны Кондрата. Из города примчался на иномарке внук Витя, душа умершего слышит все разговоры и то, как внук по мобильнику кому-то сказал: «Ордена получил, будут тебе и иконы»...

Внук фронтовика украл у деда ордена и этим уложил его в могилу. Комментарии, как говорится, излишни.

Какой же сейчас молодежи больше? Кто они – современные девушки и ребята? Похожи на молодого фронтовика Михаила из «Звездопада» – доброго, смелого, принимающего ответственность на себя за жизнь и мир? Или они под стать внуку Вите из рассказа «Смерть Кондрата», продавшего Славу (три ордена Славы) и саму жизнь деда Кондрата за иномарку, то есть не имеющего ничего святого за душой? Ответ подсказывает повесть-диалогия «Слабый» Владимира Иванова. Главного персонажа, солдата-срочника тоже зовут Михаил, переключка имен нынешнего солдата и фронтовика символична. Они похожи, характер того и другого определяет нравственный стержень. Солдат едет из родной деревни Сосновки служить в моторизованных частях Российской армии, дислоцированных в Забайкалье. Первая часть диалогии так и называется «Казарма», вторая – «Побывка». Солдат Михаил Силин отличился на боевых заданиях и в качестве поощрения получил десятидневный отпуск домой. Писатель показывает своего героя с двух сторон – в армейской среде и в деревенском кругу родных, друзей и вообще односельчан.

Конечно, теперь солдату не угрожает смерть от вражеских снарядов, но появилась дедовщина. Вот четверо новичков получили наряд на кухню: начи-

стить картошку на обед для всего полка. Картофеле-чистка не работает, мелкую картошку приходится чистить ножами – долгая и утомительная процедура, но этим сложность выполнения наряда не ограничивается.

«Среди ночи посланцы дембелей невесть, из каких рот, приходили не раз за очищенной картошкой. Ребята не перечили, лишь молча смотрели, как убывает с таким трудом наполняемый бачок... Что оставалось делать? Плетью обуха не перешибешь... «Деды» днями отсыплются, а ночью режутся в карты, жарят картошку с мясом да жируют. И откуда только взялись такие порядки? Ведь Мишка не припомнит, чтобы мужики в деревне, вспоминая службу в армии, упомянули про такую вот дедовщину...»

Новичками, солдатами-первогодками, помыкают не только дембеля. История с картошкой имеет разительную концовку.

«Тут вошел повар:

– Ну и работнички! И картошки еще не наготовили!

– Да хватит, поди, – возразил Силин.

– Ты знаешь или я знаю! Леха, салаги опять просачковали!

– Вам бы так просачковать, товарищ младший сержант! – возразил Силин, особенно налегая на слово «младший». Он решительно поднялся, дерзко глянул повару в глаза.

Кто-то дернул его за рукав, чтобы Миша не терял контроль над собой. Повар промолчал, вышел и вернулся уже со своим помощником Лехой и хлеборезом Икрамом, которого все почему-то звали Экран.

– Ну! Дальше будем бузить или как? – спросил повар.

Был он низкорослый, далеко не богатырской комплекции, один на один каждый из них его бы запросто уделал, но у тех, кто пробрался на такое теплое местечко, конечно, масса корешей. Так что ребята правильно поступили, одернув Мишу. Но если сейчас начнется потасовка, придется заваривать кашу. Будь что будет! Все четверо невольно встали – в руках ножи... Те трое повернулись и вышли...

После того как Силин и его друзья заступили в наряд, полк получил картофельное пюре только на обед следующего дня...

Потом мыли посуду, полы, сдвигали и ставили на прежнее место столы и скамейки... Сдали столовую заступившей в наряд второй роте только в одиннадцатом часу вечера...

В казарме Силин рухнул на кровать и тотчас заснул».

Условия в казарме, как видим, приближены к боевым. Во всяком случае, первогодки быстро набираются опыта, как за себя постоять, обзаводятся преданными друзьями, мужают, осваивают военную специальность.

В подъезде казармы на Михаила между первым и вторым этажами набросились, прижали к стене, ос-

лепили фонариком. Теряя от удара сознание, Силин на лице почувствовал жгучую боль. «Пока лежал в санчасти, все думал, из-за чего, почему?.. Может, пострадал по ошибке, – в темноте приняли за кого-то другого? Ответа так и не нашлось, как и обидчиков. Что бы там ни было, надо будет держаться настороже и быть наготове».

И он, наточив тонкую отвертку, носил ее за голенищем сапога.

Год службы прошел для новобранцев с пользой, на летних учениях ребята показали себя настоящими солдатами. «Подразделение вернулось с учений, отлично выполнив поставленную задачу». Командир роты старший лейтенант Стрельцов снова убедился: «...Какими бы разгильдяями, с какими бы выкрутасами ни были его солдаты, а как доходило до дела, они его еще не подводили. С ними он готов не только на учения...»

Менее стойким Михаил оказался в домашних условиях на побывке. Весь год службы, всю дорогу он думал о Маше, мечтал о встрече с ней, но встреча принесла солдату не радость, а сплошное огорчение. Без него Маша уехала в город, неудачно пыталась выйти замуж, родила ребенка и теперь пурхалась под стать всем матерям-одиночкам. Не дождалась! Это выбило Михаила из душевного равновесия, и он с друзьями Сергеем и Федей закружился в поисках куража и приключений. Единственный якорь, удержавший его в равновесии, – это любовь к постаревшим матери и отцу, забота о них. Собираясь в обратный путь, солдат с чувством вины думает, что слухи о выкрутасах поддатых дружков на улицах трех соседних деревень дойдут до отца с матерью и причинят им боль. Михаил уезжает на попутном бензовозе на железнодорожную станцию, мысленно он винит себя и тоже страдает. Читателю верится, что благородство и доброта, проявившиеся в характере Михаила на службе, переборют разгильдяйство и сформируют настоящего русского солдата.

Так что прозаик Владимир Иванов убеждает, современная молодежь близка фронтовому поколению, а вороватый внук Витя – порождение рыночных реформ – в народе явление не типичное.

А ВАСЬКА СЛУШАЕТ ДА ЕСТ

В том, что В. Иванов владеет всеми жанрами, нет ничего удивительного. Ведь он – выпускник Литературного института, ему, как говорится, и карты в руки. В повести-ностальгии «Перевозчик, помедли» продолжается традиция деревенской прозы. В рассказе-фантазии «Эмоция» – умелое использование в сюжете фантастики. «Динозавр», рассказ-случай, повествует о широте души и помыслов русского человека, которого волнует – не вымрет ли человечество как цивилизация, наподобие динозавров. Об этом толкуют два соседа по номеру в гостинице, и, казалось бы, дальше юмора и забавных приключений во сне (рассказчик то едет на поезде, то скачет

на динозавре и т. п.) эта тема в книге не будет иметь продолжения. Но нет! В рассказе-размышлении «Поезд» о судьбе современной цивилизации задумался уже не персонаж, а сам автор. Прекрасная публицистика! Здесь-то как раз удивительное и проявилось. Размышления, посетившие прозаика до событий кризиса на Украине, напрямую перекликаются с описанием современной геополитической ситуации в статье Сергея Кожемякина «Железо и кровь для Европы. К итогам европейского турне Барака Обамы». Если бы такой точный прогноз высказал политолог, это было бы нормально, но Владимир Иванов все же не политик, а писатель. Тем не менее его понимание роли, которую Запад отводит России в геополитической ситуации, совпало с фактами, приведенными С. Кожемякиным.

Весь рассказ не процитируешь, его надо читать, то есть проехать на этом «Поезде», но кое-что из финала раздумий В. Иванова приведем.

«Старая, полная иммигрантов Европа.

Кстати, весьма символично. Первым звончком заката западной цивилизации стало банкротство Греции – этой колыбели нашей белой цивилизации. И не надо иллюзий. В исторической перспективе процесс этот неостановим.

Голодная, томимая жаждой Африка.

Да и Азия тут как тут в нашем подбрюшье.

У всех кровные интересы. Вопрос жизни и смерти. Что же вы, россияне! Треть плодородной земли и пресной воды планеты, а земли – пустуют. Делитесь!

А как делиться, на каких условиях (если до этого – не приведи Господь! – дойдет), может диктовать только сильная Россия. А у слабой России спрашивать не станут...

Делитесь! Люди все равны!

Равны, конечно. Но не до такой же степени, чтоб, войдя в чужую квартиру, вести себя хозяином и более того считать хозяина за прислугу. А так может и быть, если заранее не предупредить, не предусмотреть.

Может, человечество и спасется Россией как местом, самым безопасным на планете при катаклизмах, с богатыми ресурсами, с запасами пресной воды, где наш Байкал – НЗ человечества. Не раз предрекали и предрекают: у России есть будущее, великое будущее. Дай Бог!

Но тот ли смысл в этом пророчестве, который мы, россияне, в нем усматриваем? Не обманываемся ли? Для россиян ли это будущее?..

История России не подобна ли возможному варианту заката Европы?..

...Это я, мальчик с адреском в кармане (в начале рассказа семья ехала в Сибирь. – Прим. Р. Л.), потерянно стою на полустанке... Ехать надо... Но куда?.. Где поезд?..»

Переходим от рассказа В. Иванова к статье С. Кожемякина, статье о визите Президента США Барака Обамы в Европу с 3 июня 2014 года, продолжительностью четыре дня. Все пункты визита «так или иначе

были посвящены одному вопросу – выстраиванию военного союза против России».

И далее С. Кожемякин, комментируя визит, объясняет, какая планируется «делегация» России.

«Молодые демократии» сегодня послушно пляшут под американскую дудку, и американская дипломатия использует их голоса для давления на не всегда послушную «старую Европу». Но не только на нее. Американские сателлиты превращены в форпост нового *Drang nach Osten* – натиска на Восток, что особенно ярко проявилось после начала событий на Украине.

Для закрепления этой роли Обама начал свой визит с Польши, выполняющей в украинском кризисе самую грязную дипломатическую работу. Показателен и повод – 75-летие начала «освобождения» страны из-под «коммунистического ига». Связь тех событий с нынешними очевидна, и на Западе ее стараются всячески оттенить: крушением соцлагеря и развалом СССР дело не закончено. И не будет закончено, пока Россия не будет разрезана по живому, пока на ее месте не появятся многочисленные «молодые демократии» – татарская, башкирская, рязанская... Подготовка... «уже ведется».

Поляки, заметим, кстати, от себя, как всегда, впереди планеты всей, а именно: «В повестке дня европейского визита Обамы Польша сыграла роль смотра сил перед решающим наступлением. Варшава 2014-го сильно напоминает Нюрнберг 1938-го, где на Съезде Великой Германии Гитлер провозгласил «крестовый поход» против «большевистско-еврейской заразы». «Более грозной, чем когда-либо нависала над миром большевистская опасность уничтожения народов», – возгласил тогда фюрер, и его слова спустя 76 лет повторил (конечно, с поправками на конкретную ситуацию) Обама: «Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с народами Европы перед лицом новой агрессии со стороны России».

А мы, чудачки, и устами дипломатов, и от имени Совета Федерации уговариваем нового президента Украины Петра Порошенко и всю его «королевскую рать» прекратить военную операцию на юго-востоке Украины и переходить к мирному решению, к переговорам с представителями Донецкой и Луганской республик. А Васька, вспомним баснописца Крылова, слушает да ест!

Кожемякин напоминает: «Время для старта нового мобилизационного рывка стремительно уходит, да и вряд ли нынешняя власть когда-нибудь его вообще объявит. В условиях, когда Запад перешел в открытое наступление и десятки кассиков (лидеров. – Прим. Р. Л.) готовы сворой броситься на растерзание России, это означает гибель. Избежать ее можно единственным способом – резко и в кратчайшие сроки сменить курс. И вести страну по новому курсу должны не наемные менеджеры, а люди, всем сердцем любящие Россию. А там:

«Единство, –
 возвестил оракул наших дней, –
 Быть может
 спаяно железом лишь и кровью...»
 Но мы попробуем спаять его любовью, –
 А там увидим, что прочней...

Ф. И. Тютчев

А вот участники митинга, проходившего в Москве в первой половине июня, высказались за активную поддержку защитников Луганской и Донецкой народных республик, когда скандировали: «Путин, вводи войска!» («Советская Россия», № 64, 17 июня 2014 г.).

Знаменитые слова Пушкина: «Старый спор славян между собой» потеряли, похоже, актуальность в современной геополитической ситуации. Как раз славян и натравливают друг на друга, а, в конечном счете, на Россию. И нам, россиянам, нужна особенно крепкая сплоченность друг с другом внутри страны, чтобы выдержать новый натиск Европы на Россию. И такие книги, как проза Владимира Иванова, укрепляют наш моральный дух. Это настоящая народная литература.

Руслана ЛЯШЕВА

ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Поэзия Таяны Тудегешевой, как совершенно справедливо отмечает во вступительной статье к сборнику ее стихотворений секретарь правления Союза писателей России Николай Переяслов, «это шествие по тропе исторической и генетической памяти в глубины забытых веков, к истокам народной культуры». Но идет по этой тропе лирическая героиня поэта, живущего сегодня, сейчас, и это придает ее стихам, при всей их исторической, народной первооснове, такие индивидуальные черты, которые очень хочется выделить и осмыслить.

Первое и, видимо, главное – это эпическое начало, пронизывающее весь строй лирического сборника: его тематику, конфликты, образные ряды и само строение стиха. В стихотворениях сборника, особенно в разделах «Сквозь столетий туман» и «Думы-караваны», отчетливо звучит голос истории, но не в ее конкретных узнаваемых или называемых событиях, а в ее вечном дыхании, которое так чутко и индивидуально воспринимает душа поэта. Отсюда ощущение преобладание в стихотворениях общего, родового, иногда даже вселенского над личным, повседневным, бытовым. Дыхание прошлого воспринимается поэтом в его трагической сущности, поэтому преобладающий пафос его по преимуществу трагический.

Ощущение остроты трагизма хода истории достигается тем, что в стихотворениях отражена трагедия малого ныне, но некогда сильного и славного народа, верной дочерью которого чувствует себя и является лирическая героиня. Этим создано несколько нео-

бычное для лирики соединение остроты, обнаженности личного переживания не личной своей судьбы, а судьбы своего народа в общем ходе истории.

Исследователь шорской литературы Г. В. Коста-чаков считает, что в стихотворениях Т. В. Тудегешевой сливаются два типа поэтической интонации: тональность одическая, прославляющая прошлые героические века тюркских народов, и тональность элегическая, выражающая горькое сожаление о прошедших эпохах.

*Аба!.. А полдень светел и высок.
 Аба... И дуло холодил висок.
 Аба... Растаял звук и с песней стих.
 Пою я реквиём – прощальный стих.
 Наш род угас... О, нет печальной рода!
 Я – песня-плач абинского народа.*

Но уже в разделе «Сквозь столетий туман» начинает складываться иная тональность, которая по мере дальнейшего развития авторской мысли в сборнике будет становиться все более для него характерной – тональность эпическая.

*В черных изломах вершин – царит нетленность.
 В дерзком галопе коней – тайных сил непреклонность.
 В гордом полете орлов – духа неутомимость.
 В храмах тысячелетних – молчит непоколебимость.
 Слышишь? И по ним тоже звонит колокол Времен.*

171

Ее главные черты – это приятие хода истории и явный приоритет общего над частным, когда это частное, даже повседневно-бытовое, обретает внутренний бытийный смысл.

Название второго раздела сборника «Думы-караваны», конечно же, сразу рождает ассоциацию с бесконечным неторопливым движением верблюжьих караванов, чей путь пролегал когда-то, согласно легенде, и у подножия горы Мустаг. Основное содержание этого раздела – это авторские раздумья о природе, о родных местах и людях, о Времени и человеческих судьбах. Автор мысленно обращается к бабушке, деду, отцу, матери, дяде, сыновьям, чемпионке мира по сноуборду Екатерине Тудегешевой, таежным кедром, горам Мустаг и Айгун, поэтам Древней Персии и в этих раздумьях (думах-караванах) выходит к осмыслению законов бытия, таких простых и таких непостижимых. При широте тематики стихотворений этого раздела доминирует, конечно, тема природы.

Здесь нельзя не видеть выхода автора сборника в огромное поле русской литературной классической традиции. Оговоримся только, что следование литературной традиции и ее развитие означают вовсе не повторяемость литературных приемов и образов у разных авторов, а наличие у них единых нравственно-эстетических позиций (что может иногда приводить и к повторяемости). О том, что «природа

*Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык»,*

мы читали еще у Ф. И. Тютчева. Он же скажет и об абсолютной непостижимости ее тайны для человека:

*Природа – сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.*

Один из классиков русской советской поэзии Н. А. Заболоцкий, занимавший отчетливые натурфилософские позиции, так выражает сходную мысль об отношении человека и природы:

*Учительница, девственница, мать,
Ты не богиня, да и мы не боги,
Но все-таки как сладко понимать
Твои бессвязные и смутные уроки.*

(стих. «Засуха»).

Он же говорит о себе: «И сам я был не детище природы, но мысль ее! Но зыбкий ум ее!» (стих. «Вечера, о смерти размышляя»).

В этот натурфилософский контекст органично вписывается и то напряжение мысли, стремление понять скрытые законы природы и бытия, присущие и «думам-караванам» Т. Тудегешевой:

*Пытайся – и поймешь,
На переходе между жизнью и смертью,
Застыв в хаосе грез и образов,
Преодолев Время, Пространство,
Молчаливо стоит пустота, –
Это и есть мир в своем начале!
Пытайся постичь смысл Пустоты,
Чтобы знать больше, чем говорить.*

Природа хранит самый дух истории, те нравственные принципы и законы бытия, которые завещаны в легендах и преданиях, а чуткая душа поэта слышит их в шуме ветра, в немолчном говоре реки, в молчании столетних кедров. Поэт слышит мир, как слышал его Блок («Ветер, ветер на всем Божьем свете!»), как любил вслушиваться в шум веков наш современник Николай Рубцов:

*Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм,
Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
записывал напев ее былинный...*

Лирическая героиня Таяны Тудегешевой слышит эти голоса природы и воспринимает их неповторимо индивидуально, в соответствии с духовной традицией своего народа, его вековой историей и законами природного бытия. Эти незыблемые законы пронизывают и определяют быт, человеческие отношения, моральные нормы – весь жизненный уклад. Конечно, душа лирической героини полна горькими сожалениями, вызванными разрушением этих вековых норм и ценностей. Но она отнюдь не намерена оставлять их только далекому прошлому, она утверждает их как ценности вечные, непреходящие, незыблемые для человеческой души.

Своеобразным смысловым и композиционным центром сборника становятся третий и четвертый разделы «Листва времен» и «Нежность ветвей». Центр внимания автора перемещается здесь непосредственно на душу лирической героини, ее духовный уклад, который сложился под воздействием единства с природой и вековыми традициями своего народа. Подходы к этому уже складывались в целом ряде стихотворений второго раздела, таких как «Тайга моя, колба моя» (обращение к деду), «Бабушка в лучах июня», «Предчувствие», «У остывшего очага», «Живу» и других. В них душа уже не только «молча плачет глазами сухими», а осмысливает вековые законы жизни, которые даны не в абстрактных философских обобщениях и умствованиях, а в живых простых и ярких картинках. Вот запоеди деда, простые и мудрые, вот бабушкино вино, когда она «ходит в зимний амбар за июнем».

172

*В этом вине
Дышит
пойманное в берестяные туча лето,
Мерцает,
как ракрывающиеся цветы рассвета,
И сквозь тонкий луч
в нем поблескивает солнце июня.
Смотрю сквозь вино
на невозвратные летние годы,
В таинственном единении
со своим сокровенным,
В то прошлое,
где осталась бабушка в лучах июня!*

Невольно возникает ассоциация с так называемым примитивизмом в живописи, когда на картинах видишь самые обыденные предметы, существа и явления, но твоя генетическая память наполняет их вечным смыслом. Но выражение души в этих стихотворениях далеко от примитивизма, это душа, прикоснувшаяся к вековой мудрости природы и человека, «воспитанного природой суровой» (Н. Заболоцкий). В стихотворении «Предчувствие», например, автор размышляет о таком сложном вопросе человеческого бытия, а ныне еще более обострившемся вследствие противостояния религиозных конфессий, как присутствие Бога в душе человека:

*Мы в сытости и лени равнодушной
Порой не помним Божьего лица.
Но сквозь провалы лет и мрак бездушный
Идет к нам дух небесного отца.*

Заметим, что на смену тональности элегической все больше приходит эпическая, гораздо более плодотворная творчески, основные признаки которой – приятие жизни во всех ее противоречиях и сложности и выдвигание на первый план не собственно авторского лирического «я», а сознания все более общего, соборного.

Центральными стихотворениями третьего раздела «Листва времен», да и всего сборника, является своеобразный тетраптих стихотворения «Весенняя песня», «Летний урожай», «Осенние раздумья» и «Зимняя ночь». В полном соответствии с жизненной философией родного шорского народа, а по большому счету и с философией любого народа, жившего и живущего трудом на земле, в единении с природой, основные циклы природного бытия и основные периоды жизни человека абсолютно совпадают. В природе это весна – лето – осень – зима. В жизни человека – молодость – зрелость – старость – подведение итогов – окончательное увядание. Вот этот универсальный закон природного и человеческого бытия лирически осмыслен и выражен в этом тетраптихе. Объединяют эти четыре стихотворения образ возлюбленного (эркем (шор.) – милый, дорогой, возлюбленный) и образ поцелуя как высшего проявления любви. Они композиционно закольцовывают каждое стихотворение. А содержание каждого из них – это пропетый гимн торжеству природы, любви и труда.

*Посмотри: в платья свадеб опять облеклись
Цветы, как невесты в день судьбоносный.
Хмель проснулся, стебли его переплелись,
Обнялись тесно, словно пары влюбленных.
Между скал побежали вприпрыжку ручьи
С гор небесных, песнями любви звонко вторя...*

Затем:

*Вот и лето пришло,
Наступили дни сбора жатвы – итогов.
Наш весенний посев завершил свою жизнь,
Созрев от жара любви солнца к природе...*

«Осенние раздумья» сопряжены с горечью от сознания неизбежности увядания сил души и природы, когда «слезы радости давно уже высохли до дна»:

*С гор дышит холод, идет в низину,
Где впервые мы поцеловались с тобой.*

Но душа, подобно «соку спелых ягод, скрытому от глаз в берестяных туесах»,

*...золотых веков мудрость прячет,
превращая память былого в мечты.*

Последняя ступень жизни человеческой души и природы – зимняя ночь – полна глубоким трагизмом:

*Эркем! Будь со мной рядом, всегда будь рядом.
...Обними меня, прежде чем сон обнимет,
Поцелуй жарко... Снег уже победил
Все вокруг... кроме твоего поцелуя.*

Вот такая лирическая повесть в четырех стихотворениях о красоте жизни и труда, неизбежности смерти и бессмертия любви. Авторская позиция в ней глубоко народна, фольклорна, стиховая интонация раздумчивая, говорная, изливается как единый свободный поток, не делимый на строфы, размер стихотворений свободный при сохранении естественного ритма, что, кстати, очень характерно для многих стихотворений сборника.

Раздел «Нежность ветвей» Таяны Тудегешевой раскрывает совершенно удивительный по чистоте и органичности образ лирической героини. В нем нерасторжимое слияние, абсолютное единение природного и душевного начал, далеко не идиллическое, внутренне сложное и этим необычайно живое. Диапазон качеств, из которых складывается этот образ, и достаточно широк, и, главное, очень органичен. Первое – это, конечно же, внешнее очарование с его внутренней природной тайной:

*Может, ты от Белой оленихи
Звездной ночью тайно родилась?
Потому свет глаз пугливо-диких
Надо мной взял неземную власть.
Я тоскую, имени не зная:
Польхнула искрой и ушла.
Шориянка, девочка лесная,
Так шаманским взглядом обожгла!*

(«Девочка с оленьими глазами»)

Сочетается это очарование с благородством, преданностью, готовностью на полное самоотвержение ради любимого человека.

*Для тебя, Эркем, я опорой буду,
В грозный час тебе я стрелой буду,
А в лихом бою я колчаном буду,
Если ранит враг, я бальзамом буду,
В час веселья, в той, я комузом буду.
Станешь нищим ты – я сумою буду.
Если ты умрешь – я землю буду.*

Но это отнюдь не рабская покорность и безгласная преданность. Она сопряжена с сознанием роковой силы своего таинственного внутреннего обаяния.

*Не смотри на меня, глаз моих не ищи:
Взгляд мой – омут в тиши иль луна, что в ночи.
Заглядишься – утонешь иль уйдешь, как шальной,
Заплутаешь в тайге, сбитый думой хмельной.*

*Ох, боюсь я разжечь пламя в сердце твоём.
Ведь мы можем сгореть в том пожаре вдвоем.*

Она сопряжена и с сознанием своей духовной силы и глубины:

*И не делай меня виноватой:
Я брела неизвестной тропой.
Набрела на ручей мелковатый,
Мне бы озеро с тайной водой.
(«Подаю тебе руку прощанья»)*

И в то же время она по-женски слаба, хрупка и нежна:

*Ты ушел. Все так же пели птицы,
Сквозь листву веселый свет струился.
Ничего не изменилось в мире:
Не обрушился ни град, ни ливень...
Жизнь моя травинкой надломилась.*

Расставание с любимым для такой души – это, конечно, драма. Но это не драма, вызванная личной

обидой или уязвленным самолюбием, а драма нарушения общего неписаного (или записанного на небесах) закона природы:

*Как странно: без тебя, а жизнь не умерла.
И даже реки вспять, спеша, не развернулись.
Все так же день сменить спешит ночная мгла,
Все так же о любви поют перепела,
А мы с тобой... Зачем же мы простились?
Как странно: ясный день, а в душу грянул гром,
И в сердце сотни молний иглами вонзились.
Смотри: две птицы прочертили небосклон,
Ликуя, растворились в небе голубом,
А мы с тобой... Зачем же мы простились.
(«Зачем?»)*

В наше время, по слову Н. Рубцова, «среди тревог великих и разбоя», когда так оголтело девальвируются ценности любви, семьи, труда, естественных радостей и ценностей жизни, поэзия Татьяны Тудегешевой – это поток чистой родниковой воды, таежного воздуха, духовной красоты, это соединение чувства и мысли, это голос высокого таланта человечности.

**А. САЗЫКИН,
доцент кафедры русского языка
и литературы КузГПА**



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Огни Кузбасса» проводит курс на расширение творческих связей с писателями, а также с журналами других регионов России:

«Наш современник» (Москва),
«Родная Ладога» (Санкт-Петербург),
«Сибирские огни» (Новосибирск),
«День и ночь» (Красноярск),
«Врата Сибири» (Тюмень),
«Алтай» (Барнаул),
«Бийский вестник» (Бийск),
«Дальний Восток» (Хабаровск),
«Сибирь» (Иркутск),
«Начало века» (Томск),
«Сихотэ-Алинь» (Владивосток),
«Литературный меридиан» (Приморский край, г. Арсеньев),
«Подъем» (Воронеж),
«Север» (Петрозаводск).

По отдельности тиражи наших журналов небольшие, но если их сложить, сумма света, который они несут, будет значительной.

Наше издание распространяется в библиотеках и учебных заведениях Кузбасса, высылается авторам журнала, в редакции вышеперечисленных журналов и литературных газет, а также подписчикам.

Редакция журнала принимает только первые экземпляры рукописей, отпечатанные на машинке через два интервала либо выполненные на компьютере через полтора интервала (12–14-й кегль), с обязательным приложением диска или флешки с набором текста в любом формате. Вместе с текстом просим присылать краткую биографическую справку, данные паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства.

Редакция знакомится с рукописями авторов, не вступая в переписку. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Наш электронный адрес: sp_kuzbass@mail.ru

Наш сайт: www.ognikuzbassa.ru

Журнал «Огни Кузбасса» и книги писателей Кузбасса можно приобрести в Доме литераторов, г. Кемерово, пр. Советский, 40. В Новокузнецке – в киосках фирмы «ВестиЧ» во всех районах города, подписаться на журнал можно в «Курьерской службе» фирмы «ВестиЧ» по адресу: пр-т Metallургов, 54. Справки по телефону 60-05-85.



Журнал «Огни Кузбасса» зарегистрирован Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением

Свидетельство № ПИ 12-2373 от 14 мая 2004 г.

Учредители: Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса»
общероссийской организации «Союз писателей России»;
ГУК «Дом литераторов Кузбасса»

Технический редактор **В. И. Труханова**
Корректор **Е. В. Фефелова**
Компьютерная верстка **М. Л. Костомаровой**

Подписано к печати 5.10.2014. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Arial».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0 + 0,5 л. цв. вкл. Уч.-изд. л. 20,0. Тираж 1800 экз. Заказ № .
Цена свободная